Вл. Лидин

друзья мои-книги

Вл. Лидин
друзья мои-книги

ВЛ. ЛИДИН

ДРУЗЬЯ МОИ — КНИГИ

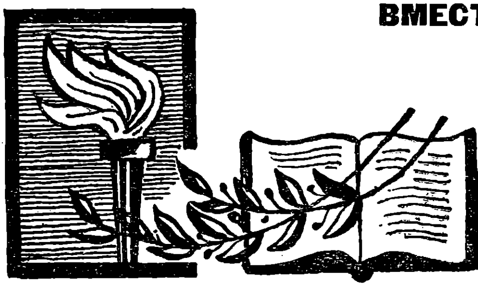
заметки книголюба

ИЗДАТЕЛЬСТВО · КНИГА ·
МОСКВА · 1966

002.3
Л55

Оформление
художника В. Д. КАРАНДАШОВА

7-3-2+6-10
2213-65



ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Много раз друзья книги побуждали меня: напишите о книгах, напишите об этом сложном и увлекательном мире; напишите о встречах с книгами—иногда таинственными, как самые необычные приключения, иногда простодушными, когда неожиданно книга, которую искал годами, сама дается в руки, словно никогда ее и не искал; напишите наконец, о том, чтó лежит в основе собирательства книг, как приходит к человеку эта любовь, что она приносит ему и что требует взамен.

Что ж, может быть, это и правильно; следует написать о своих давних друзьях — книгах, не с тем, чтобы дать какие-либо библиографические сведения о них: для этого существуют специальные справочники, украшенные именами В. Сопикова, Г. Геннади, И. Остроглазова, наконец, отличная книга недавно умершего Н. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах». Я расскажу просто о встречах с книгами — моих личных встречах, иногда радовавших, иногда разочаровывавших, но всегда в той или иной степени приоткрывавших многое, о чем не знает ни один библиограф в мире, потому что это т в о я личная встреча, то есть так или иначе неповторимая. Надо рассказать и о том, как рождается страсть к собиранию книг, рассказать о людях, влюбленных в книгу, о книжных редкостях не в библиографическом понимании, а редкостях именно для меня в силу глубоких, сердечных бесед или длительной дружбы с той или другой книгой, которая в ряде случаев может быть уподоблена живому собеседнику. Конечно, если пишешь о книге, надо рассказать и о чувстве, какое она порождает: чувство это испытали все, кому знакомо собирательство,— это очень тонкая, очень глубокая лю-

бовь, и странно, иногда кажется, что человек, который любит книгу, встречает и ее ответную любовь.

Несколько лет назад у Центрального телеграфа в Москве я встретил старого человека с необычайно живыми молодыми глазами, с чернейшими густыми бровями, хотя он был уже совсем сед. Мы внимательно посмотрели друг на друга, прошли мимо, и я вдруг обернулся и окликнул:

— Александр Александрович! — Человек остановился.— Узнаете меня? — спросил я подойдя. Он узнал меня, и мы после многих десятилетий снова пожали друг другу руку.

На Кузнецком мосту в Москве в годы моего детства существовал книжный магазин «Образование». Я был в ту пору школьником четвертого или пятого класса и приходил в этот магазин с несколькими заветными рублями купить какую-либо новую книгу: очередной сборник «Знания», или только что начавший выходить альманах издательства «Шиповник», или таинственный сборник в зеленой обложке «Ссыльным и заключенным», повествовавший о судьбе целого поколения, попранного царским произволом, или брошюрки издательства «Донская речь» Парамонова с таинственными титлами: «Эрфуртская программа», «Нищета философии» или «Пауки и мухи». Парамоновские брошюры стоили по 3—5 копеек, и среди них были и «Соколинец» В. Короленко, и «Разрушенный мол» Гершуни, и «Петька на даче» Леонида Андреева, и «В пути» Вересаева...

За прилавком книжного магазина «Образование» стоял глубоко сочувствовавший юным любителям книги невысокий, с черными курчавыми волосами, с живыми умными глазами человек — его звали Александр Александрович Шухгальтер: впоследствии, в наше время, он заведовал ряд лет книжным отделом Дома ученых в Москве.

— Милый вы мой,— сказал старик, сжимая мою руку при встрече на улице Огарева, возле Центрального телеграфа,— конечно, я помню вас. Я помню, как вы приходили школьником, и всегда радовался, что есть такие подростки, которые любят книгу.

Александр Александрович Шухгальтер, ныне покойный, был не только покровителем юных книголюбов. Он стоял во главе одного из самых серьезных демократических книжных магазинов, именно «Образования», распространявших революционные книги, особенно в ту пору,



А. А. Шухгальтер

когда мутная реакция после 1905 года заполняла книжный рынок сочинениями Вербицкой и Нагродской, сборниками с мрачными названиями вроде «Самоубийство» и замаскированной под научные книги порнографией «Холодность женщин», «Мир половых страстей» или пресловутый «Половой вопрос» Фореля...

— Как,— спросил меня Александр Александрович в эту встречу после многих десятилетий,— дружите попрежнему с книгами или изменили им?

— Дружу,— сказал я.— Дружу, и во многом обязан вам, что дружу. Ведь именно вы еще с моего отрочества побуждали меня к этой дружбе.

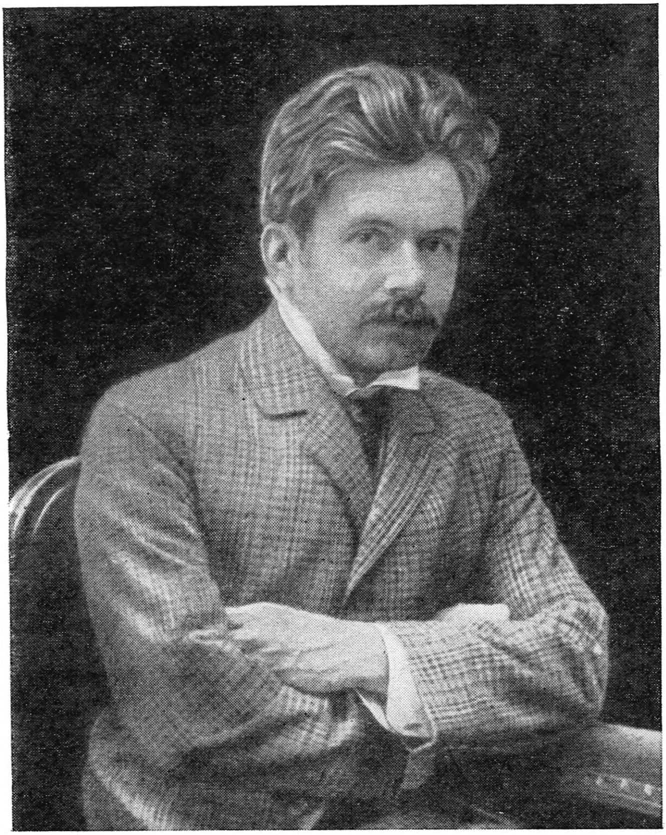
Нам следовало присесть, чтобы вспомнить прошлое, но присесть было негде, и мы стали вспоминать на ходу это

прошлое. Мы вспомнили книжную Москву поры моего детства.

Напротив книжного магазина «Образование» на Кузнецком мосту помещалась на втором этаже книготорговля и библиотека Тастевена, преемника прославленного книжника — француза Ф. Готье. Готье снабжал Москву теми знаменитыми желтыми томиками изданий Гашетта или Фламмариона в Париже, которые и поныне представляют новинки французской литературы. Племянник владельца магазина, Генрих Эдмундович Тастевен, был поэтом и философом; кроме того, он преподавал в Лазаревском институте восточных языков французский язык и был в то же время секретарем одного из самых модных и эстетских журналов того времени «Золотое руно». Я хочу говорить о людях, которые учили меня любить книгу. Это не только дань их памяти, но и напоминание о том, как важно прививать с детства эту чистую и возвышенную любовь, определяющую дальнейшее культурное развитие молодого сознания.

Редакция журнала «Золотое руно» помещалась на Новинском бульваре. На круглом столе в приемной стояли в ряд цветные сифоны с разными водами; на стене висел знаменитый незаконченный портрет Валерия Брюсова работы Врубеля и полотна Сомова, Петрова-Водкина, Судейкина и Сапунова. У одной из стен стояла пианола, на которой в вечерние часы разыгрывал торжественные баховские фуги Генрих Эдмундович Тастевен. Он был невысокого роста, с маленькими французскими усиками, чрезвычайно вежливый и чрезвычайно стеснительный; он любил музыку и стихи, перевел на русский язык «Судный день» Пшибышевского и сам втайне писал стихи.

В эти вечерние часы, когда я благоговейно перелистывал номера «Золотого руна» с прокладками для иллюстраций из тончайшей японской бумаги, а Тастевен играл на пианоле, в редакции появлялся иногда высокий стремительный человек с крашеной бородой, оформленной как совок для угля, это был редактор-издатель Николай Павлович Рябушинский. За два года до этого он разъезжал по Москве на автомобиле — желтом открытом Пежо; теперь братья учредили над ним опеку, и автомобиль сменился лихачом «дутиком»: так называлась тогда пролетка на дутых резиновых шинах — новинка начала века.



Г. Э. Тастевен

Тастевен побудил нас, школьников седьмого класса, издавать ученический печатный журнал «Первые опыты» и финансировал из своих скудных средств два вышедших номера. Журнал печатался в лучшей типографии И. Н. Кушнерева на превосходной бумаге, даже с цветными иллюстрациями одного из школьников — Льва Зака, ставшего ныне известным французским художником. Я ощутил величие книги, когда вез на извозчике из типографии в магазин «Образование» пачки только-что отпечатанного журнала, это осуществленное чудо, превратившее в печатное слово наши ученические рукописи. Александр Александ-

рович Шухгальтер был восприемником этого детища. Вот к каким далеким временам относится познание мной книги и первые увлечения ею!

— Учитесь уважать книгу,— поучал меня Тастевен.— Помните, что книгу создает человек, и, уважая книгу, вы тем самым уважаете и человека.

Чуть пониже книготорговли и библиотеки Тастевена на Кузнецком мосту находился благонравно-степенный магазин К. И. Тихомирова, брата известного педагога, со строгими книгами по воспитанию, а еще пониже был магазин М. О. Вольфа, имя которого было связано для нас с любезными отрочеству журналом «Задушевное слово», серией книжек «Золотой библиотеки» и непомерными фолиантами «Живописной России».

Но могущественнее всех других магазинов был на Неглинной улице магазин А. С. Суворина,— собственно, не магазин, а целый вокзал, откуда суворинские издания отправлялись по всем дорогам страны, вплоть до самых маленьких железнодорожных станций, где повсюду распоряжалось книгами монополизированное Сувориным контрагентство печати.

Но подлинной улицей книги была, конечно, Моховая, на которой один за другим тянулись букинистические магазины, вернее, лавчонки, а еще вернее — полутемные логова, и, чем темнее было логово, тем обширнее были его книжные богатства. Не раз, проходя по Никольской улице, останавливался я в созерцании витрин загадочно-молчаливого магазина Шибанова: за чистейше протертыми стеклами было обычно выставлено всего несколько сверкающих золотом книг, как эталоны книжного богатства магазина. Я тогда еще не знал, что значат велен или марокен; не знал я, конечно, и самого Шибанова. Я узнал его тогда, когда порядком искусился в книголюбии, но Шибанов был уже стар, на закате; впрочем, о Шибанове я расскажу особо.

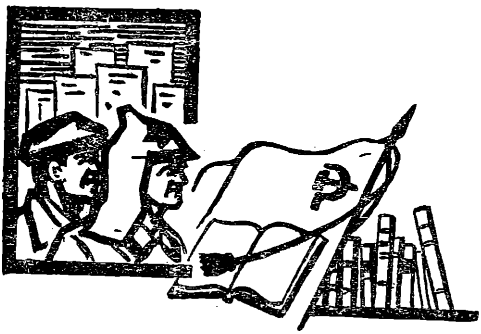
Так, на углу улиц Огарева и Горького вспомнили мы с Александром Александровичем Шухгальтером и книжную Москву поры моего детства и первые опыты — литературные и книжные.

— Что ж,— сказал Александр Александрович,— приятно, что в свою пору я поощрял вашу охоту к книге... конечно, я не мог предполагать, что вы со временем станете писателем, но вы были так юны тогда и так люби-

ли книгу, что я всегда старался что-нибудь припрятать для вас.

Десятилетия, разделявшие нас, отошли куда-то в сторону, я увидел Шухгальтера с копной черных волос, распространяющим, возможно, и нелегальные издания,— может быть, штутгартовские или женевские издания Ленина — а он, наверно, видел меня в ученической курточке.

Любовь к книге прививается с детства. В доме должны быть книги, они освещают жилище. Книге предназначено быть спутником человека. У меня есть книги, сохранившиеся еще с поры моего раннего детства, это мои поверенные, сердечные друзья, мои наставники. Книжный шкаф в комнате — не просто собрание книг, пусть даже отлично изданных, это то, с чем живешь, что учит и ведет за собой. Ведь даже в гости приглашаешь именно тех, с кем испытываешь потребность общения; а что толку, если вокруг будет полно людей, с которыми и говорить не о чем. Книги, как и друзей, надо избирать глубоко, по душевной склонности, памятуя, что именно книге свойственно особое постоянство: любимая книга никогда не изменит и вернется именно в ту минуту, когда человек особенно нуждается в поддержке.



1920-й год

У меня сохранились два редчайших номера журнала под странным названием — «Содрупис». Отпечатаны они на машинке, вышли в количестве трех экземпляров с иллюстрациями от руки. Название несколько пародирует сокращения, бытовавшие в двадцатых годах: «Содружество писателей».

Я беру в руки эти единственно уцелевшие экземпляры, и передо мной возникает книжная Москва первых лет революции... В Леонтьевском переулке, ныне улице Станиславского, в маленьком помещении, где находилась впоследствии редакция журнала «Знамя», писатели впервые стали за книжный прилавок. Времена были трудные, бумаги не хватало, и все же не только бытовые условия, но и потребность быть близко к книге дали жизнь одному из самых примечательных начинаний: книжным лавкам писателей. Первая такая лавка, открывшаяся в Леонтьевском переулке, и носила название «Книжная лавка писателей». За ее прилавок встали образованнейший литературовед, переводчик и исследователь творчества Бальзака — Б. А. Грифцов, страстный, горьковского образца, почитатель книги писатель Александр Яковлев и еще несколько других литераторов, в том числе писатель Борис Зайцев.

В каком-нибудь книжном собрании хранится и поныне, наверно, целая библиотечка рукописных книг, выпускавшихся писателями в одном-двух экземплярах, зачастую с авторскими иллюстрациями. Я вспоминаю «Похвалу березовым дровам», написанную на бересте, ее автором был М. А. Осоргин; рукописные сборники стихов Ф. Сологуба, Андрея Белого, К. Липскерова, А. Глобы; книжки с аппликациями, загадочными картинками и не одну рукописную поделку А. Ремизова, к чему он был склонен всегда с его знанием рукописных книг семнадцатого или восемнадцатого века, украшенных киноварными буквицами и росчерками. Я жалею, что не сохранил этих рукописных книжечек первых лет революции, хотя многие из них были у меня в руках. В музее книги, который когда-нибудь будет основан в Москве, можно было бы выставить одну из таких книжечек с тиражом в два экземпляра рядом с современной книгой, которой уже тесно иногда и в полумиллионном тираже.

Но тогда эти книжечки выходили. Тогда в Леонтьевском переулке была Книжная лавка писателей, а на Тверской, рядом с Московским Советом,— книжная лавка «Содружество писателей», за прилавком которой стояли подслеповатый профессор-литературовед Ю. И. Айхенвальд, философ Г. Г. Шпет и пишущий эти строки. Мы стояли в шубах и шапках, потому что помещение не отапливалось, а за нашими спинами теснились на полках до потолка книжные сокровища — все, что революция вы-

трясла из помещичьих усадеб или великокняжеских дворцов в Петрограде. Мы переворачивали страницы, дуя на них, потому что книги были каляными от холода; мы познавали прелесть общения с книгой, этим знаменосцем культуры, возвещавшим уже в те времена, когда только начали ликвидировать неграмотность, рождение нового читателя.

На Большой Никитской, ныне улице Герцена, помещалась Книжная лавка работников искусств, за прилавком которой стояли искусствоведы Р. Виппер и П. Эттингер, а на Арбате в Книжной лавке поэтов — Сергей Есенин, беспомощный и неприспособленный к этому делу; впрочем, ему помогали весьма расторопные поэты-имажинисты. За прилавком другой книжной лавки на Арбате величественно высился Валерий Брюсов, на Моховой — Н. Д. Телешов, в книжной лавке «Природа» скромно стоял профессор Н. К. Кольцов, в книжной лавке «Школа и знание» — педагог Н. В. Тулупов.

По временам в лавку «Содружество писателей» приходили Есенин с поэтами А. Мариенгофом или В. Шершеневичем; в руках у них были тоненькие книжки стихов, изданные ими самими и распространявшиеся ими же. У меня хранится «Исповедь хулигана» Есенина с его надписью, сделанной застывшей от холода рукой именно в этой книжной лавке. Мы мерзли за прилавком, но испытывали радость от близости к книгам. Я был к ним близок еще и потому, что работал в комиссии, разбиравшей накопленные книжные сокровища в национализированных букинистических магазинах. Со свечой в бутылке, ибо не было света, в подвалах с лопнувшими от мороза радиаторами отопления и полузалитыми водой, разбирали мы книги, многие из которых пополнили книжные хранилища библиотек имени В. И. Ленина и Коммунистической академии... Известный книговед, составитель книги «Крылатые слова» Николай Сергеевич Ашукин, покойный литератор Владимир Павлович Ютанов, писатель А. А. Тришатов и я — мы выходили после рабочего дня на зимние холодные улицы Москвы, по которым жители волокли на салазках топливо и у продовольственных магазинов стояли очереди, мы выходили ослепленные книгами, побывавшими у нас за день в руках, хранившимися иногда в тайниках. Мы разворошили владения Гобсека, где оказались — был такой случай — «Евгений Онегин» с личными поправками







Экслибрисы
книжных лавок писателей

Пушкина, экземпляр «Жития Ушакова» Радищева, редчайшие эльзевиры, первопечатные книги Ивана Федорова, Андроника Невежи, братства Успенской церкви во Львове...

Мы учились ценить книгу, мы учились любить ее, и этих первых уроков в голодные, трудные дни революции я никогда не забуду: я узнал биографии множества книг, биографии столь же поучительные, как и биографии отдельных выдающихся деятелей.

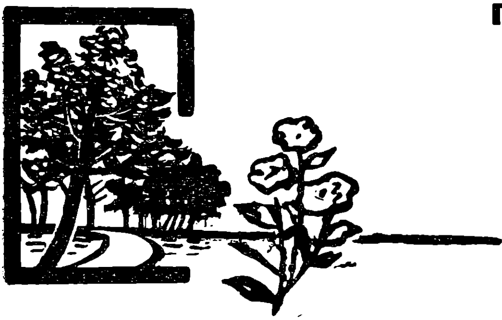
Маленькая комнатка позади книжной лавки «Содружество писателей» служила и складом и своего рода писательским клубом: я помню за овальным столом и писателей старшего поколения — Андрея Белого или Федора Сологуба, и скромных, еще безвестных в ту пору А. С. Неверова и Ф. В. Гладкова, и смуглого, несколько восточного облика, поэта Константина Липскерова, и красивого, с пасторским лицом писателя Георгия Чулкова, и совсем простодушного, когда он появлялся один, Сергея Есенина, и вечно торопящегося куда-то, всегда всюду запаздывавшего Андрея Соболя... Кто только не побывал за этим столом, в кругу книг и с обязательным самоваром, ретиво раздуваемым издателем Г. Б. Городецким, который ведал торговыми делами лавки!..

Несколько книг, приобретенных в ту пору, имеют свою историю. Проходя как-то по Пречистенке, ныне улице Кропоткина, я увидел на приступочке подъезда одного из домов сельского попика самого канонического вида: в соломенной шляпе, с красным носиком в прожилках и даже с ленточкой в косичке. Перед попиком стояла раскрытая бельевая корзина, в ней были книги. Книги были прекрасные, в сафьяне и марокене, с золотым тиснением и большими инициалами на крышках: «Н. ф. М.». Я купил тогда у попика изумительного Некрасова издания 1869 года и еще более изумительные три тома «Сто русских литераторов» издания Смирдина в зеленых с золотом шагреневых переплетах. Откуда к попику попали книги из библиотеки богача и собирателя Н. фон-Мекка? Но кто тогда знал, откуда и как появляются на свет божий книги? Впрочем, на мой вопрос, откуда у него эти богатства, попик наставительно ответил:

— Бог послал.

Собирая книги — теперь уже много лет,— я и поныне дивлюсь иногда, как попала ко мне та или другая книга, и радуюсь, что она сохранилась у меня, прочно вошла

в собрание и тем самым спасена. Так составилась у меня коллекция первых изданий книг Чехова и его современников, с которыми он дружил или был в переписке; об этом я расскажу особо.



ПЕРВАЯ КНИГА

Однажды, еще совсем юным, я зашел в некое книжное капище на Никольской улице. Капище это было сумрачное, с проулками в глубину, сплошь заставленными книгами, и нельзя было даже представить себе, что владелец знает, где и что у него находится. Высокий, весь какой-то размашистый и неистовый по виду человек стоял у конторки. Покупатель в моем лице показался ему явно нестоящим, и он даже не повернул голову в мою сторону.

Незадолго до этого писатель Павел Сергеевич Сухотин, ныне покойный, страстно влюбленный в пушкинскую эпоху, подарил мне маленький томик стихов К. Н. Батюшкова. Я тогда еще ничего не знал о смирдинских изданиях, но когда я узнал, что Смирдин издал целую библиотеку лучших русских поэтов девятнадцатого века, мне захотелось присоединить к томику стихотворений Батюшкова и томики стихотворений Лермонтова, Державина, Дельвига...

— Нет ли у вас чего-нибудь в издании Смирдина? — спросил я человека, стоявшего за конторкой.

Он критически посмотрел на меня, однако то, что юнец спрашивает смирдинские издания, видимо, его заинтересовало: у него было сердце букиниста, чувствительное к таким вещам.

— Лермонтова хотите? — спросил он отрывисто и, полуобернувшись, почти не глядя, достал с полки книгу тем жестом, который означал, что владелец наизусть знает, где и что у него находится.

Это был известный московский букинист и ходовой делец Кирилл Николаев, а книга, которую он достал с полки, оказалась переплетенными в один том четырьмя частями посмертного, 1842—1844 годов, издания стихотворений Лермонтова; переплет из марокена зеленого цвета с разбросанными золотыми листочками заставил меня притаить дыхание.

— Пять рублей,— сказал Николаев.

У меня было всего пять рублей.

— Уступите за три,— попросил я.

— Пять рублей,— повторил он неумолимо.— Подбираете Смирдина, сами должны понимать, что это за экземпляр.

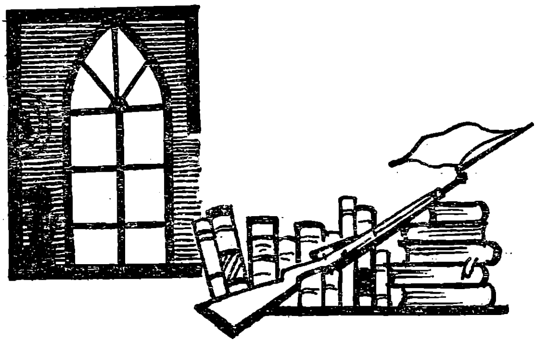
Он не уступил ни копейки, и я отдал ему единственные пять рублей. Издание было, правда, не Смирдина, а Глазунова, но я и поныне радуюсь, что не смалодушествовал тогда и не пожалел пяти рублей. Именно этот томик Лермонтова и возглавил мое собирательство не только смирдинских изданий, он как бы посвятил меня в тайну собирательства, в которой ничего нет тайного, а нужны только любовь и некоторое самоотречение. Когда собираешь книги, то во многом приходится себе отказывать, но это и составляет прелесть собирательства. Существуют просто купленные за большие деньги библиотеки: у человека было много денег, и он купил сразу много книг. Это не собирательство, это покупка; кстати, истинные книжники не уважают таких покупателей. Собирают книги по зернышку, много лет, выискивая и радуясь находкам, принося книгу домой как обретенное сокровище, при этом без малейшего чувства собственничества или стяжательства. Напротив, с чувством удовлетворения, что делаешь общее дело, что твое собрание попадет когда-нибудь в общественное хранилище, что капля твоего меда будет в этом улье, а за пыльцой приходилось далеко летать, иногда не легко летать, иногда зря летать, потому что она так и не досталась.

Несколько лет назад отмечалось 100-летие со дня смерти А. Ф. Смирдина. На большом вечере, посвященном его памяти, я встретился с правнучкой Смирдина — Зинаидой

Сергеевной Смирдиной-Серебровской. Она радовалась, что имя ее прадеда, ценимого Пушкиным и умершего почти в нищете, не забыто. В память об этом вечере, где мне привелось выступить со словом о Смирдине, Зинаида Сергеевна подарила мне выращенный ею куст гортензии, сказав при этом:

— Пусть у вас цветет куст Смирдина.

Я посадил этот куст в саду на даче, куст Смирдина цветет каждое лето, и, глядя на него, я неизменно вспоминаю литой, с золотым обрезом томик Лермонтова, похожий на родоначальника моей библиотеки. Это очень тесная дружба с книгой, почти привязанность, и, когда я читаю, что умирающий Пушкин обратился к своим книгам со словами: «Прощайте, друзья мои», я слышу и молчаливый ответ его книг.



В ОСОБНЯКЕ

В 1920 году найти особняк, из которого еще в первые дни революции бежали владельцы, было делом нетрудным. Осенью, переходя из летних лагерей на Ходынке в зимнее помещение, штаб пехотной дивизии, в котором тогда я служил младшим письмоводителем, занял один из таких особняков.

Особняк был в готическом стиле, со стрельчатыми высокими окнами нетопленного огромного зала, служившего, видимо, столовой. Птицы на плафонах, некогда напоминавшие, что лучшим украшением стола является дичь, воскрыляли теперь над расставленными столами с арматурными списками и красными папками, разбухшими от подшитых дел. Моим товарищем по должности, тоже в не-

хитром звании младшего письмоводителя, был тощий мечтательный человек по фамилии Васькин. До поступления в красноармейскую часть он работал в театральной библиотеке Рассохина переписчиком ролей. Его серые близорукие глаза обычно были обращены мечтательно к окнам, за которыми стояли облетающие каштаны, губы, повторявшие слова какой-нибудь переписанной роли, шевелились.

Комиссар штаба Черных, любивший дисциплину и точность, относился к Васькину критически. Книжка, по-школьнически засунутая в папку с подшитыми делами, была явным нарушением порядка; кроме того, письмоводитель не справлялся с подшивкой бумаг, и его пересадили за арматурные списки. Но он напутал и здесь с количеством выданного белья, и его наметили к откомандированию в строевую часть.

В четыре часа дня занятия в штабе кончались, и Васькин остался раз на очередное дежурство. Особняк был мрачный, с черными жерлами нетопленных каминов, и только фризы с гирляндами несущихся нимф смягчали вялую желтизну цветных витражей, едва пропускавших свет в высоких окнах.

Еще с утра поломанная мебель и доски настила от разбираемой во дворе конюшни были заготовлены возле одного из каминов. Васькин растопил камин, вскипятил воду в жестяном чайнике и к вечеру, когда телефонные звонки стали редки, пошел бродить по комнатам особняка. В будуаре с жиденькими креслицами, которые трещали на докладах под могучими телами военных, помещался кабинет начальника штаба. Венецианское зеркало в стеклянных розочках и завитках отражало под углом рабочий стол с приказами по дивизии и карту Польского фронта на стене. В бывшей детской расположились топографы, и здесь уже обжито пахло краской шапирографа. Наступали холода, и к печам было подвалено все, что могло пойти на топливо, в том числе старые журналы и целое плоскогорье истерзанных книг, найденных где-то в подвале. Книги были в большинстве без конца и начала, с перепутанными листами, повиснувшими на нитках брошюровки.

Васькин, просиживавший целыми днями в театральной библиотеке Рассохина, перед книгами благоговел. Он взобрался на вершину этого книжного плоскогорья и, чихая от пыли, стал подбирать разрозненные тома сочине-

ний классиков. Может быть, на миг блеснули перед ним неистовый монолог Тимона Афинского в одном из томов Шекспира или знакомая реплика Несчастливцева в книжке пьес Островского, но Васькин забыл о том, что он дежурный по штабу.

Комиссар штаба дивизии Черных обычно проверял ночное дежурство. Он появился в особняке во втором часу ночи, длинный, бесшумный и, как всегда, в любой час дня или ночи готовый к действию. Дежурного на месте не оказалось. Камин в огромной зале прогорел, и дотлевала последняя головешка в голубых ребринах. Черных поспешно прошел через залу и толкнул дверь в коридор. На полу, среди груды раскиданных книг, сидел Васькин.

— Дежурный! — сказал Черных знакомым, обычно ужасавшим письмоводителя голосом.— Почему вы не на месте? Что вы делаете здесь?

Васькин ничего не смог ответить и только протянул ему одну из книг. Черных быстро, как привык просматривать донесения, прочел название книги.

— Откуда здесь книги? — спросил он удивленно.

— Жгут. Сегодня повар книгами плиту истопил,— ответил Васькин.

Черных был недавно студентом Политехнического института, и в его сейфе вместе с секретными документами лежали «Основы неорганической химии». Он откинул полы длинной кавалерийской шинели и присел на груду книг рядом с Васькиным.

— Вот тут, в этой пачке, Лев Толстой и Островский,— пояснил Васькин,— я их по томикам подобрал, полный комплект. А вот эти на других языках, может быть, поглядите?

Он стал подавать Черныху книги, и тот прочитывал название и откладывал иностранные книги в сторону.

— Я, товарищ комиссар, так думаю,— говорил Васькин между тем,— конечно, сейчас, может быть, не до книг. Но ведь придет время, когда каждая книжка понадобится. А телефон я отсюда слышу, так что я на дежурстве.

Утром начальник штаба Григорьев, человек исполнительный и приходивший на занятия обычно раньше других, дежурного на месте не застал. Он приоткрыл дверь в коридор и увидел на полу возле печки комиссара штаба и дежурного письмоводителя, сидевших к нему спиной.

— Куда же вы Гоголя кладете?.. Ведь классики слева, я вам указал,— сказал Васькин недовольно.

Комиссар вздохнул и покорно переложил книжку.

Несколько лет назад ко мне пришел высокий худой человек с палевыми волосами, какие бывают у седых блондинов.

— Прочитал в одной из газет вашу статейку о книгах и по старой памяти хочу преподнести вам презент,— сказал он.— Вы меня, конечно, не помните. Моя фамилия Васькин. Мы с вами вместе служили в штабе пехотной дивизии годков тому назад, прямо скажем, порядочно.

Он порылся в портфеле старинного образца с металлическими углами и достал книжку, оказавшуюся первым изданием «Гайдамаков» Шевченко 1841 года, с экслибрисом, который сразу воскресил в моей памяти многое: такие экслибрисы я встречал впоследствии не раз и всегда вспоминал при этом далекий 1920 год и трогательную, хотя и несколько ироническую историю, связанную с одной из спасенных библиотек.

— Я эту книжку нашел у себя совсем недавно,— сказал Васькин.— Сейчас я на пенсии, а работал все время корректором в типографии. Из вашей статейки я понял, что вы стали книголюбом, и решил в память былых отношений преподнести вам именно эту книгу. Дело в том, что я тогда до смерти увлекался Шевченко и взял эту книжку почитать, чтобы потом вернуть. А тут пошли всякие события, дивизию отправили на польский фронт, меня откомандировали, и книжка осталась у меня. Поставьте ее к себе на полку, пусть она напоминает вам, что мы с вами в свое время послужили книге, когда мало кто о ней заботился, а вот теперь даже книги о книгах выходят. Напишите о нашем знакомстве в двадцатом году и как мы с вами вместе спасали библиотеку.

Я выполнил пожелание Васькина и записал все, как было. По существу, это апология книге, и можно ничего не добавлять. А томик «Гайдамаков» Шевченко, стоящий ныне у меня на полке, обрел еще дополнительную биографию.



ДРУЗЬЯ МОИ — КНИГИ

Есть книги, с которыми ждешь встречи десятилетиями. Это не библиофильская страсть и не одно лишь желание пополнить свое собрание. Это своего рода заочная влюбленность в книгу, судьбу которой знаешь, история которой тебе близка и встреча с которой представляется подлинной радостью. Радость книголюба всегда добрая и достойная уважения, ибо в ее основе лежит глубокая вера в назначение книги.

Однажды в маленьком городке Одоеве Тульской области я остановился в воскресный день на базаре возле какой-то старушки, перед которой лежало на разостланной ряднинке несколько потрепанных книжек. Две из них оказались разрозненными томиками сочинений Шеллера-Михайлова в приложении к журналу «Нива», остальные были учебниками; но среди учебников я увидел узкую продолговатую книжечку, похожую скорее на брошюрку, в лиловатой, выцветшей от времени обложке. Я купил эту книжечку, вернее — схватил ее, уплатив старушке чуть ли не втрое больше, чем она просила: я нашел книжку, с которой ждал встречи десятилетиями.

Удивительны судьбы первых изданий некоторых русских поэтов. Впервые четыре стихотворения А. В. Кольцова были напечатаны в 1830 году случайным знакомцем поэта В. Сухачевым в книжке под названием «Листки из записной книжки Василия Сухачева». Следует, к слову, сказать, что, несмотря на все мои поиски, я эту книгу Сухачева никогда не встретил; она, наверное, просто канула, как книжка безвестного поэта.

Но в 1835 году вышла первая книжка стихов и самого Кольцова, горячо привеченная Белинским, чрезвычайно

быстро разошедшаяся, да и напечатанная, наверно, в ничтожно малом количестве экземпляров.

Много лет я искал встречи с этой книжкой Кольцова. Книги всегда так или иначе несут на себе отблеск писательской судьбы. Отбирая стихотворения Кольцова для этой первой его книжки, Н. В. Станкевич, одна из самых светлых личностей в русской литературе, материально способствовал выходу книжки. Белинский хотел в предисловии упомянуть о материальной поддержке Станкевича, но в письме от 31 июля 1835 года получил от него суровую отповедь:

«Я писал к тебе в дом Чудиной и письмо мое верно тебя не застало там. Оно содержало в себе строжайший выговор за распоряжение о Кольцове и поручение вырезать позорную страницу. Нельзя ли исполнить этого хоть теперь».

Книжка стихотворений Кольцова вышла без всякого предисловия. Но она заключает в себе не только след первых шагов поэта в литературе, но и след высокой, целомудренной деятельности Станкевича и Белинского, помогавших Кольцову, выдвигавших его, пожелав при этом остаться в неизвестности. Только одиннадцать лет спустя, уже после смерти поэта, вышло второе издание стихотворений Кольцова — со статьей Белинского о его жизни и творчестве...

Я бережно привез из Одоева столь случайно найденную книжку, и мне, естественно, захотелось присоединить к ней и второе издание стихотворений Кольцова, выпущенное Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем со вступительной статьей Белинского, захотелось разыскать и редкие брошюрки о друге Кольцова А. Сребрянском, оказавшим влияние на его творчество, а к этому присоединились впоследствии и Полное собрание сочинений Кольцова, изданное Академией наук в 1911 году, и томик малой серии «Библиотеки поэта», выпускаемой в наши дни.

Конечно, не обязательно иметь в своей библиотеке все издания того или другого поэта, тем более прижизненные, но деятельность писателей отражена все-таки в их книгах, и эта живая летопись помогает нам не только глубже познать судьбу писателя, но и расширяет наше представление о литературе.

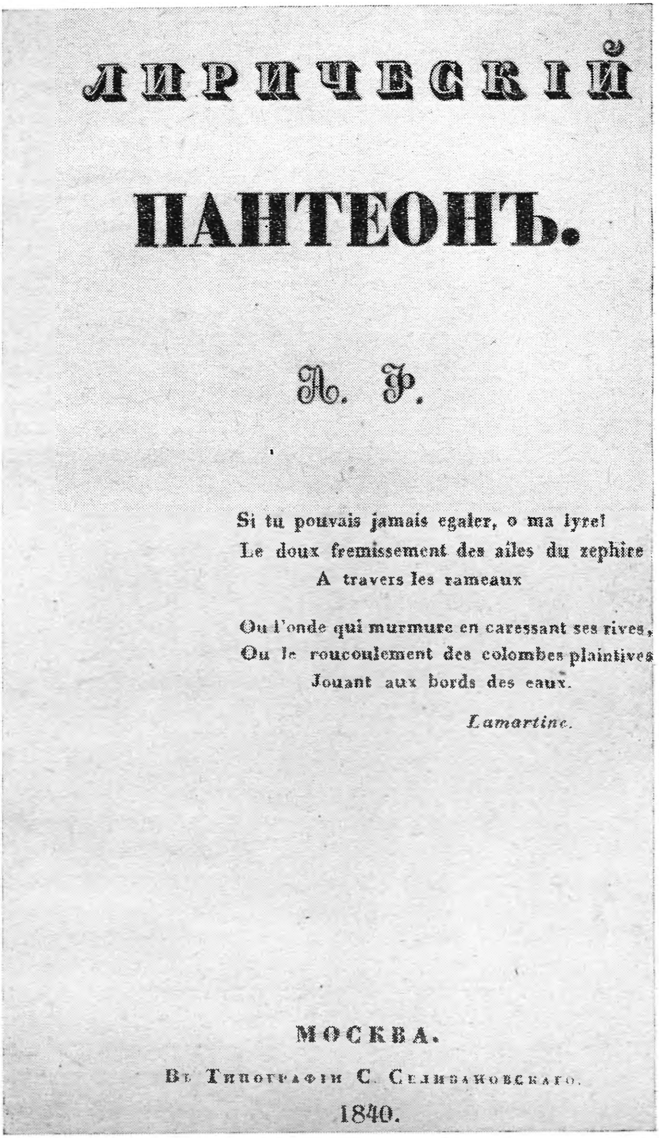
Сияние пушкинской славы не затмило других поэтов его времени. Напротив, имя Пушкина в ряде случаев вы-

двинуло эти имена, и голоса многих поэтов звучат и поныне как раз потому, что рядом с ними был Пушкин. Год за годом росло на моих книжных полках собрание стихов поэтов пушкинской поры, к ним закономерно присоединилось и последующее поколение поэтов от Некрасова с его современниками — Тютчевым, Фетом, Полонским, Плещеевым — до Блока и Брюсова и далее до наших дней. Так, рядом с прижизненными изданиями русских поэтов стоят у меня на полке томики «Библиотеки поэта», основанной М. Горьким, и, глядя на эти книги, обретшие миллионы читателей, нельзя не вспомнить кое-что из прошлого.

Первая книжка стихов Аполлона Григорьева была выпущена в 1846 году в количестве 50 экземпляров, а первая книжка стихов Ф. Тютчева представляла собой приложение к одному из номеров журнала «Современник» за 1854 год. Первый сборник стихов Н. Некрасова «Мечты и звуки» (1840) был уничтожен автором как не удовлетворявший его; по той же причине были уничтожены И. Лажечниковым «Первые опыты в прозе и стихах» (1817) и А. Фетом его первая книжка «Лирический пантеон», вышедшая в 1840 году... Можно ли не вспомнить судьбы этих книг, когда томики «Библиотеки поэта» выходят пятидесятитысячным тиражом, причем книги многих поэтов давно уже распроданы, и молодые книголюбы усердно ищут их для пополнения своих собраний.

Они стоят на моих книжных полках, поэты от Ломоносова и Тредьяковского до наших дней, я дорожу дружбой с ними, мне помогает жить их глубокая поэтическая мысль.

С особым чувством открываю я и маленькую книжечку стихотворений М. Лермонтова, вышедшую в 1840 году, с типографской рамочкой на каждой странице, скромную заявку на великое будущее поэта. С таким же чувством открываю я и книжку Е. Баратынского «Наложница», на обороте титула которой напечатано: «Все экземпляры сей книги, не подписанные мною, суть поддельные, и продаватели оных будут преследуемы по законам», и за этим следует собственноручная подпись поэта. Перелистывая прижизненные издания А. Полежаева «Кальян» или «Эрпели и Чир-Юрт», перелистываешь как бы и страницы его жизни, такой короткой, оборванной жестокой рукой Николая I.



ЛИРИЧЕСКІЙ ПАНТЕОНЪ.

А. Ф.

Si tu pouvais jamais egaler, o ma lyre!
Le doux fremissement des ailes du zephire
A travers les rameaux

Ou l'onde qui murmure en caressant ses rives,
Ou le roucoulement des colombes plaintives
Jouant aux bords des eaux.

Lamartine.

МОСКВА.

Въ Типографіи С. Селивановскаго.

1840.

Титульный лист первого издания стихотворений А. Фета

Но есть, однако, у некоторых книг и их авторов и последующие удивительные судьбы. В томик стихотворений Дениса Давыдова, изданный в 1832 году, я вклеил как-то такую газетную заметку: «Ульяновск. В селе Верхняя Маза, Радищевского района, где жил последние годы поэт, партизан Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, состоялось собрание колхозников, посвященное его памяти. По предложению кузнеца Алексея Нюсинова собрание решило присвоить колхозу имя поэта-партизана».

К томику стихов А. Дельвига, изданному в 1829 году, я приложил в свое время такое письмо, напечатанное в газете: «Один из талантливых поэтов 19-го века, друг А. С. Пушкина, Антон Антонович Дельвиг был поклонником русского народного творчества. Наша молодежь знает и любит его песни «Не осенний мелкий дождичек», «Соловей, мой соловей»... Мы предлагаем издать сочинения А. А. Дельвига массовым тиражом и притом в ближайшее время»,— заключает работник завода имени Лихачева И. Коротин.

А к книжке Тараса Шевченко «Кобзарь», выпущенной «коштом Платона Семеренка» в 1860 году, я приложил газетную вырезку с рассказом о старой ветвистой вербе, посаженной поэтом в городском саду Александровского форта (ныне Форт Шевченко) на полуострове Мангышлак, и о том, что каждый колхоз вокруг, разбивая новый сад, берет от шевченковской вербы веточку...

Так разрастается поэтическая история некоторых книг. Жители Калинина сетуют на то, что до сих пор не установлена мемориальная доска на доме основоположника русского исторического романа И. И. Лажечникова, сетуют книголюбы и на то, что в Ленинграде нет мемориальной доски на доме, где помещалась книжная лавка А. Ф. Смирдина, а одна из читательниц настоятельно требует привести в порядок могилу А. П. Керн близ Торжка,— ведь именно Керн посвятил Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой.

Хорошие книги никогда не умирают. Они живут и в первых изданиях — пусть их собирают книголюбы, они живут и в современных изданиях, которые собирает широкий круг новых читателей, плененных и музыкой стиха, и историей жизни замечательных людей, и судьбами изобретателей и умельцев, и мужественной русской прозой, покорившей мир со времен «Повестей Белкина» Пушкина,

«Героя нашего времени» Лермонтова, «Мертвых душ» Гоголя, «Записок охотника» Тургенева, «Войны и мира» Льва Толстого, рассказов Чехова...

Повесть о редких изданиях не уходит непременно в прошлое; повесть эта пишется каждый день, ибо многие издания, какие соберет молодой книголюб сегодня, станут со временем редкостью, голосом эпохи, свидетелями ее дел. Номера газет с сообщениями о запуске первого искусственного спутника Земли стали уже редкостью, станут редкостью и номера газет с сообщениями о запуске ракеты на Луну.

Время идет, движется, с ним вместе движется и летопись времени — книги: одни становятся вечными, никогда не стареющими спутниками новых и новых поколений читателей; другие не остаются в широком обиходе, но и они не уходят совсем, а прочерчивают свой след в звездном небе литературы. Астрономы с одинаковым вниманием относятся и к крупным светилам и к звездам третьей или пятой величины, ибо без звездной осыпи не было бы и звездного мира.



ГЛУБОКИЕ БЕСЕДЫ

С книгами, которые стоят на моих книжных полках, у меня душевная внутренняя связь. Я знаю судьбу и историю почти каждой из них, и мне кажется, что, когда я беру в руки ту или другую книгу, она тоже знает меня, и нам ничего не нужно объяснять друг другу.

В самом начале революции старый московский букинист Константин Захарович Никитин, о котором даже написана книжечка, поднялся ко мне, задыхаясь от эм-

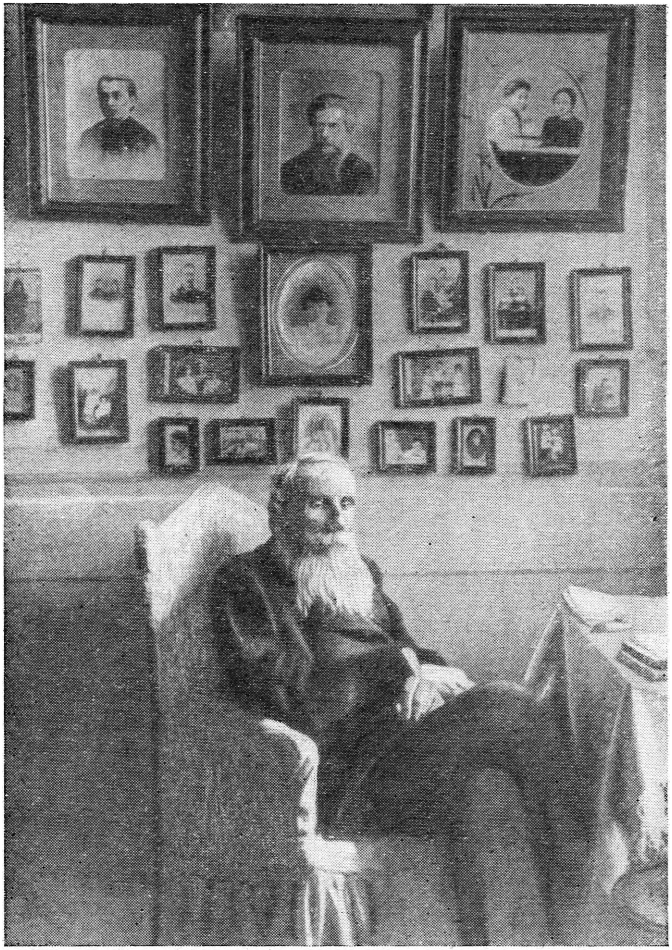
физемы легких, на четвертый этаж с тяжелой пачкой книг; в пачке оказался Толковый словарь русского языка Даля.

— Хочу, чтобы этот словарь остался у вас,— сказал мне Никитин.— Вам он пригодится... может быть, помянете добром старого книжника.

Никитин вскоре умер, а словарь Даля и поныне стоит у меня в книжном шкафу, и, наверно, тысячи раз помянул я добром старого книжника. Пользуясь словарем Даля, я никогда не забываю, что словарь этот предназначен лишь для изучения языка, а не для выискивания народных словечек, которыми иногда хочет блеснуть литератор. Не забываю я и о том, что В. И. Ленин, боровшийся за чистоту русского языка, высоко ценил словарь Даля, предупреждая вместе с тем, что это словарь областного языка. И вот, когда собираешь вместе все эти сведения и размышления, то словарь Даля лично для меня расширяется и становится связанным не только с судьбой его создателя или с памятью о старом книжнике Никитине, но и со всеми теми изменениями строя русской речи и новыми словами и понятиями, какие принесла с собой Октябрьская революция. Вместе с тем всегда раздумываешь, что́ значит целеустремленный, упорный труд, каким был, например, труд В. И. Даля по собиранию русского словесного жемчуга. Мало кто помнит рассказы и повести казака В. Луганского, и сам Даль, писавший под этим псевдонимом, несомненно понимал, что его, Даля, сила не в художественной прозе, а в создании единственного в своем роде путеводителя по русской речи, которому дано будет победить время; он и победил время, навсегда оставшись спутником каждого из нас.

Поэтому, когда я беру в руки тот или другой том словаря Даля, у меня нет ощущения, что он нужен мне только для справок; мне кажется, что мы беседуем с ним: он учит меня богатству русской речи, а я как бы напоминаю ему о его славной истории. Так некоторые книги, не старея и не остывая, идут в ногу с временем, и времени никогда не опередить их.

В 1869 году вышла в свет книга Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России». Флеровский — псевдоним Василия Васильевича Берви, известного экономиста и публициста. Книга Флеровского, так же как и другая его книга — «Азбука социальных наук», вышедшая два



Н. Флеровский (В. В. Берви)

года спустя, пользовалась огромным успехом у революционной молодежи. Книгу «Положение рабочего класса в России» высоко ценил Карл Маркс.

«Азбука социальных наук» была уничтожена царским правительством. Экземпляр, который хранится у меня, наглядно повествует о том, как книга была уничтожена: обугленные почерневшие края страниц хранят следы огня,

но огонь не сжигает человеческой мысли, и с особенным чувством читаешь заключительные строки этой книги:

«...заслуга современной европейской цивилизации, по сравнению с предшествующими, будет равняться если не нулю, то величине очень близкой к ничтожеству — она точно так же, как и ее предшественницы, не учит людей жить создающею солидарность между ними мировою жизнью, она не развивает в них той силы, которая для каждого человека может сделаться источником наибольшего счастья; между тем до тех пор, пока люди этому не научатся, они не будут исполнять своего назначения и будут только уменьшать и собственное свое, и чужое счастье».

Огонь не испепелил этих пророческих строк, и книга Флеровского закономерно стоит на моей книжной полке рядом с другой, тоже сожженной книгой,— «Право естественное» Александра Куницына, вышедшей в 1818 году.

Куницын был одним из любимых учителей А. С. Пушкина и его товарищей в Царскосельском лицее. Пушкин, на формирование воззрений которого оказал влияние Куницын, вспоминает о нем в одном из самых проникновенных своих стихотворений, посвященном лицейской годовщине:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им креугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Обе части «Права естественного», в которых Куницын резко высказывался против тирании и провозглашал право граждан сопротивляться угнетению, были изъяты и уничтожены правительством, а Куницын отстранен от преподавания в лицее.

«Властелин не может употреблять для того средства не совместные со свободою и честью граждан... Ни один из подданных не может принять такого поручения, которое противно свободе его сограждан... Распри народов по праву независимости должны быть решены самими народами; потому на заключение мира между воюющими Державами никакой другой народ не может иметь самопроизвольного влияния» — и многое еще другое хотелось бы

выписать из этой сожженной книги, которую держал, может быть, в руках Пушкин.

В русском языке есть устаревшее слово «страстотерпец». В буквальном смысле оно означает — мученик, в переносном — человек, готовый ко всем испытаниям во имя поставленной перед собой цели. К числу таких страстотерпцев можно отнести оригинального, забытого ныне писателя прошлого века — Ивана Гавриловича Прыжова. Обвиненный по нечаевскому делу, Прыжов был отправлен отбывать каторгу на Петровский железоделательный завод в Забайкалье, пробыл там почти десять лет и вскоре, выйдя на поселение, умер. Но мученической была и вся писательская жизнь Прыжова, полная неудач, нищеты, отчаяния, разочарования; статьи и книги Прыжова трудно печатались, найти их ныне почти невозможно.

Мне посчастливилось собрать почти все книги Прыжова, изданные при его жизни: «История кабаков в России», «Нищие на святой Руси», «26 московских лже-пророков, дур и дураков». Авторство последней книги присвоил аферист-издатель Барков, выпустив ее без фамилии автора и указав только, что это издание Баркова, из чего можно было заключить, что он и является автором книги. (Прыжов в отчаянии подарил ему рукопись, так как никто из книгопродавцев не захотел приобрести ее даже за 8—10 рублей.)

Книги Прыжова повествуют о трагических условиях жизни народа в царской России, о нищете, о систематическом спаивании. Они разоблачают «блаженных», «пророков» — проходимцев, дурачивших народ, насаждавших суеверие и изуверство.

В книжке «Житие Ивана Яковлевича известного пророка в Москве» Прыжов разоблачает кумира московских купчих, плута и изувера Корейшу, на защиту которого немедленно поднялся архимандрит Федор, ибо церкви нужны были всяческие «пророки» и «провидцы», поддерживавшие веру в чудесные исцеления, «святую» воду и прочие атрибуты церковного обмана.

В 1934 году вышел большой том очерков, статей и писем Прыжова; но его книжки, изданные в семидесятых годах прошлого века, всегда пробуждают во мне особое чувство: и то, что они так бедно изданы, и то, что мошенник-издатель попросту украл у Прыжова авторство одной из его книг,— все это так наглядно и грустно представ-

ляет нищую, трагически завершившуюся жизнь одного из своеобразных писателей прошлого.

История судеб декабристов — не только история судеб многих блистательных и мужественных людей, но в ряде случаев и судеб загубленных писательских и поэтических талантов. Книги декабристов А. Бестужева-Марлинского и К. Рылеева были переизданы не раз в наше, советское время, и все же, когда держишь в руках первое издание «Дум» Рылеева или его поэмы «Войнаровский», невольно переносишься к тем временам, когда книги эти были изданы и когда наряду с книгами Рылеева вышли книги ряда других поэтов-декабристов, получивших меньшую известность; но кто знает, как развернулись бы эти поэтические таланты при других обстоятельствах.

Вот они лежат передо мной — скромные книжечки, заявка на большую поэтическую судьбу. «Опыты» Александра Шишкова 2-го, вышедшие в 1828 году, с пророческими строками заключительного стихотворения «Родина»:

Гонимый гневною судьбой,
Давно к страданьям осужденный,
Как я любил в стране чужой
Мечтать о родине священной.

Книжки В. Кюхельбекера «Смерть Байрона» и «Шекспировы духи», изданные в 1824 и 1825 годах, его же «Ижорский», напечатанный стараниями Пушкина в 1835 году, когда сам автор находился в далеком изгнании и даже имени его нельзя было указать на книге; «Русский декамерон 1831-го года», изданный неким И. Ивановым в 1836 году.

Вот вышедшие одновременно в 1826 году «Опыты священной поэзии» и «Опыты аллегорий» Федора Глинки, «Записки о Голландии 1815 года» Николая Бестужева (1821), «Поездка в Ревель» Александра Бестужева, первая книжка будущего популярного писателя, вышедшая также в 1821 году.

Может быть, сами авторы держали в руках эти книжки, а если и не они, то во всяком случае те, кому они были духовно близки, кто не забывал о них, когда «во глубине сибирских руд» хранили они не только гордое терпение, но и веру в конечное торжество своего дела.

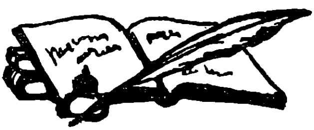
Любовь к книге меньше всего подразумевает любовь к редкой книге. Но рассказы о ней побуждают по-особому

относиться к этому совершеннейшему созданию человека, к памятнику времен и народов. Если воспитать с детства любовь к книге, то из юного книголюба вырастет человек, привязанный к книге, сеятель просвещения в самом возвышенном смысле этого слова и прежде всего вдумчивый и требовательный читатель.

Написав о некоторых книгах, стоящих на моих полках, я, по существу, побеседовал с книгами, на этот раз печатно: обычно беседы мои с ними — устные, но они происходят всегда, углубляясь и обогащаясь, если о той или другой книге узнаешь что-либо новое; а свойство книг таково, что история их никогда не кончается, она подобна живой воде, она в вечном движении.



ЖИВЫЕ НАДПИСИ



Много лет книги дарят меня находками. Находки позволяют проникнуть в глубину жизни писателей, которых отделяют от нас иногда целые столетия. Исследователи литературы хорошо знают радость таких находок: надо пройти сложный лабиринт фактов, сопоставлений, архивных материалов, эпистолярного наследия писателя.

Открытия книголюба проще, но не менее поучительны. На моих книжных полках есть книги, с которыми у меня давно установилось потаенное содружество: я знаю некоторые их тайны, открытие которых волнует меня, потому что они дополняют образ писателей, написавших эти книги, или образ бывших владельцев этих книг.

У писателя есть близкие, есть друзья, есть просто знакомые. Тем и другим он дарит зачастую свои книги с автографами. Автографы бывают различные, в зависимости от

степени чувства. Но бывают и такие, которые проливают свет на отношения между писателями или, напротив, сами могут служить загадкой.

У поэта Василия Андреевича Жуковского были две племянницы — сестры Юшковы: одна из них — Авдотья Петровна — впоследствии Киреевская, другая — Анна Петровна Зонтаг, ставшая известной в свое время детской писательницей. Жуковский относился с глубоким вниманием и нежностью к обеим племянницам, известна его обширная переписка с ними.

Однажды, заключая, видимо, какие-то давние взаимные споры о назначении поэзии, Жуковский подарил А. П. Киреевской книжку из своей библиотеки. Книжка была на французском языке под названием «О старости, или древний Катон. О дружбе или Лелий. Творения Цицерона, переведенные М. Королевским судьей Д ***. Париж. 1780». На титульном листе есть надпись на французском языке рукой Жуковского: «Василий Жуковский — госпоже Киреевской». На первой же пустой страничке книжки Жуковский написал четверостишие, из которого можно понять, что спор между ним и племянницей был о поэзии.

Пусть Дружба, не смотря на спор,
Нас доведет до Старости веселой.
Щитайте в добрый час поэзию за вздор,
Но верте, что теперь она сначала дело.

1814, Генварь 11.

Подчеркнутые Жуковским слова «Дружба» и «Старость» находятся в перекличке с названием подаренной им книжки.

Таким образом, маленькое неизвестное четверостишие Жуковского уточняет его взгляд на значение поэзии. Вспомним, что первое печатное произведение Пушкина — «К другу стихотворцу» — появилось в «Вестнике Европы» именно в 1814 году, и строки «Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет и, перьями скрыпя, бумаги не жалеет» находятся в прямом соответствии со строками Жуковского о том, что поэзия — прежде всего *дело*.

Вызывает у меня особое чувство и одно из изданий басен Крылова. Иван Андреевич Крылов скончался 9 ноября (ст. стиля) 1844 года. Его последним распоряжением было разослать всем знакомым и друзьям по экземпляру нового

издания его басен («Басни И. А. Крылова в девяти книгах. Санктпетербург. 1843»).

Душеприказчик Крылова Я. И. Ростовцев на рассвете того же дня, когда умер Крылов, распорядился, чтобы в типографии ручным способом была оттиснута на первом чистом листе каждого экземпляра следующая надпись:

9-го Ноября
$4^1/_2$ часов утра.
По желанию Ивана
Андреевича Крылова.
Присланное душеприкащиком его
Яковом Ивановичем Ростовцевым.

В таком виде вместе с траурным объявлением экземпляры книги были в то же утро разосланы знакомым Крылова.

На экземпляре, который хранится в моей библиотеке, написано от руки следующее:

«1844. Через три часа с четвертью, после изъявления желания, чтобы всем знакомым его было послано по экземпляру басен, И. Крылов — скончался!..

Книга эта была прислана отцу моему в 4 часа пополудни вместе с приглашением на погребение поэта и немедленно отдана была мне.

В память траурной ея обертки из белого картона с черным ободочком я сделал настоящий ее переплет.

Николай Арбузов».

Переплет, сделанный из белого муара с черным траурным ободком в точности воспроизводит картонную обложку. Николай Алексеевич Арбузов был, по-видимому, племянником поэта Н. А. Арбузова.

Трогательно не только предсмертное распоряжение Крылова, но и то, что наборщики успели в несколько часов тиснуть ручным способом дарственную посмертную надпись.

Два года назад я приобрел в Ленинграде то же издание басен Крылова, но с иным, уже печатным текстом на обложке:

Приношение.
На память об Иване Андреевиче.
По его желанию.
1844.
9-го Ноября.
8-го, утром.

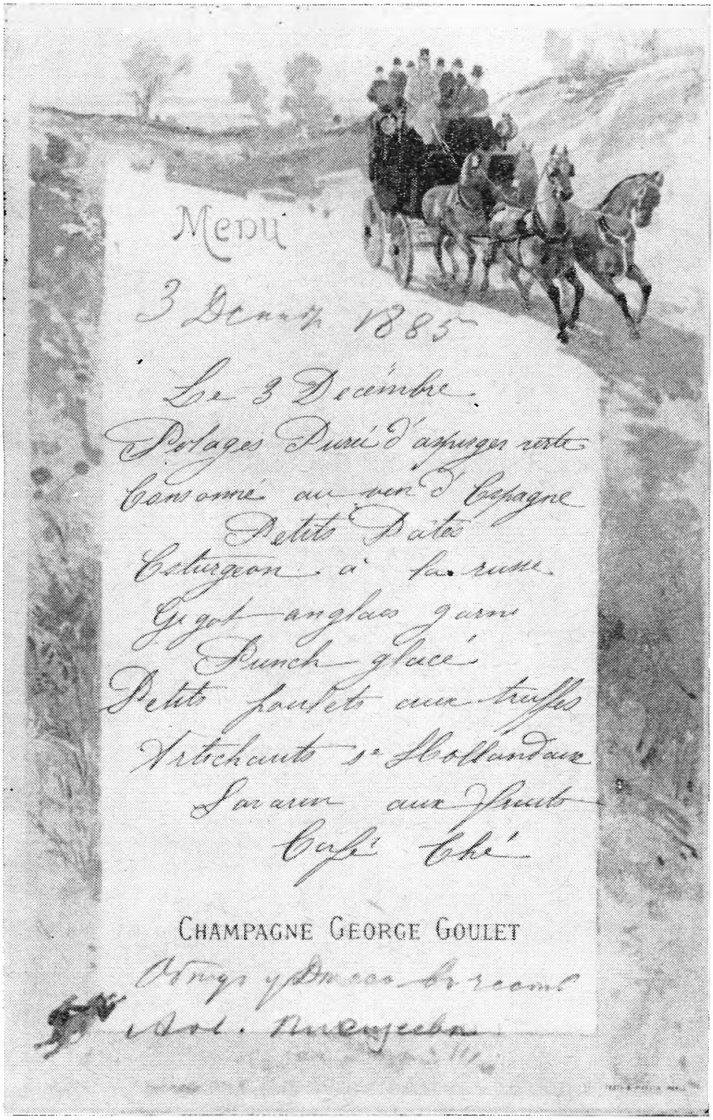
По печатному тексту обложки можно уточнить час смерти Крылова, а на экземпляре, принадлежавшем Арбузову, указан час, когда Крылов изъявил желание, чтобы всем знакомым было послано по экземпляру его книги: за три с четвертью часа до смерти.

Когда держишь в руках эти оба экземпляра басен Крылова, то наглядно представляешь себе и холодное ноябрьское утро в Петербурге и труд наборщиков типографии военно-учебных заведений, главным начальником которой был именно душеприказчик Крылова Я. И. Ростовцев... Добавим к этому строки из книжки академика Михаила Лобанова «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова», изданной в 1847 году и хранящейся у меня с дарственной надписью вдовы автора Ольги Лобановой Я. И. Ростовцеву: «Его превосходительству Якову Ивановичу Ростовцеву, на память о его приятеле Иване Андреевиче Крылове и сочинителе его биографии Михаиле Евстафьевиче Лобанове, почитавшем их обоих. Вдова Ольга Лобанова. 25 Марта. 1847».

Вот что пишет Лобанов о последних часах жизни Крылова:

«За несколько часов до кончины он велел перенести себя в кресла, сказал: «тяжко мне!»и потребовал, чтобы снова положили его в постель. Вспомнив, что напечатано им новое издание его басен, еще не выпущенное в свет, он поручил окружавшим его разослать по экземпляру всем помнящим о нем. Не я один, а, конечно, многие заплакали, получив приглашение на похороны Крылова и вместе с тем экземпляр изданных им самим басен, на заглавном листе которых, очерченном траурной каймою, было напечатано: «Приношение. На память об Иване Андреевиче по его желанию».

Но есть некоторая неточность в утверждении Лобанова, что это издание басен еще не было выпущено в свет: у меня хранится отдельно обложка этих басен с автографом И. А. Крылова: «Милым маленьким Грубачевым от



Menu

3 Декабр. 1885

Le 3 Décembre.

Potages Purée d'asperges vertes

Consommé au vin d'Espagne

Petits Pâtés

Esturgeon à la russe

Gigot anglais garni

Punch glacé

Petits poulets aux truffes

Artichauts s. Hollandaise

Ananas aux fruits

Café Thé

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

Обед у [illegible] в честь Ал. Плещеева

Меню обеда в честь А. Н. Плещеева вклеенное в его книгу

сочинителя И. Крылова». Следовательно, какое-то количество экземпляров было выпущено в свет еще при жизни баснописца.

Вот как много может рассказать короткая надпись на книге, если уметь прислушаться к ее, надписи, голосу.

Меня волнует, например, надпись И. С. Тургенева на пятой части его сочинений, изданной в 1874 году и открывающейся повестью «Первая любовь»:

«Екатерине Николаевне Кравченко-Половцевой на память незабвенного нашего вечера 15 М-а. СПБ. 1879. От Ив. Тургенева».

Вечер этот несомненно оставил глубокий след в душе собеседницы Тургенева, так как даже на корешке заказанного ею переплета для книги напечатано золотом «16 марта 1879».

Екатерина Николаевна Половцева, следует предполагать, была женой литератора Ан. Половцева, оставившего воспоминания об И. С. Тургеневе. В 1876 году, собирая материалы по истории быта крестьян Орловской губернии, Половцев заехал в Спасское познакомиться с Тургеневым; знакомство их продолжилось и в Петербурге.

Иногда о литературных судьбах или даже целых событиях в литературной жизни повествуют не только надписи на книгах, но и вклеенные в книги вырезки или дополнительные сведения: известный библиограф П. А. Ефремов зачастую вплетал в книги материалы такого рода, правда, не только обогащая ими будущих исследователей, но иногда и озадачивая.

Мне попал как-то в руки том стихотворений А. Н. Плещеева, изданный в 1887 году. В этот том вклеено было кем-то меню обеда в честь А. Н. Плещеева в одном из петербургских ресторанов 3 декабря 1885 года, когда Плещееву исполнилось шестьдесят лет. Это был, видимо, просто литературный обед, так как официальный юбилей А. Н. Плещеева праздновался 15 января 1886 года.

В письме к С. Я. Надсону от 23 ноября 1885 года Плещеев писал:

«Вы, конечно, не подозреваете, что вчера, в день моего рождения (мне исполнилось 60 лет. Невеселый возраст!), вы, вместе с некоторыми юными поэтами, преподнесли мне адрес с выражением сочувствия за то, что я на старости лет не исподлился. Инициатива шла от милейшего В. М. Гаршина, который не только сочинил и собственно-

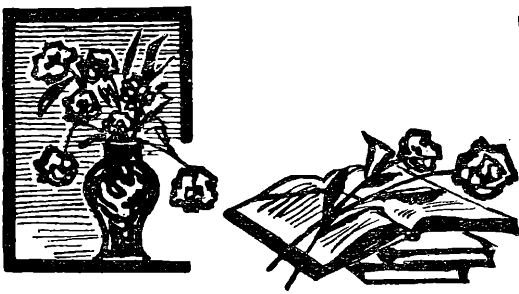
ручно написал этот задушевный и очень меня тронувший адрес, но и подписался за вас, да так удачно, что не отличишь его подписи от вашей».

А Гаршин, в свою очередь, писал Надсону в конце января 1886 года:

«Мы праздновали юбилей (А. Н.) Плещеева в два приема: во-первых, в большом виде, у Понсе, где было 120 человек, а затем в ред. «Сев. Вестника», где были все свои люди, человек 15, поднесшие юбиляру венок (серебряный) и при этом обедавшие».

Так, меню обеда в честь Плещеева, вклеенное в книгу его стихов, приоткрывает страницу литературной жизни прошлого, и притом страницу, связанную также и с именами Надсона и Гаршина. Это очень трогательная страница, и я с особым чувством храню книгу А. Н. Плещеева, который «не исподлился на старости лет».

ДВЕ ВСТРЕЧИ



Иван Иванович Дмитриев является автором прославленного стихотворения «Стонет сизый голубочек», ставшего народной песней. Дмитриева роднила с Державиным не только общность поэтических интересов, но и сердечная дружба между ними. Когда-то я приобрел переплетенные в один том две части «Сочинений Ивана Дмитриева», изданные в 1803 году. На первой чистой странице этой книги есть надпись: «Его Высокопревосходительству Милостивому государю Гавриилу Романовичу от автора. Москва. 1803 года. Сентября 21 дня».

В книге есть следы руки и самого Державина, читателя взыскательного и радующегося удачам и находкам другого. Так, возле последних строк стихотворения «Под-

ражание Петрарку» есть пометка Державина: «Прекрасно, прекрасно!!»

> И страждущий Петрарк на камень упадает
> Без памяти, без чувств, так холоден, как он,
> Лишь эхо отдает глухой и томный стон.

Есть одобрительная пометка Державина и возле другого стихотворения — «Без друга и без милой брожу я по лугам...»

Мне вдвойне дорога эта книга, запечатлевшая перекличку двух славных поэтов прошлого. Пометки Державина представляются мне добрым примером внимания одного писателя к другому.

Во время минувшей войны мне привелось как-то побывать в качестве корреспондента газеты «Известия» в Куйбышеве. В одном из магазинов старой книги, где торговали и канцелярскими принадлежностями, я увидел на прилавке стопку книг, видимо, таких, каких никто не покупает за их ненадобностью. Действительно, все это была так называемая «ро́збить», то есть отдельные тома сочинений или книги, которые библиотека ликвидировала за полным их обветшанием. Но в самом низу стопки лежала какая-то старенькая книжечка, судя по корешку с цветной наклейкой, и я не без труда вытащил ее. Книжечка оказалась третьей частью сочинений Ивана Дмитриева, вышедшей в 1805 году, и на обороте переплета был автограф Дмитриева: «Его Высокопревосходительству Милостивому Государю Гавриилу Романовичу Державину в знак душевного почтения от Издателя».

— Что вы там такого нашли? — поинтересовался продавец, вероятно, прочитав на моем лице то, что истинные книжники обычно скрывают под маской равнодушия: такова природа собирания. Я не захотел кривить душой и рассказал продавцу об изумительной находке: о том, что первые две части уже множество лет стоят у меня на книжной полке, а теперь — в войну, в Куйбышеве, неизвестно откуда взявшаяся, повстречалась мне и третья часть, тоже с авторским посвящением Державину.

— Ничего удивительного нет,— сказал мне продавец философски.— Книги прежде ходили пешком, а теперь они летают на самолетах, как и люди... мало ли кто мог привезти в эвакуацию эту книгу.

Я не внял трезвому голосу, я все же был поражен находкой, но в одном продавец был прав: книга вместе со мной прилетела на самолете из Куйбышева в Москву, и тридцать лет спустя все три части сочинений Дмитриева, подаренные им Державину, соединились у меня на книжной полке: это все-таки маленькое чудо.

Впрочем, почти то же самое произошло с Пушкиным и Денисом Давыдовым. Тоже тридцать лет, если не больше, стоял у меня на полке томик «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданныя А. П.» в 1831 году. Томик этот оклеен зеленоватой бумагой в прожилках, и корешок у него золотой, в сеточку, столь отличительный, что, увидев его раз, уже не забудешь.

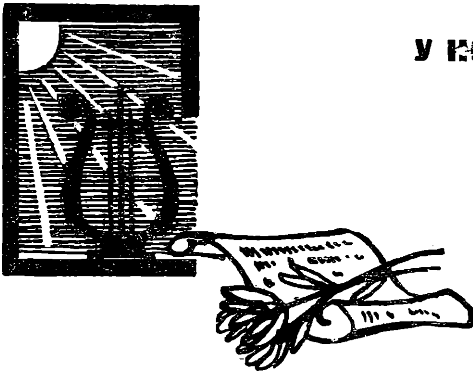
Год назад в одном из книжных магазинов я увидел родного брата или, вернее, родную сестру этой книжечки: это был томик, оклеенный такой же зеленоватой бумагой в прожилках, с тем же узором на корешке, того же формата, что и «Повести Белкина»; на этот раз томик оказался стихотворениями Дениса Давыдова издания 1832 года. У меня было это издание, но в другом переплете, и я все же купил этот томик просто из-за разительного сходства с томиком Пушкина.

Дома, сравнив обе книжки, я увидел, что они не только из одной и той же библиотеки, но и по чернильному библиотечному номеру бывшего владельца стояли на его полке, разделенные лишь одной книгой: на томике Пушкина был № 267, на томике Давыдова — № 269.

«Что ж,— сказал я мысленно,— вот вы и соединились снова примерно через 120 лет, попробуйте сказать, что у книг нет своей судьбы и что судьбы эти нередко бывают удивительны».

Только я поставил их ныне рядом, и кто знает — не найду ли я со временем и третью книжку, которая разделяла их когда-то.





„ДУШЕНЬКА" У НОГ ДЕРЖАВИНА

В тридцатых годах во многих букинистических магазинах Москвы появился ряд старинных книг. На одних был штамп «Нарышкинская особая библиотека в г. Тамбове», на других — экслибрис-монограмма «ДВП», на третьих — надпись выцветшими чернилами «Ф. Д. Хвощинский». Была та пора, когда некоторые библиотеки, желая обновить свой фонд, без сожаления расставались со старыми изданиями, определяя значение книги только спросом на нее. В воспоминаниях старого книжника П. П. Шибанова «Полвека со старой книгой и ее друзьями», пока еще не напечатанных, рассказано, между прочим, о том, как таким же образом опустошалась в те годы морская библиотека в Севастополе, основанная адмиралом М. П. Лазаревым и пополнявшаяся книгами из собраний целого ряда русских мореплавателей. Сейчас, естественно, об этом можно вспомнить лишь с глубоким сожалением.

Свою судьбу и историю имели и книги со штампом «Нарышкинская особая библиотека в г. Тамбове». Тамбов — город культурных традиций. В Тамбове вышло в свое время не мало провинциальных изданий, в Тамбовской губернии было много дворянских библиотек, наконец, губернатором в Тамбове был в свое время Г. Р. Державин. Постепенно книжные сокровища стекались из помещичьих библиотек в Тамбов, где и была образована «Нарышкинская особая библиотека», включившая в себя и дворянские библиотеки Д. В. Поленова и Ф. Д. Хвощинского и, наконец, личную библиотеку самого Державина.

Собирателю книг всегда свойственно одно особое чувство: чувство жалости к редкой книге, если она по небре-

жению, в силу случайности или недопонимания ее ценности рискует попасть в руки несведущего человека. Так, однажды я нашел в одном из книжных магазинов том стихотворений В. Жуковского с мельчайшей неразборчивой надписью выцветшими чернилами на титуле. Я долго пытался разобрать в полусумраке магазина надпись, так и не разобрал ее и решил перенести это на утро, легкомысленно не попросив отложить для меня книгу. Только вернувшись домой, я расшифровал надпись и утром поспешил в магазин. Но продавец сообщил мне, что всего четверть часа назад какой-то летчик, желая сделать своему сыну подарок в день рождения, купил эту хорошо переплетенную книгу стихотворений Жуковского.

Надпись же, какую я с опозданием расшифровал, была сделана рукой Жуковского: «Дымной печурке от Светланы»; по кличкам известного литературного общества «Арзамас» (1815—1818) «Дымной печуркой» именовался А. Ф. Воейков, а кличкой самого Жуковского была «Светлана». Можно почти с уверенностью сказать, что том стихотворений Жуковского с его автографом навсегда погиб.

Книги из попавшей частично в продажу «Нарышкинской особой библиотеки» заинтересовали меня. В большинстве случаев это были первые издания русских поэтов и путешествия русских прославленных мореходов. Но, просматривая книги, я увидел на одной из них — на «Стихотворениях Анакреона Тийского», выпущенных в 1794 году в переводе Николая Львова,— такую надпись:

«Любезному Другу моему Гавриилу Романовичу. Числа 12. С. П.-бург».

Н. А. Львов, один из первых собирателей русских народных песен, поэт, композитор и архитектор, был другом Державина. В Гатчине до сих пор сохранилась построенная Львовым пристройка к Приоратскому дворцу на Черном озере — одно из чудеснейших архитектурных творений.

Надпись Львова на книге свидетельствовала, что «Анакреон» из библиотеки Державина. Порывшись в привезенных книгах, я нашел и другой томик, принадлежавший некогда Державину, с его инициалами на корешке,— «Душеньку» И. Ф. Богдановича.

В русской литературе есть немало примеров, когда имя писателя прочно закрепилось благодаря одному произведению. Богданович был человеком просвещенным. Он со-

ставил один из первых сборников русских пословиц, изданный в 1785 году, сборники стихов и драматических произведений. Но только его «древняя повесть в вольных стихах» «Душенька» прочертила яркий след в литературе, и именно с нею и связана писательская известность Богдановича. «Душенька» издавалась множество раз; она выходила и миниатюрными изданиями, и с иллюстрациями, и как текст оперы с превосходнейшими гравюрами — заставками и концовками.

Но экземпляр из библиотеки Державина был самый непритязательный: первое издание 1783 года; он отличался лишь авторской надписью на титуле: «Гавриле Романовичу Державину приносит сама Душинька».

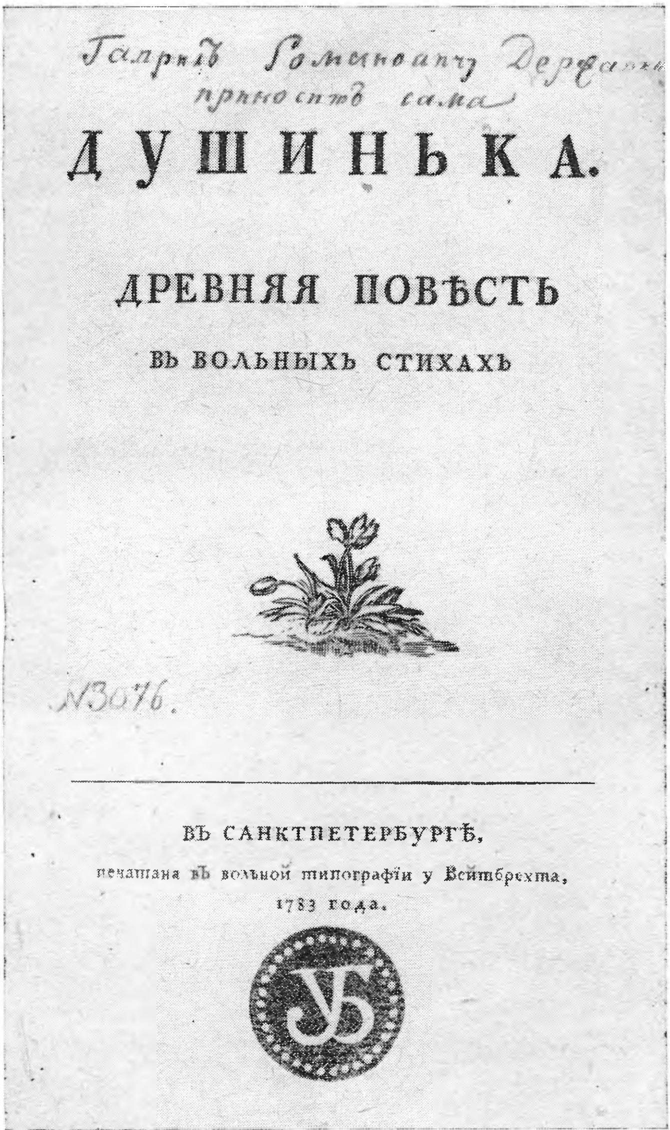
Однако выискал я не только книги, подаренные авторами Державину, но и книгу самого Державина с его необычайно трогательной надписью, некогда хранившуюся, наверно, под зеленой тафтой, как одна из самых близких сердцу драгоценностей.

В 1794 году у Гавриила Романовича Державина умерла первая жена. В его «Записках», изданных «Русской беседой» в 1860 году, есть такая запись:

«Июля 15-го числа 1794 году скончалась у него первая жена. Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он Генваря 31 дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой.

...В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собой о счастливом супружестве. Державина сказала, ежели бы она г-жа Дьякова вышла за г. Дмитриева, который всякой день почти в доме Державина и коротко был знаком, то бы она не была безсчастна. «Нет, отвечала девица, найдите мне такова жениха, каков ваш Гаврила Романовичь, то я пойду за него, и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись, и начали другой разговор. Державин, ходя близь их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что, когда он овдовел и при мысли искать себе другую супругу, она всегда в воображении его встречалась».

Книга Державина, которую я нашел, оказалась его «Анакреонтическими песнями», изданными в Петрограде в 1804 году. На первой чистой страничке этой книжки, переплетенной в красный марокен, есть дарственная надпись


Гаврилѣ Романовичу Державину
приноситъ сама

ДУШИНЬКА.

ДРЕВНЯЯ ПОВѢСТЬ

ВЪ ВОЛЬНЫХЪ СТИХАХЪ

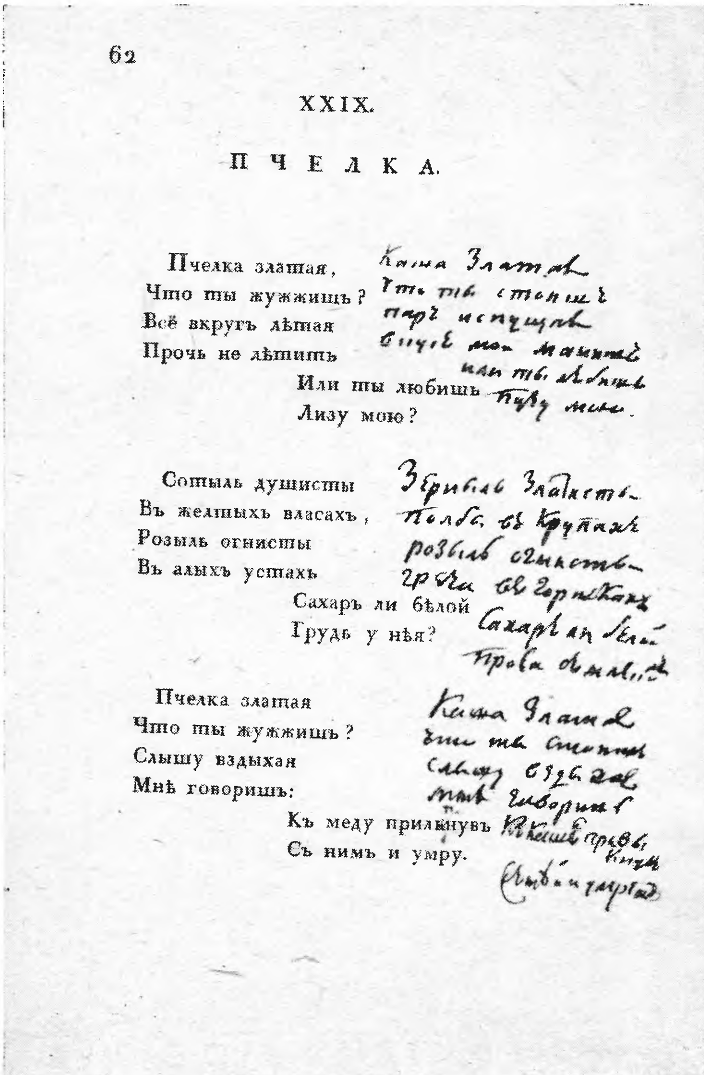
№3076.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

печатана въ вольной типографіи у Вейтбрехта,

1783 года.

Титульный лист книги с автографом
И. Ф. Богдановича



62

XXIX.

П Ч Е Л К А.

Пчелка златая,
Что ты жужжишь?
Всё вкругъ лѣтая
Прочь не лѣтишь
Или ты любишь
Лизу мою?

Сотыль душисты
Въ желтыхъ власахъ,
Розыль огнисты
Въ алыхъ устахъ
Сахаръ ли бѣлой
Грудь у нѣя?

Пчелка златая
Что ты жужжишь?
Слышу вздыхая
Мнѣ говоришь:
Къ меду прилипнувъ
Съ нимъ и умру.

Страница из «Анакреонтических песен» Г. Державина
с шуточным авторским вариантом

Державина. Надпись эта, однако, зачеркнута автором так, что можно разобрать только слова: «Ее превосходительству Дарье Алексеевне Дьяковой автор...». Внизу же вместо зачеркнутой надписи Державин вписал двустишие:

Пышная надпись черна
В память Дашиньке дана.

Вторая надпись последовала, когда Д. А. Дьякова стала его женой.

В книжке много стилистических и смысловых поправок рукой Державина, но наибольший интерес представляет шуточный вариант его известного стихотворения «Пчелка». Слева печатный текст стихотворения, справа написанный на полях рукой Державина вариант:

Пчелка

Пчелка златая, Что ты жужжишь? Все вкруг летая Прочь не летишь, Или ты любишь Лизу мою? Соты ль душисты В желтых власах, Розы ль огнисты В алых устах, Сахар ли белой Грудь у нея? Пчелка златая, Что ты жужжишь? Слышу, вздыхая, Мне говоришь: К меду прилипнув, С ним и умру.	Каша златая, Что ты стоишь? Пар испущая, Вкус мой манишь. Или ты любишь Пузу мою? Зерны ль златисты Полбы в крупах, Розы ль огнисты Гречи в горшках, Сахар ли белой Проса с млеком? Каша златая, Что ты стоишь? Слышу, вздыхая, Мне говоришь: К каше привыкнув, С тем и умрешь.

Литературовед Дмитрий Дмитриевич Благой, редактируя новое издание сочинений Державина, тщательно изучал у меня экземпляр «Анакреонтических песен». Экземпляр этот был в свое время в руках у Я. К. Грота, но Д. Д. Благой нашел не только разночтения, но и неправильно расшифрованные Гротом исправления Державина, сделанные мягким коричневым и черным карандашами, а кое-где и гусиным пером.

Я рад, что мой экземпляр послужил редактору и комментатору: в новое издание стихотворений Державина, вышедшее в большой серии «Библиотеки поэта» в 1957 году, внесены все поправки.



БЕДНЫЕ ЛЮДИ

«У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!» — написал в своем «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский. «Эти» — были Некрасов и Григорович, а разбудить молодого писателя прибежали они белой петербургской ночью, едва закончив чтение рукописи «Бедные люди»...

Три дня спустя Белинский пламенно говорил молодому писателю: «Да вы понимаете-ль сами-то, что это вы такое написали!.. Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»...

Достоевский узнал утреннюю зарю своей славы, и, как всякая слава, она имела про запас ядовитые шипы. «Бедные люди» были напечатаны на первом месте в изданном Некрасовым «Петербургском сборнике», рядом с «Помещиком» Тургенева, «Капризами и раздумьем» Искандера и стихами Аполлона Майкова и Некрасова... Но пора белых ночей прошла, и наступила петербургская осень: вслед за первой восторженной оценкой Некрасовым и Григоровичем появились и другие оценки, кислые и брюзгливые: длинноты казались утомительными, и Достоевскому пришлось познать и изнанку внезапного успеха.

«Петербургский сборник» вышел в 1846 году, а год спустя появилось первое издание «Бедных людей». Отзыв о нем Белинского в «Современнике», несмотря на то, что Белинский не изменил своей первоначальной оценки, Достоевский не мог не воспринять болезненно: «Бедные люди» были первым и, к сожалению, доселе остаются лучшим произведением Достоевского» — писал Белинский, до-

бавив, что недавно напечатанный новый роман Достоевского «Хозяйка» не возбудил никакого шуму и прошел в страшной тишине. Далее Белинский писал, что... «Бедные люди» вышли теперь отдельным изданием, в небольшой красивой книжке. На обертке сказано: издание исправленное. Мы не имели времени сличить нового издания со старым и узнать, в чем состоят «исправления», но сколько можно догадываться по сравнению объема обоих изданий, должно думать, что во втором сделаны автором сокращения».

Можно было бы предположить, что первым изданием именуется публикация в «Петербургском сборнике», но слова Белинского «объем обоих изданий» должны иметь в своей основе два отдельных издания, ибо книжка напечатана экономно, а «Петербургский сборник» роскошно, с большими полями, с рисунками Агина и политипажами, рисованными и гравированными в Париже: объем романа Достоевского по этим изданиям сравнивать нельзя.

Несколько лет назад, побывав в гостях у старейшего ленинградского книжника Федора Григорьевича Шилова, ныне покойного, я увидел у него в шкафу, среди остатков некогда украшавших его библиотеку книг, первое издание «Бедных людей» в обложках, иначе в том виде, в каком оно в свою пору вышло. Я спросил Федора Григорьевича, не уступит ли он мне эту книжечку.

— Я удалился от дел, и книг у себя дома не продаю,— сказал он,— если приходит нужда, я отношу их в Книжную лавку писателей.

Я отнесся с пониманием к словам этого повидавшего книгу и пожившего с ней старого книжника. Потом я уехал в Москву и несколько дней спустя получил вдруг из Ленинграда ценный пакет, в котором оказались эта книга Достоевского и редчайшие «Статейки в стихах без картинок», изданные в 1843 году Некрасовым и им же тщательно уничтожавшиеся. Мне оставалось только поблагодарить Федора Григорьевича в следующий свой приезд в Ленинград.

— Я хотел, чтобы эти книжки были у вас,— сказал он,— в этом издании «Бедных людей» особенно интересна обложечка.

Я понял это тогда в том смысле, что книжка сохранила столь ценимый истинными собирателями свой первоначальный вид, обычно уродовавшийся переплетчиками.



Обложка первого издания «Бедных людей»
Ф. Достоевского

Но впоследствии, сличая это издание с другим, имевшимся у меня ранее экземпляром, я обратил внимание на одну особенность и вспомнил слова Шилова насчет обложки. На титульном листе отдельного издания «Бедных людей» значится 1847 год, а на обложке с наборной ампирной рамкой стоит 1848 год и напечатано: «Издание исправленное». Но ведь если издание вышло исправленным, это прежде всего значилось бы на титульном листе книги, а не на эфемерной обложке, которую срывает почти любой переплетчик, да и сама она со временем отлетает.

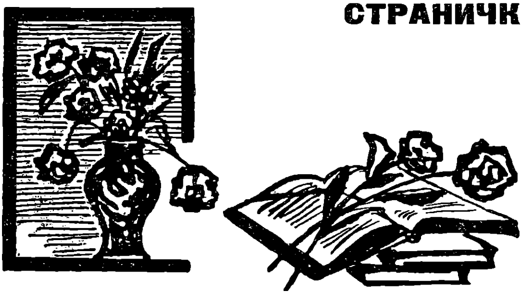
Остается предположить, что книга с цензурной пометкой конца октября могла быть выпущена лишь в начале следующего года, и издатель пошел на хитрость, обозначив на обложке 1848 год и напечатав «издание исправленное», чтобы разночтение в годах на обложке и на титуле не бросалось в глаза и было как-то оправдано. Книга, вышедшая в 1848 году с пометкой 1847, естественно могла казаться не новинкой. А может быть, «Бедные люди» в отдельном издании плохо шли, и надпись «издание исправленное» должно было поднять интерес к ним? Тайну своего рождения иные книги уносят с собой.

У меня, например, стоит на полке огромный том — роман Андрея Белого «Петербург» с авторской надписью, и мало кто знает, что это отдельное издание романа своего рода мистификация: богач Терещенко основал издательство «Сирин», пухлые альманахи которого расходились плохо и штабелями лежали на складе; тогда из трех сборников выдрали напечатанный в них роман Андрея Белого «Петербург», покрыли новой обложкой и пустили в продажу, как отдельное издание, но без названия издательства и лишь со странной надписью: «Издание помещается на книжном складе М. М. Стасюлевича».

Библиофилам не всегда удается добраться до руд в своих поисках. Но все же, вспомнив белую петербургскую ночь и взволнованных Некрасова и Григоровича, пришедших под утро поздравить автора, чтобы сказать ему о рождении в его лице нового таланта в России, и недоверчивого Белинского, который на восторги Некрасова отозвался скептически: «У вас Гоголи-то как грибы растут», а три дня спустя кинулся навстречу двадцатидвухлетнему начинающему писателю, чтобы сказать ему: «Вам правда открыта и возвещена как художнику... цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»,— вспомнив все это, задумаешься и над судьбой первого издания «Бедных людей», и над обложкой с надписью «издание исправленное», хотя никакого отдельного издания не предшествовало, и Белинский, видимо, был введен в заблуждение...

А может быть, и знал кое-что старый книжник Шилов, посоветовав мне обратить внимание на обложку: хитрость издателей и многие неизвестные другим судьбы книг были ему ведомы, он изучил их так же, как дом, в котором жил, под № 18 на Невском проспекте; дом по всему

своему облику петербургский, с ампирным фасадом и глухим двором, похожим на те дворы, которые описывал Достоевский... а за полукруглыми воротами двора зимой и осенью, и ранней весной дымилась Фонтанка.



СТРАНИЧКА ТУРГЕНЕВА

Как-то я получил письмо от человека несомненно доброжелательного, но мне незнакомого. Письмо было из Херсона, а его автор оказался одержимым страстью к книгам, страстью иссушающей, но в то же время и обогащающей. В своем письме он сообщил мне, что побуждаемый библиофильским рвением решил попытать счастья. Не жалея сил и своего небогатого здоровья, он отправился на склад утильсырья порыться в старых бумагах и изорванных книгах, предназначенных для перемола на бумажной фабрике.

Просматривая книги, иные без начала или без конца, истерзанные в библиотеках, он нашел в одном из томов «Русской истории» М. Н. Покровского чужую страничку и решил послать ее мне. «Если надпись на ней подлинная» писал он «мне будет приятно доставить вам радость. Если это ничего не стоит, порвите — и дело с концом».

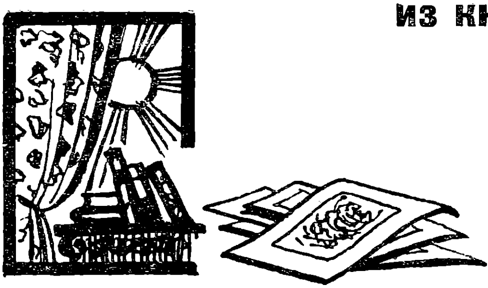
Я расправил сложенную в конверте страничку и уже через несколько минут писал автору письма о той радости, которую он мне доставил. Страничка оказалась титульным листом одного из томов сочинений Тургенева в издании братьев Салаевых, с авторской надписью: «Марии Гавриловне Савиной от И. С. Тургенева. С.П-бург. 29 февр. 1880».

Мы знаем, что Тургенев познакомился с Савиной в 1879 году и влюбился в нее, плененный исполнением роли Верочки в «Месяце в деревне»; впрочем, в нее влюбился и Л. Н. Толстой, признававшийся домашним, что зря смеялся над Тургеневым, влюбившимся на старости лет в «актерку», и за ужином все повторял: «Нет, знаете, это счастье, что я стар. Она прелесть! Вся насквозь умница». Тургенев читал Савиной неизвестные страницы «Стихотворений в прозе», а она дала ему сюжет «Клары Милич».

Находки бывают разные и удивляться их разнообразию не приходится, а книжные находки нередко могут быть уподоблены удаче рыболова, вытащившего на крючок для плотвы огромную рыбину; об этом для поощрения фантазии сообщают иногда и газеты. Но все же как автограф Тургенева попал в Херсон и оказался заложенным в том истории Покровского? Возможно, книга с надписью Тургенева хранилась у какого-нибудь собирателя или досталась по наследству. Немцы захватили Херсон, не все жители успели эвакуироваться, а уж десятитомного собрания сочинений Тургенева не унесешь с собой, и дорогую страницу вырвали, наспех засунули в другую книгу и забыли, владелец погиб, его книги пришли в негодность и их выкинули с другим мусором, чтобы в палатке утильсырья они дождались часа своего уничтожения.

Могло быть так, могло быть и иначе, но неисповедимыми путями любитель книг Владимир Андреевич Быстров все же спас автограф Тургенева, и я еще тогда, когда получил от него эту страничку, решил написать о ней.

Суть разумеется, не только в этой страничке, хотя автографы Тургенева не валяются на улице, а в некоем закономерном бессмертии Слова, и всегда радуешься, когда бессмертие это получает свое подтверждение.



ИЗ КНИГ ЕФРЕМОВА

Имя П. А. Ефремова осталось не только в истории нашей литературы. Оно осталось, и, пожалуй, в не меньшей степени, и в истории книжного собирательства. Я без раздумья приобретаю книгу, на которой есть овальная печать «Петр Александрович Ефремов» или зеленоватый библиотечный ярлык «Из книг П. А. Ефремова». Зряшных книг Ефремов не держал, и зачастую в книгах из его библиотеки можно найти что-нибудь неожиданное.

В тридцатых годах я приехал как-то в Ленинград. Я давно знал и весьма уважал А. С. Молчанова, одного из старейших и корректнейших книжников, отличного знатока книги и приятного человека. В книгах в ту пору я разбирался не очень-то; Андрей Сергеевич был на этот счет хорошим наставником.

Когда оглядываешь свои книжные полки, вспоминаешь и историю приобретения книг. С разных концов стекаются книги к собирателю; а поездив немало по городам и весям, я всегда старался привезти с собой какую-нибудь книжку на память о том или другом городе. Есть у меня книги, привезенные мной из Владивостока и Каунаса, Воронежа и Риги, Ростова-Ярославского и Харькова... Есть книги из Парижа и Праги, из Милана и Лондона, из Осло и Франкфурта-на-Майне: таковы судьбы книг, связанные и с судьбой человека.

— Устройте мне какую-нибудь книжечку,— попросил я Андрея Сергеевича в тот приезд в Ленинград.

Он задумался.

— Да ничего такого нет,— сказал он, как говорят обычно книжники.— Мало что стало попадаться.— Потом он поглядел на меня, как-то внутренне примерился и ска-



ПИСЬМО.

другу жительствующему въ Тобольскѣ.

По долгу званія своего.

Съ дозволенія Управы Благочинія.
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 1790.

Титульный лист книги Радищева, напечатанной им самим

зал вдруг: — Хорошо. Устрою вам одну книжечку. Вы, несомненно, будете вспоминать Молчанова.

Он ушел в соседнюю комнату и принес тоненькую маленькую книжечку, переплетенную в зеленый марокен с золотом, как переплетают лишь любители и лишь какую-либо книжную драгоценность. На переплете золотом было оттиснуто «Письмо к другу». Я повертел в руках книжечку; я ничего о ней не знал и поколебался.

— Возьмите,— сказал Молчанов твердо, даже немного сурово.— Возьмите. Это будет у вас одна из лучших книг.

Так я приобрел редчайшую книгу Радищева, отпечатанную им самим в виде пробы в собственной типографии, почти апокрифическую по редкости,— «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске».

Об этой книге рассказал Н. П. Смирнов-Сокольский в своих «Рассказах о книгах»: ее у него не было и, сколько я знаю, его библиофильское сердце сжималось при мысли, что у него нет этой книги. Смирнов-Сокольский рассказал зато о «Житии Ушакова» Радищева, тоже величайшей редкости, которую он по незнанию не приобрел в свое время, и ему подарил ее впоследствии Демьян Бедный. Могу добавить к этому рассказу, что книжка была у меня первого в руках, и я не купил ее тоже по незнанию. Я не сожалею об этом: у Смирнова-Сокольского ей жилось не хуже, чем жилось бы у меня.

На моем экземпляре «Письма к другу» есть белая наклейка библиотеки для чтения А. Смирдина и ее реестровый номер 6370. Вероятно, в «Росписи» книг А. Ф. Смирдина она и значится под этим номером.

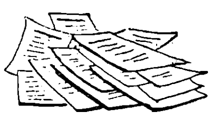
С книгами, как известно, Ефремов обращался весьма своевольно: в одни он вклеивал портреты и иллюстрации, из других вырезал их, и по ефремовским экземплярам никогда нельзя составить точной описи, скажем, русских иллюстрированных изданий: его экземпляры могут привести в отчаяние не одного собирателя, которому будет казаться, что его экземпляр неполный. Но поступал Ефремов с некоторыми книгами безжалостно и по другим поводам.

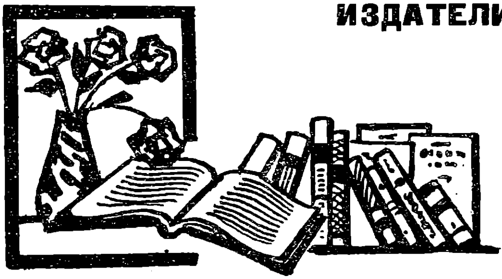
В свое время он переиздал журналы восемнадцатого века «Живописец» и «Трутень». Это было несомненно отличное начинание, но вот в моей библиотеке есть горестный подлинный экземпляр «Живописца»; по этому экземпляру набирали ефремовское переиздание, и на каждой

странице стоит внизу подпись цензора. Правда, книжка благодаря этому приобрела как бы двойную историю, но невольно вспоминаешь при этом щаповский экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, который наборщики разобрали на листки для набора суворинского переиздания в 100 экземплярах. Классическая смерть владельца книги последовала именно в результате этого вандализма; но Ефремов хладнокровно распоряжался книгами, и они в его руках то непомерно распухали, то тощали, то просто служили оригиналом для набора, несмотря на свою редкость.

И. Л. Андроников однажды, посетив меня, с недоумением взял в руки два огромных, неизвестных ему тома сочинений Лермонтова. Это было ефремовское издание, прихоть Ефремова: может быть, два или пять экземпляров, отпечатанных на особой бумаге большого формата, с неизвестным портретом Лермонтова и дарственной надписью издателя собирателю Е. Н. Тевяшеву. В другом случае один из известных крылововедов с таким же интересом и недоумением разглядывал у меня толстый том сочинений Крылова издания 1815 года, куда Ефремов вплел почти неизвестные «Три новые басни», а также оттиски листов с гравюрами и без них, видимо, оставшиеся в процессе работы в типографии.

Таинственная прелесть книг из ефремовской библиотеки, однако, не в этих причудах и особенностях. Его книги всегда хранят след заботы и мысли владельца, книги не были для него просто книгами, они казались ему одухотворенными существами, со своей жизнью и судьбой, и многим из них Ефремов дал вторичную жизнь, переиздав их — самоотверженно, за свой счет, несомненно, всегда в убыток: 10 или даже 100 экземпляров не могли, конечно, оправдать его расходов. Это был чудесный книжник, особенный и неповторимый — Петр Александрович Ефремов.





ИЗДАТЕЛИ-КНИГОЛЮБЫ

На многих книгах и поныне можно встретить особенный экслибрис, изображающий несколько томов, лежащих один на другом; на корешках томов значатся имена Буслаева, Шевырева, Пыпина и Тихонравова, как вехи литературоведческих интересов издателя ряда книг Льва Эдуардовича Бухгейма, а также как знак его преклонения перед этими именами.

Я хорошо помню этого существовавшего всегда в своем особом мире книжника. Он был глуховат и, как все люди, которые плохо слышат, жил отъединенно. Но мир, в котором он жил, действительно был особый, и редко у кого встретишь такую любовь к книге, какая была у Бухгейма. Он, как и Ефремов, собирал и в то же время издавал книги, и такие именно книги, которые не могли оправдать себя и до чрезвычайности трудно расходились; но Бухгейм был одержим страстью к книге, подобно Ефремову: его не только не интересовали доходы, но даже не слишком огорчало, если книга залеживалась и, по существу, мало-помалу разоряла его.

В букинистических магазинах и сейчас можно изредка найти книги, изданные Бухгеймом: «Письма к библиографу С. И. Пономареву», «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель», или «Из записной книжки А. П. Бахрушина». Правда, время идет, и книги эти мало-помалу становятся библиографической редкостью, однако в свое время они прочно лежали на складах, что могло бы у человека, не влюбленного в книгу, отбить всякую охоту выпускать подобные издания. Но Бухгейм был влюблен в книгу, а где любовь, там нет расчета и тем более корысти.

Книги из личной библиотеки Бухгейма хранят особый след, помимо экслибриса, указующего интересы владельца:

Бухгейм, как и Ефремов, вплетал или вклеивал в книги вырезки, относящиеся к тому или другому автору, и таковы в моей библиотеке распухшие книги «Архив села Карабихи» или «Самоучки» И. С. Ремезова с десятками газетных вырезок, любовно вклеенных Бухгеймом и поучительно расширяющих познания, связанные с содержанием книг.

Лев Эдуардович Бухгейм был неутомимым собирателем. След его мысли и интересов можно почувствовать не только в изданных им книгах, но и почти в каждой книге из его литературоведческой библиотеки, широкой, побуждавшей изучать и думать.

Михаил Васильевич Сабашников был издателем другого рода. Если Бухгейм издавал книги любительски, то издательство Сабашникова было все же коммерческим предприятием, но как надо было любить книгу, верить в ее назначение, уважать ее прошлое, чтобы издавать толстые кирпичи серии «Памятники Мировой Литературы»: Лукреция, Лукиана, Саллюстия или трехтомного Еврипида... Нужны были десятилетия, чтобы книги эти разошлись, они лежали многопудово на складах, они двигались так медленно, что любой издатель пришел бы в отчаяние, но Сабашников методически, одну за другой, выпускал эти книги, выпускал на лучшей бумаге, в лучших переводах, и до сих пор книги эти являются украшением наших библиотек, спутниками уже не одного поколения.

Михаила Васильевича Сабашникова, корректнейшего, сдержанного, молчаливого, я знал многие годы, всегда восхищался его издательской деятельностью и уважал ее; во время войны мы жили с Михаилом Васильевичем в одном доме.

— Я всегда дивился книгам, какие вы издавали,— сказал я ему как-то.

— Чему же вы дивились? — вежливо осведомился он.

— Ведь книги ваши так медленно шли и, наверно, доставляли вам немало трудностей.

— Они у вас есть? — спросил Сабашников, имея в виду «Памятники Мировой Литературы».

— Есть, но не все.

— Это жаль,— сказал он.— Когда-нибудь вы почувствуете, зачем я издавал их.

Михаила Васильевича уже нет на свете; книги, изданные им, прочно стоят в моем книжном шкафу, и я дей-



М. В. Сабашников

ствительно чувствую, почему он издавал эту серию, восхищаясь кованой медью Овидиевой речи или лукавым, афористичным Лукрецием, превосходно переведенным на русский язык И. Рачинским.

Годы идут, меняются времена, но книги, изданные Смирдиным, Павленковым, Стасюлевичем, Сабашниковым, живут; пусть многие из них устарели ныне, но для целого поколения серия «Биографическая библиотека» — биографии выдающихся людей,— издававшаяся Павленковым, как и его «Энциклопедический словарь», были своего рода путеводителями. Издания сочинений классиков: Тургенева или Гончарова — добрые памятки издательской деятельности Глазунова, а Марк Аврелий, Калевала или пер-

сидские лирики стали известны широкому читателю благодаря Сабашникову, и мы храним имена просвещенных издателей в нашей истории культуры во главе с первым издателем-просветителем Н. И. Новиковым, без которого не представишь себе движения сатирически-обличительной литературы восемнадцатого столетия...

Недавно из села Авдотьино я получил письмо от неизвестного мне человека, собиравшего все сведения о своем славном земляке — Н. И. Новикове и мечтавшего организовать его музей в Авдотьине. Я порадовался этой доброй памяти, мне казалось, что большое ветвистое дерево выросло из семян, брошенных два века назад Новиковым,— большое дерево нашей культуры, уходящее корнями в историю и осеняющее своей разросшейся кроной молодое поколение.

К книгам, изданным Н. И. Новиковым, у меня тоже особое отношение: когда я вижу его монограмму на титуле, моя рука невольно тянется к этой книге; я знаю, что издатель Новиков не обманет меня, что даже во внешне беззаботной книжке хранится горькое зернышко критики, или осуждения, или сатирической усмешки для посвященных, а затем, впоследствии, и для широкого круга читателей, познающих историю нашей литературы.



ЯРОСЛАВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ

В хлебосольном доме милого и непутевого существа, поэта и драматурга Павла Сергеевича Сухотина, можно было нередко встретить одного молчаливого и всегда вызывавшего к себе глубокое уважение человека: издателя Константина Федоровича Некрасова, племянника поэта; его книгоиздательство в Ярославле было одним из самых

культурных в России и по подбору книг и по тому, как они были изданы, и могло соперничать с любым столичным издательством.

Хлебосольство Сухотина было из скромнейших: возле печки с изразцами, расписанными розанами, стояли на столе старинный графинчик синего стекла, старинные пузатые стопочки, блюдо с горячей картошкой и огурцы или квашеная капуста. Но незатейливая трапеза в первом этаже маленького дома на Собачьей площадке, где некогда существовал музей сороковых годов, а теперь простирается еще не застроенный проспект Калинина,— незатейливая трапеза привлекала, однако, и великих артистов Качалова или Леонидова, и режиссера Малого театра И. С. Платона, и Алексея Толстого, и многих других актеров и писателей, сердечно любивших Сухотина за его верное дружество и незлобивость. Частым гостем бывал и Константин Федорович Некрасов.

С Сухотиным его сближало еще и то, что одна из книг Аполлона Григорьева «Мои литературные и нравственные скитальчества» вышла в издательстве Некрасова с послесловием и примечаниями Сухотина, да и книжка стихотворений самого Сухотина «Полынь» вышла в этом же издательстве. Константину Федоровичу Некрасову принадлежит и честь опубликования остатков некрасовского архива, найденного в подвале дома в селе Карабиха. Книга «Архив села Карабиха» вышла в свет под редакцией и с примечаниями ныне здравствующего Николая Сергеевича Ашукина.

Каталог книгоиздательства К. Ф. Некрасова, выпущенный в 1915 году, поражает и в наше время поистине превосходным подбором книг: «Трагическая история доктора Фауста» Кристофера Марло соседствует с «Заметками Мальте Лауридс Бригге» Райнера Марии Рильке, «Избранные рассказы» Проспера Мериме с «Французскими лириками XVIII века», с Новалисом и Стендалем и двухтомными «Новеллами итальянского Возрождения», а полное собрание стихотворений Аполлона Григорьева — с полным собранием сочинений Каролины Павловой. Кроме того, Некрасов издавал монографии по древнему русскому искусству и примечательный по материалам и сотрудникам журнал «София»; среди ближайших сотрудников издательства были и Александр Блок, и Валерий Брюсов, и Борис Зайцев и П. Муратов...



К. Ф. Некрасов

Побывав два года назад в Ярославле, я тщетно пытался отыскать какие-либо следы издательства, прославившего в свою пору Ярославль как город книжной культуры, но ничего не нашел. Мне оставалось лишь побудить сына Константина Федоровича, Николая Некрасова, недавно окончившего Литературный институт, заняться книгой об издательской деятельности К. Ф. Некрасова, которого по справедливости следует отнести к плеяде русских просвещенных издателей.

Константин Федорович был скромен и малоречив, да и свое дело осуществлял он скромно и незаметно; масштабы определяются, однако, результатами. Полное собрание стихотворений Аполлона Григорьева, вышедшее под редакцией Александра Блока, или полное собрание сочинений Каролины Павловой, вышедшее под редакцией Валерия Брюсова, стоят у меня в ряду самых чтимых мною книг.

Сидя как-то рядом с Некрасовым за столом у Павла Сухотина, я сказал Константину Федоровичу:

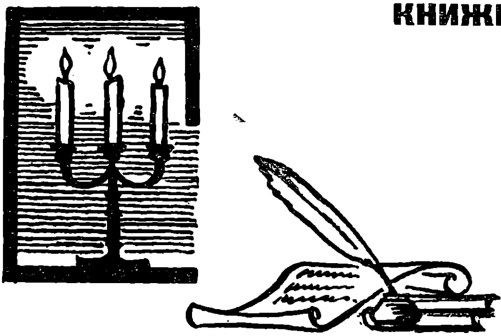
— Мне очень хотелось бы собрать почти все книги, какие вы издали... я еще школьником охотился за некоторыми из них.

— Жаль, поздно узнаю об этом... у меня уже ничего не осталось, да и издательства уже не существует, а что смогли сделать — то сделали.

Некрасов говорил во множественном числе: он считал, что работа его издательства осуществлялась коллективно и относил успех некоторых книг за счет тех, кто помогал ему в работе, редактировал или переводил эти книги.

Несколько дней спустя после встречи с Некрасовым у Сухотина, я неожиданно получил по почте пакет: в нем оказались два томика «Заметок Бригге» Райнера Марии Рильке; дар старого издателя меня тронул, а дальше случилось так, что умер общий наш друг Павел Сухотин, круг его друзей распался, Константина Федоровича Некрасова я как-то потерял из виду и лишь много позднее узнал, что этот замечательный издатель тоже умер. Но книги, изданные им, остались и, побывав в Карабихе, я вспомнил историю найденного в подвале некрасовского дома архива, вспомнил и книгу об этом архиве, выпущенную Константином Федоровичем; а уже совсем недавно, побывав в Вене и выступая в Обществе австрийских писателей, я упомянул в числе тех писателей-австрийцев, которых хорошо знают в России, и Райнера Марию Рильке, и в моем воображении возникли два томика в голубых плотных обложках, с таким изяществом изданные, что и поныне дивишься искусству ярославского издателя.

Книги, выпущенные книгоиздательством К. Ф. Некрасова, все более и более становятся библиографической редкостью, но о чем бо́льшем может мечтать издатель, если, увидев марку его издательства, читатель уверенно потянется к книге, твердо зная, что марка издательства говорит и о качестве книги. Мне кажется, что Константин Федорович Некрасов по своей скромности все же недооценивал то, что он сделал для русской книжной культуры, и давно была у меня потребность так или иначе напомнить о делах и трудах этого ярославского издателя. Маркой издательства была лишь одна строка: «Книгоиздательство К. Ф. Некрасова», и никакие марки, вроде сфинксов или цветка шиповника, не могли затмить собой этой одной строки.



КНИЖКА ИЗ МОНТРЁ

Издательница журнала «Мир божий» Александра Аркадьевна Давыдова нежно любила впечатлительного, тонкого, душевно-глубокого писателя Всеволода Михайловича Гаршина. Отвечал признательностью Давыдовой и Гаршин. В его письмах, опубликованных в третьем томе сочинений писателя, выпущенном издательством «Academia», можно найти не одно задушевное письмо к Давыдовой.

Предметом особой заботы Гаршина был тяжело больной туберкулезом поэт С. Я. Надсон. Время меняет многое, уносит славу или, наоборот, приносит ее. Но ни одни литературные воспоминания, даже самые искренние и достоверные, не могут воспроизвести, например, атмосферу студенческой аудитории, когда выступал кумир молодежи Т. Н. Грановский; не могут они воспроизвести и то, каким кумиром — воспользуемся и ныне этим старым определением — был для молодежи Надсон. Гаршин сам был болен и хорошо понимал, что́ должен испытывать, по существу, осужденный Надсон; слово «чахотка» было в ту пору роковым. Гаршин предпринял не одну попытку помочь Надсону, устраивал его на лето у знакомых, способствовал, чтобы Литературный фонд оказал Надсону необходимую поддержку для поездки в Швейцарию, писал не раз о Надсоне Давыдовой.

Как-то в одном из книжных магазинов я нашел хорошо переплетенную, но сильно пострадавшую от огня книжку: первое издание стихотворений Надсона 1885 года. Переплет был обуглен, и обнажилась переплетная прокладка — какая-то журнальная вырезка на немецком

языке. Собиратель книг, если он настоящий собиратель, не только ставит книгу на полку, он знакомится с ней, изучает ее, так сказать, «необщее выражение» и нередко находит особые, скрытые приметы, которых, может быть, на протяжении десятилетий не заметили те, у кого книжка была в руках.

Просматривая книжку, я увидел обрезанную переплетчиком мелкую надпись чернилами: «На память от А. Да...» — окончание фамилии было отрезано. Но дальше я обнаружил вставки и корректурные поправки, сделанные тем же мельчайшим почерком и несомненно авторской рукой. Сличив их с образчиком почерка Надсона, я уверился, что книжка эта принадлежала Надсону, но не он подарил ее А. Да..., а именно А. Да...., то есть Александра Аркадьевна Давыдова отдала хорошо переплести первую книгу стихотворений Надсона и в этом виде поднесла ее автору. Подарок был тем более значителен по внутреннему своему смыслу, что книгу переплели в Швейцарии именно в ту пору, когда Надсон из Ментоны, где он лечился, перебрался в Швейцарию и в Берне ему сделали тяжелую операцию. Незадолго до этого он писал Гаршину именно из Монтрё: «Зато очень хорошая штука есть в Монтрё. Называется она по-французски «шмен-де-фер-Финюкилер», а по-русски — чертова таратайка. Это вагон, с помощью особой машины взбирающийся по рельсам в 7 минут почти отвесно на высоту 800 ф., в деревеньку Глион». На ярлычке переплетчика, вклеенном в книгу Надсона, значится: H. Dehninger relieur. Montreux. Книга вышла с цензурными купюрами, и Надсон, получив ее в качестве подарка, видимо, первым делом восстановил цензурные пропуски как отдельных слов, так и целых строф.

Так, в известном стихотворении «Милый друг,— я знаю, я глубоко знаю, что бессилен стих мой, бледный и больной...» последняя строфа была выброшена цензурой, и Надсон восстанавливает ее: «Пусть я, как боец, цепей не разбиваю, как пророк — во мглу не проливаю свет: я ушел в толпу, и вместе с ней страдаю, и даю, что в силах — отклик и привет!..»

В другом стихотворении Надсон восстанавливает выброшенную цензурой строку: «И кровь пролитая, и резкий звон цепей», в третьем: «Я стал в ряды поруганной свободы», а к стихотворению «Цветы» приложены два

варианта на место цензурного многоточия. Один вариант известен и воспроизводится в современных изданиях, в том числе в малой серии «Библиотеки поэта»; а другой вариант, гораздо более социально сильный,— видимо, неизвестен. Вот это написанное рукой Надсона четверостишие:

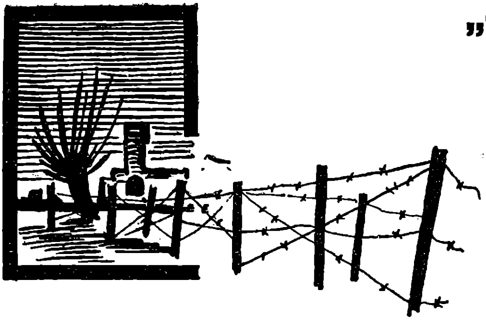
О, если б мог озлобленный бедняк
Сломить стекло в пылу негодованья,
И в комнату ворвался б мертвый мрак
И шум дождя, и вихря завыванья!..—

несомненно оно значительнее строк: «К чему бессилен ты, осенний ветр? К чему не можешь ты сломить стекла своим дыханьем, чтоб в этот пошлый рай внести и смерть, и тьму, и разметать его во прах с негодованьем».

В последующих изданиях стихотворений Надсона большинство цензурных выбросок были восстановлены, но в маленькой книжечке, переплетенной в Монтрё и подаренной Надсону А. Давыдовой, мельчайший почерк больного поэта как бы воспроизводит и его судьбу, и все, что связано с его трагической участью, и скромную историю человеческой дружбы и сочувствия...

Книги нередко заключают в себе помимо текста еще и многое другое: ярлык переплетчика, экслибрис бывшего владельца или затерянная надпись могут развернуться в целую повесть, если книга попадет в надежные руки пытливого собирателя. Так, издание сочинений Державина 1816 года отличается тем, что пятая часть снабжена во всех экземплярах личной подписью автора.





„ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК“

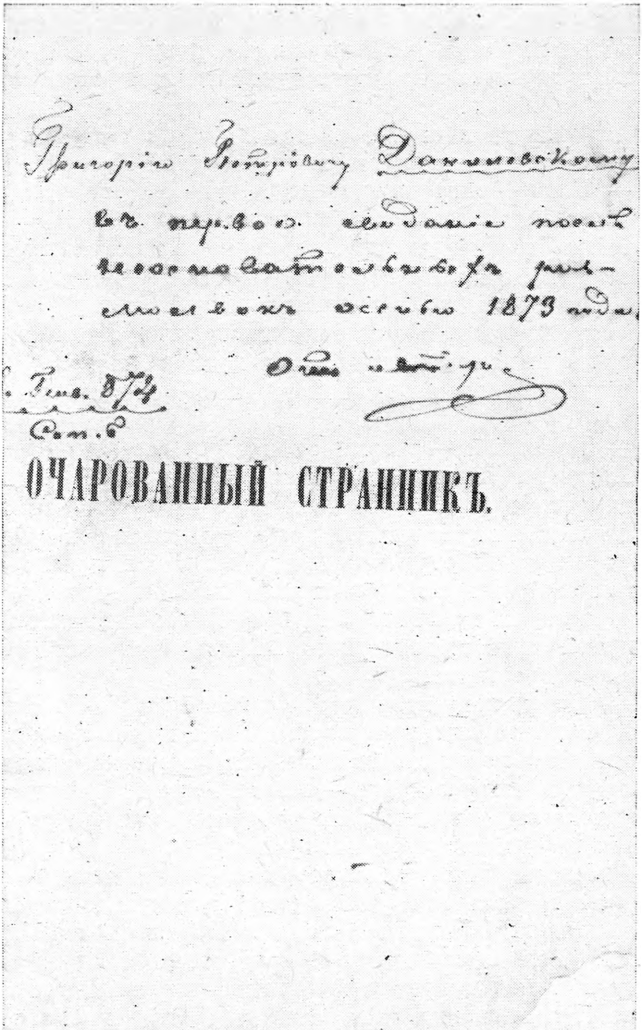
Андрей Николаевич Лесков, сын писателя Лескова, посвятил всю свою жизнь памяти отца. Я знал Андрея Николаевича, он бывал у меня, однотомник сочинений его отца с введением А. Н. Лескова хранится у меня с такой надписью: «...давшему мне за чайным столом проверить удовлетворительность последующих строк». Андрей Николаевич читал у меня отрывок из своей превосходной книги «Жизнь Николая Лескова», вышедшей, к сожалению, уже после его смерти.

Андрей Николаевич собирал «лесковиану». Его «лесковиана» содержала помимо оригиналов еще и поразительную картотеку, куда занесено все о Н. С. Лескове, вплоть до мельчайших подробностей его жизни и литературной деятельности.

Однажды я рассказал Андрею Николаевичу об одной своей поистине удивительной находке. Во время войны редакция фронтовой газеты, в которой я работал, оказалась буквально по следам немцев близ города Александрии на Украине. В Александрии на столбах еще остались расклеенные объявления: «Всем жителям города Александрии и окрестностей. В ходе общей эвакуации подлежит город Александрия и окрестности. Призываем все население в маршевой готовности собраться на дороге в Кировоград в западной части города». Далее следовали часы сбора, сроки отправки трех колонн и подписи ортскоменданта и гебитскомиссара.

Население, однако, не собралось в колонны, немцы же были из города выбиты.

Бродя по его улицам, являвшим полное разорение, я увидел в одном из дворов среди мусора, тлена брошен-


Григорію Петровичу Данилевскому

въ первомъ изданіи послѣ [illegible] [illegible] 1873 года.

Отъ автора.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИКЪ.

Автограф Н. Лескова на титульном листе его книги

ных ненужных вещей груду книг. Книги были смерзшиеся, раскисшие, и к ним было даже невозможно прикоснуться. Я стал расковыривать груду носком сапога, верхняя крышка переплета одной из книг отвалилась, и я прочел название: «Очарованный странник». Я наклонился, оторвал книгу от облепившего ее мусора и увидел вдруг на титульном листе надпись рукой Лескова.

— Как? — спросил меня Андрей Николаевич.— Надпись отца? Покажите мне эту книгу.

Книга, найденная мной на свалке в Александрии, претерпела, конечно, за время пребывания у меня разительные изменения. Ее оборванный полусгнивший переплет был заменен новым, над этим потрудился хороший переплетчик; кроме того, книга отдохнула в книжном шкафу, и Андрей Николаевич с некоторым недоверием взял ее в руки.

— Позвольте,— сказал он минуту спустя,— позвольте... ведь эта надпись проливает свет на одно до сих пор не раскрытое мной обстоятельство.

Он достал записную книжку и переписал в нее надпись.

«Григорию Петровичу Данилевскому в первое свидание после неосновательных размолвок осенью 1873 года от автора. 2. Генв. 874. С. п. б.» — было написано Лесковым на титуле этого первого, 1874 года, издания «Очарованного странника».

— Отец поссорился раз с писателем Г. П. Данилевским, а потом они помирились. Но я никак не мог установить даты примирения, а мне это было нужно для книги, которую я пишу об отце,— сказал Андрей Николаевич.— Истинно глаголю вам: дано печатному слову пребыть не только во времени, но и над временем.

От своего отца, великого знатока русского языка, Андрей Николаевич унаследовал страсть к складному, совершенно особенному слову. Говорил он так образно и так умел находить свои особые слова, что, слушая Андрея Лескова, я представлял себе речь и самого Н. С. Лескова. Надпись писателю Данилевскому на книге была, конечно, занесена на особую карточку в «лесковиану».

«От всего сердца и помышления реку Вам самое горячее благодарение,— писал мне Андрей Николаевич из Ленинграда.— Заведена новая карточка с точною зарисовкой всей надписи и означением — когда, от кого получена копия и где хранится автограф, точнее — у кого он нахо-

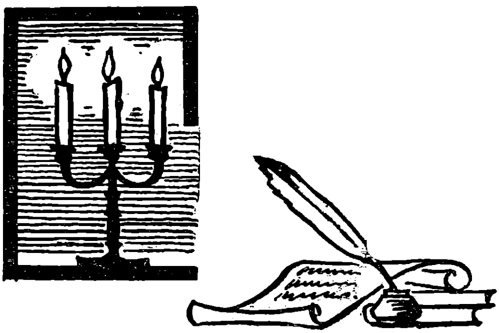
дится. Мне надпись дает ценное разъяснение к оценке некоторых смежных, по времени, записок отца к другим лицам. Большое спасибо».

Но как же все-таки попала книга в Александрию? И я вспоминаю сентенцию книгопродавца из Куйбышева: «Чему вы удивляетесь? Раньше книги ходили пешком или в лучшем случае ездили в почтовой карете. Теперь они летают на самолете».

Книга, найденная в Александрии, действительно прилетела со мной на самолете в Москву, как и книга Дмитриева из Куйбышева.

— Книги не только летают,— уточнил, выслушав мой рассказ о куйбышевском книгопродавце, Андрей Николаевич.— Они еще прорастают в земле... и тогда проходит очарованный странник и спасает их от погибели.

ГЕРЦЕНИАНА



Есть особая горькая прелесть в герценовских заграничных изданиях. Она горька потому, что воочию видишь, каких трудов стоило Герцену издавать эти книги в Лондоне или Женеве в надежде, что все же проберется его слово через границы николаевской России, дойдет до сердца подневольного человека и заставит его биться сильнее... Я не упускаю ни одного случая пополнить эту герценовскую плеяду книг и сожалею не о том, что она никогда у меня не будет полной, а о том, что тысячи и тысячи этих выпущенных с таким трудом книг были уничтожены в царской России.

После смерти жены, Натальи Александровны, А. И. Герцен смятенно думал о судьбе и воспитании своих

маленьких детей. Он уехал из Ниццы, жил с ними в Лондоне, и здесь в 1853 году одна из почитательниц Герцена — немецкая писательница Мальвида Мейзенбуг — вошла в его дом и занялась воспитанием детей. Обо всем этом широко известно из «Былого и дум», но есть одна страничка отношений Герцена к Мальвиде Мейзенбуг, сохранившаяся в виде его надписи на второй книжке «Полярной звезды» за 1856 год:

«Мальвиде Мейзенбуг для изучения Русского языка. 24. Лондон».

В книжку вплетен и словарик русских слов, написанный рукой Мейзенбуг. Стоит привести список слов, присущих стилю Герцена, особенности языка которого Мейзенбуг, видимо, стремилась изучить: «хлаповень», «булыжник», «посудинки», «востро», «пойду-ка и я тяпну чарочку: вернее будет — скорей согреешься», «шмыгнуть», «обглодок», «шкальчик», «становой», «серчать»...

На другой книжке «Полярной звезды» за 1862 год есть сделанная детской рукой надпись ее владельца: Lise Herzen.

Как известно, судьба дочери Герцена и Тучковой — Лизы была трагическая: семнадцати лет от роду Лиза покончила самоубийством. Но то, что одна из книг «Полярной звезды» принадлежала лично ей, и Лиза, судя по надписи, дорожила ею, напоминает об этой одаренной, не по годам созревшей, со своим сложным внутренним миром девочке.

Авторские надписи зачастую ничего не содержат, кроме вежливого внимания; иногда, однако, они хранят и глубокие приметы отношений. Егор Иванович был старшим братом Герцена. Об отношениях между братьями подробно рассказано в «Былом и думах». Но, может быть, точнее всего отражает эти отношения надпись, сделанная Герценом на оттиске «Кто виноват?» из № 12 «Отечественных записок» за 1845 год: «Егору Ивановичу — Герцен», вот и вся надпись — лаконичная, холодноватая, не выражающая истинных душевных чувств автора.

Герцена всегда окружало множество людей. Одни боготворили его, другие ненавидели, возводили на него поклепы, лгали и клеветали на него по тем или иным причинам, главным образом из-за уязвленного самолюбия. Такова, например, книга В. Кельсиева «Пережитое и передуманное», в которой автор, почти всем обязанный Герцену, не

затруднился недобро и уничижительно написать о нем. Эти книжки, связанные с Герценом, я тоже стараюсь подбирать; одна из них, побывавшая у меня в руках, но, к сожалению, не удержанная мной, и до сих пор тревожит меня воспоминанием о ней.

На желтой обложке брошюрки, напечатанной особым высоким шрифтом, значилось ее название: «Плач гения»; под названием изображен был упавший разбившийся колокол. Анонимная эта брошюрка была напечатана в Берлине в 1862 году несомненно при участии 3-го Отделения и содержала мифическую покаянную речь Герцена, обращенную к русскому народу:

«Умираю, добрые соотечественники, достойный народ русский, и к вам с мольбой о прощении обращаю предсмертные слова мои. Простите меня, что перед смертью дерзнул назвать вас соотечественниками — я не достоин именовать себя соотечественником вашим — я беглец с родины, я покинул ее, безумно увлеченный своим самолюбием и тщеславием...» — и так далее в том же гнусном, тупоумном роде.

Не знаю, сколько экземпляров этой редчайшей брошюрки сохранилось, но собиратель книг с удивительным постоянством и неслабеющей памятью хранит в своем сознании все ошибки и промахи, и не по библиофильской жадности, а потому, что любая ошибка — укор его знаниям и опыту, а собирательство книг своего рода мастерство, и дефекты всегда укор мастеру. Я не преувеличу, сказав, что истинный знаток книги может, не взглянув на титул, только по формату или по корешку книги определить примерное время, когда она была напечатана, и если ошибется, то не больше, чем на одно-два десятилетия. Я часто думаю о том, как хорошо было бы открыть в Москве музей русской свободной печати — памятник немеркнущему слову Герцена, историческую звонницу для его «Колокола», вечное эхо его «Голосов из России».





ОТЕЦ И СЫН

Тоненькая книжечка в желтой обложке с наборной рамочкой ничего не сказала мне, кроме того, что это стихотворения неведомого мне автора Льва Ибрагимова и что издана она в 1841 году в Казани.

Меня всегда привлекают книги забытых авторов: с каждой из них связаны судьба и мечты, обычно несбывшиеся; мы знаем, однако, как часто многое бывает переоценено в литературе и как многое остается недооцененным. Когда встречается книга позабытого автора, думаешь и об этом.

В «Источнике словаря русских писателей» С. Венгерова кратко значится имя Ибрагимова, но мне все же захотелось узнать о нем подробнее, тем более, что на книжке была дарственная надпись: «Почтенному и доброму моему Профессору и Наставнику Григорию Степановичу Суровцеву с глубочайшим почтением и преданностью от Автора». Особых розысков на этот счет я не производил, но на ловца и зверь бежит, а в книжном деле это случается и без всякой облавы.

В одном из книжных магазинов я нашел мало кого интересовавшую книжку «Литературный сборник к 100-летию Императорского Казанского университета», отлично переплетенную известным собирателем Л. Э. Бухгеймом, с его экслибрисом. Я купил эту книжку, пожалуй, больше из уважения к собирательским трудам Бухгейма. Но дома, просмотрев ее, я узнал, что С. Т. Аксаков в своих «Воспоминаниях» посвящает добрые строки памяти преподавателя Николая Мисаиловича Ибрагимова, составившего грамматику славянского языка. Из этой книжки я узнал еще и многое другое.

В тридцатых годах прошлого века в Казани издавался редчайший ныне журнал «Заволжский Муравей»; в этом журнале печатал свои стихи сибиряк Ибрагимов, волей судьбы оторванный от родного края. «Не вижу я твоих степей; лишь только вспомнится былое — и льются слезы из очей... Сибирь, ужели не увижу твоих я гор, твоих снегов, ужель свист бури не услышу в ущельях Ленских берегов»?..— писал он в одном из своих стихотворений.

А дальше в хронике университета говорится о том, что в день, когда отмечалось столетие рождения Державина, Лев Николаевич Ибрагимов прочитал одно из своих лучших стихотворений «Памяти великого Державина». Лев Николаевич был сыном поэта Николая Мисаиловича, которого вспоминает Аксаков, и автором одного из популярнейших в свое время романса, положенного на музыку композитором Бахметевым: «Ты душа ль моя, красна девица». Я вернулся к купленной мной книжке стихотворений Льва Ибрагимова, прочитал с особым чувством его прелестное стихотворение: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда моя ненаглядная! Ты услышь меня, полюби меня, полюби меня, радость дней моих!», прочитал и его «Русские песни», и «Вакхальную песню», и романс: «Люби меня! Покуда младость живит огонь в твоей крови; пока душе понятна сладость восторгов пламенной любви! Люби меня, люби меня!..» и открыл для себя отличного, забытого поэта, в русле кольцовской поэзии (первая книжечка стихотворений Кольцова вышла в 1835 году), но все же по-своему особого...

В 1952 году мы печально хоронили милого и умного человека — Абрама Борисовича Дермана. Дерман много сделал для русской литературы, писал и о Толстом, и о Чехове, был сам столь крохотным, что носил обувь из «Детского мира», но с такой большой и необыкновенно человечной душой, что его никогда не забудешь. С Дерманом многие дружили, дружил с ним и Иван Никанорович Розанов, знаток русской поэзии и составитель большого тома «Песни русских поэтов», вышедшего в «Библиотеке поэта». Как это нередко случается, после смерти того или другого писателя книги из его собрания рассеиваются по свету и находят приют у других собирателей.

Нашла у меня приют и книга Розанова с дарственной надписью Дерману: «Эта книга моя — не совсем «антоло-

гия», здесь не только цветы, но немало и трав. За нестрогий отбор побранят меня многие, но меня заняла — увлекла стихология и в конечном итоге, я знаю, я прав».

Как-то, идя в гости к Ивану Никаноровичу, я захватил с собой эту книгу. Розанов необыкновенно обрадовался: он почти выхватил ее из моих рук, присел к столу и своим дрожащим, старческим почерком сделал на соседней странице надпись: ...«мне очень приятно, что моя книга, бывшая раньше в руках Дермана, которого я любил и уважал и как писателя, и как человека безукоризненного в моральном отношении, находится сейчас у человека, которого я знаю еще дольше, чем знал Дермана...» и далее Розанов добавил несколько теплых слов, отметив и мою страсть к «собиранию редких и ценных книг».

Судьба Ибрагимова заставила меня обратиться к этому ценнейшему справочнику по русской поэзии XVIII и первой половины XIX веков, и конечно, я нашел в нем и Ибрагимова, не только сына — Льва Николаевича, но и отца — Николая Мисаиловича, автора тоже прославленных русских песен «Во поле березонька стояла» и «Вечерком красна девица на прудок за стадом шла; черноброва, белолица так гуськов домой гнала... Не ищи меня богатый: ты не мил моей душе. Что мне, что твои палаты, с милым рай и в шалаше!»

Не только эта песня, но и присловица «с милым рай и в шалаше», вошли в обиход русской речи, но кто помнит ныне имя Ибрагимова-отца. Впрочем, кто помнит имя и Ибрагимова-сына? В сборнике к 100-летию Казанского университета сказано: «Мы останавливаемся на Ибрагимовых — отце и сыне, представляющих симпатичный пример ассимиляции татар в русских людей, любящих русскую литературу и посильно работающих для ее развития».

Дело, конечно, не в «ассимиляции» татар в русских, что было любезно правящим кругам в России, подавлявшим всякое проявление национального чувства, а в том, что отец и сын Ибрагимовы — оба хорошие поэты и вспомнить о них следует.

В своих примечаниях И. Н. Розанов сообщает, что Н. М. Ибрагимов (1778—1818) был адъюнкт-профессором Казанского университета и умер сорока лет от роду от чахотки; а его сын Л. Н. Ибрагимов был учителем сначала

в Казанской гимназии, потом в Тагиле; даты его рождения и смерти отсутствуют.

Розанов был прав, собирая не только «цветы», но и «травы»: иные травы долговечнее цветов, иногда быстро вянущих, и мне захотелось заложить книжку стихотворений Льва Ибрагимова несколькими травинками и в память о нем самом, и в память об его отце.

ПОТАЕННЫЕ КНИГИ



В пору моего детства один из студентов-сибиряков, который скрывался у нас на квартире после революции 1905 года, оставил отцу на сохранение большую пачку книг. Отец спрятал эти книги в два книжных ящика большого книжного шкафа с матовыми стеклами и запер ящики на ключ. Я знал, где хранился ключ, и наедине не раз рассматривал эти книги.

Я вижу их перед собой и поныне. Это были тоненькие брошюрки, большинство в глухих обложках из синей плотной бумаги, а некоторые в обложках с напечатанными на них названиями, не имевшими ничего общего с содержанием брошюрок. Я помню мелкий плотный шрифт этих брошюрок, петит или даже нонпарель, чтобы как можно больше втиснуть текста; это были подпольные издания, таинственные, волновавшие мое воображение книжки, из-за которых, может быть, в декабре 1905 года не горело электричество, не ходили конки, не гремели колесами пролетки, и воздух вздрагивал от ударов, называвшихся стрельбой пачками.

Я помню эти книги, я был влюблен в них: несомненно среди них были и книжечки, автором которых значился В. Ильин или К. Тулин... И, может быть,— теперь мне

кажется, что я это точно помню — была среди этих брошюрок и тоненькая, отпечатанная на глазурованной бумаге брошюрка «Что такое «друзья народа» и как они воюют против с.-д.» — редчайшая книжка В. И. Ленина, которой, кажется, нет ни в одном хранилище.

После смерти отца эта единственная в своем роде коллекция подпольных изданий, включавшая и книжечки, отпечатанные на гектографе, еще долго хранилась в ящиках книжного шкафа, а потом она исчезла то ли при переезде, то ли ее отдали кому-то, то ли из опасения сожгли... Но я помню эти брошюрки в немых синих обложках из плотной бумаги, глухих на вид, внутри же у них было пламя, и подросток, тревожимый воображением, трепетал, листая еще непонятные тогда страницы.

Была ли действительно среди этих брошюрок книжка Ленина «Что такое «друзья народа»? Мне иногда представляется, что я видел ее; впрочем, сделаем поправку на время и на то, что иногда воображаешь желаемое. Но книжка могла быть в этом редчайшем собрании, привезенном из Швейцарии, и первому познанию книг, нередко с легендарной судьбой, я обязан именно этим брошюркам, иногда в маскарадной одежде невинного пособия по столярному или переплетному делу.

Эта коллекция осталась в моей памяти связанной с самыми возвышенными представлениями о книге, которой дана сила взрывать мир, строить баррикады на московских улицах, создавать легендарные имена, вроде Баумана или железнодорожного машиниста Ухтомского, и я всю жизнь сожалею, что коллекция этих книг исчезла, может быть, была даже уничтожена.

В сущности, именно с этой поры и началось мое увлечение книгой, выдержавшее уже не одно десятилетие, менявшееся в своих направлениях, но никогда не проходившее совсем. Много книг побывало у меня и ушло в дальнейший путь; менялись возраст и вкусы собирателя, менялись и книги, которые увлекали его. Многие из них мне жаль, и все же больше всего жаль редчайшую коллекцию заграничных и подпольных изданий, открывших на ранней заре моей жизни новый мир для меня.

Несколько лет назад я получил по почте толстый пакет из Свердловска: сестра покойного писателя А. Н. Ти-

хонова-Сереброва, соратника М. Горького и автора прекрасных воспоминаний «Время и люди», прислала мне ряд бумаг Тихонова и писем к нему, с тем чтобы я передал это в одно из хранилищ. Я стал просматривать письма, и одно из них словно обожгло меня: подлинник письма В. И. Ленина Л. Б. Красину по поводу непорядков с распределением бумаги для печатания книг. А. Н. Тихонов в свое время заведовал издательством «Всемирная литература» и хранил письмо Ленина, касавшееся дел этого издательства, как дорогую реликвию.

Я передал письмо Ленина в Институт марксизма-ленинизма, но пока оно лежало на моем столе, я мысленно перенесся к тем далеким годам, когда подпольные брошюрки приподняли передо мной завесу другой, совсем незнакомой, но полной борьбы и мужества жизни; были среди этих брошюрок, несомненно, не одна из книжек Ленина, но я не знал тогда этого имени, я еще ничего не знал тогда...

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА



Декабрист Николай Васильевич Басаргин был женат третьим браком на Ольге Ивановне Медведевой, урожденной Менделеевой, сестре великого русского химика Д. И. Менделеева. Имя Басаргина глубоко почиталось в семье Менделеевых, а дочь Д. И. Менделеева Любовь Дмитриевна, жена поэта Александра Блока, выбрала себе сценическую фамилию — Басаргина.

«Записки Николая Васильевича Басаргина», скорбная и правдивая повесть декабриста о событиях своей жизни, была впервые напечатана издателем «Русского архива»



Переплет книги Н. В. Басаргина с надписью П. И. Менделеева

Петром Бартеневым в 1872 году в первом выпуске сборника «Девятнадцатый век». Перед этим в «Русском архиве» в 1869 году Бартенев напечатал «Воспоминания Басаргина об учебном заведении для колонновожатых и об учредителе его генерал-майоре Николае Николаевиче Муравьеве».

Воспоминания Басаргина весьма известны. Их издал в дополненном виде П. Е. Щеголев в 1917 году в «Библиотеке мемуаров» издательства «Огни».

Разбираясь как-то в совершеннейшей завали, выброшенной одним из книжных магазинов на уличный прилавок, под знойное солнце июльского дня, я обратил внимание на истерзанную книжонку, видимо, журнальный оттиск, заключенный в такой же истерзанный мягкий переплет, на крышке которого в овальной кружевной рамке была наклеена этикетка с надписью от руки: «Записки Николая Васильевича Басаргина. Собственность П. И. Менделеева».

Изучив дома эту покупку, я убедился, что оттиск имеет особенности, неразгаданные мной и поныне. Оттиск этот тюремного происхождения. На полях текста чьей-то рукой,— возможно, Петра Бартенева — аккуратно восстановлены все пропуски, о которых Щеголев в отдель-

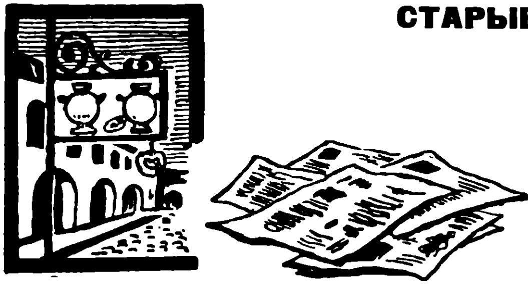
ном издании книги писал: «Записки» увидели свет со значительными сокращениями, допущенными их редактором по соображениям преимущественно цензурным».

Но если даже предположить, что цензурные пропуски восстанавливал в оттиске сам Бартенев, то как объяснить, что многие из этих поправок густо залиты коричневой краской, как это делала в царское время тюремная цензура, когда в письмах из тюрьмы было что-либо нежелательное начальству?

Я взял экземпляр «Записок», выпущенных Щеголевым и воспроизведенных по рукописи, сохранившейся в роду Менделеевых. Многие карандашные поправки в моем оттиске вошли в это издание, а многие стилистические и даже фактические, касающиеся уточнения дат или инициалов, не вошли, и, таким образом, оказалось немало разночтений.

П. И. Менделеев, который написал на переплете, что это его собственность, был родным братом жены Басаргина, а рукопись записок, как свидетельствует П. Е. Щеголев, была ему предоставлена И. П. Менделеевым, то есть сыном владельца. Оттиск этот, хотя и пострадал от времени, хранит зримые следы того, что был своего рода реликвией в роду Менделеевых; он побывал в тюрьме, частично залит краской тюремной цензуры, но мелкие буковки поправок как бы попирают мстительную злобу тюремщиков, они торжествуют над ней.

Книжка, столь тесно связанная с именем декабриста Н. В. Басаргина и со славным родом Менделеевых, не может не волновать, она походит на сгусток истории, и я вспоминаю тот знойный июльский день, когда на уличном развале нашел эту историческую памятку. Восстановленная переплетчиком, она полноправно стоит теперь рядом с «Собранием стихотворений декабристов» и «Записками С. Г. Волконского»; но это просто книги, а судьба оттиска вряд ли будет когда-нибудь разгадана, если этому не поможет какой-либо случай.



СТАРЫЕ КНИЖНИКИ

П. П. Шибанов

Нет, наверно, ни одного собирателя книг, который не знал бы имени Шибанова. Свыше полувека работал он с книгой, и историю русского книжного дела нельзя представить себе, не вспомнив Павла Петровича Шибанова.

Я познакомился с ним, когда он был уже на закате. Искушенный в книжном деле, познавший книгу на протяжении свыше полувекового общения с ней, он знал о ней все, как знают, скажем, врачи человеческий организм. Свыше полувека занимался он наукой, которая кажется непосвященным чрезвычайно скучной и ограниченной,— библиографией. Библиография — это, помимо прямого ее назначения, наука о судьбе книги. Судьбы книг бывают всякие: трагические, кончавшиеся сожжением или гильотиной — резальным ножом; великолепные по блеску и признанию; горькие по непризнанности; потаенные по редкости и ненаходимости; обидные, когда нераспроданные издания сбывались на вес, или с преувеличенной карьерой, с раздутым успехом, после которого наступали небытие и забвение.

Страсть к описанию книги, к изучению ее судьбы была у Шибанова исключительной. Его «дезидераты», его каталоги за годы работы в «Международной книге», наконец, его оригинальные работы и исследования по книжному делу — это поистине путеводители по лабиринтам русской книги, начиная от палеографического изучения рукописей, первопечатных псалтырей и евангелий, изданных в Кракове или Венеции, и кончая редкими брошюрами начала двадцатого столетия.

Как все книжники, Шибанов был хитер и к чужой любознательности подозрителен. За полувековую свою работу с книгой он узнал и страстотерпцев библиофилов, и высокопоставленных собирателей, вплоть до великих князей, и заслуживающих почтительного уважения просветителей и знатоков, вроде Ефремова или Барсукова, и нуворишей, отдающих дань очередной моде, будь это мода на первые издания классиков, на путешествия или масонские книги. Своим несколько гнусавым, чаще всего скучающим голосом Шибанов редко кого приваживал; приваживал он только тех, в ком жила такая же, как и в нем, страсть к книге. В этом смысле он был достоин высокого уважения.

Я помню, как покойному московскому собирателю И. С. Остроухову я рассказал как-то, что у Шибанова есть в продаже все восемь глав «Евгения Онегина» в обложках и даже неразрезанные. На другой день московский извозчик привез из Трубниковского переулка на Кузнецкий мост длинную, сутулую, знакомую всей старой Москве фигуру Остроухова. Они встретились с Шибановым, как два коршуна над безгласно простертой перед ними добычей — редчайшим по сохранности первым изданием «Онегина». («Чудный, живой экземпляр»,— как образно определил впоследствии грустным, гнусавым голосом Шибанов.)

— Прослышал я,— сказал Остроухов небрежно, как бы говоря о мелочишке,— что есть у вас «Онегин» в главах... мой экземпляр куда-то завалился.

Шибанов только скучающе втянул ноздрями воздух.

— Да есть-то есть,— сказал он неохотно,— только вам, Илья Семенович, такой экземпляр не годится... Вот, может быть, будет у меня экземпляр в марокенчике эпохи,— хитрил и уклонялся Шибанов.

— Ну, это, батюшка, когда еще будет! — сказал Остроухов резко.— Вы мне этот покажите.

Боже мой, как медлил Шибанов, как не хотел выпустить книгу из рук — не потому, что не желал продать Остроухову, но по благородной жадности книголюба: держать редкость в руках, любоваться наедине, дуть на странички, перелистывая их, а главное — описать в каталоге экземпляр, описать так, чтобы потомки вспоминали, какой экземпляр «Онегина» был в шибановских руках... А описывать он умел — он был книжной сиреной. Слюнки

текли у собирателей, когда они читали шибановские аннотации и постскриптумы. «Экземпляр в роскошном светло-зеленом сафьяне с английским обрезом (золотая головка)»,— мурлыкал он. «С суперэкслибрисом владельца,— приперчивал он,— с атласными форзацами». Или еще последнюю приправу: «Одно из прелестных иллюстрированных изданий начала XIX столетия». «Подносной экземпляр от автора»,— живописал он в другом случае. «Экземпляр исключительной сохранности, необрезанный, с сохранением печатных обложек». Иногда, щеголяя точностью, он добавлял: «Экземпляр хорошей сохранности, только лишь на нижнем поле первых трех листов два незначительных желтых пятнышка, произошедших от времени, свойства бумаги и типографской краски».

Со вздохом он достал экземпляр «Онегина», и цепкие костлявые руки безнадежно ухватили добычу: Остроухов бил с лёту, как кобчик. Но тут случилось непредвиденное: нужной суммы у Остроухова с собой не оказалось.

— Да я оставлю за вами,— сказал Шибанов облегченно.

Остроухов мрачно рылся в стороне в своем большом кошельке. Шибанов сохранял невозмутимый вид, дожидаясь только, когда он снова сможет запрятать «Онегина».

— Сто рублей я вам завтра завезу,— сказал Остроухов с усилием.

Он спрятал книжки в карман, и извозчик, дожидавшийся у дверей магазина, повез обратно в Трубниковский переулок согнутую, костистую фигуру Остроухова. Шибанову сразу стало скучно, день для него померк.

— Ну куда же вы ставите книжку! — сказал он кому-то несвойственным ему высоким и раздраженным голосом.

В последние годы Шибанов в трудную минуту расставался иногда с отдельными книжками из личной своей библиотеки. Но он мог расстаться с чем угодно, только не с книгами по библиографии: без них его жизнь стала бы бесцельной. Долгие вечера, справляясь, выписывая на бумажку, сравнивая, изучая, составлял он свои описания, любовно выискивая редкости, особенно если дело касалось любезных ему старопечатных книг, служебников или каких-нибудь номоканонов или октоихов. Но книга жила для него не сама по себе, она была связана для него с русской культурой. Он восхищался памятниками старины, подобно Михаилу Погодину или Забелину, и был влюблен

именно в славянские вязи рукописей, в определение давности по водяным знакам на бумаге, в пятнадцатый и шестнадцатый века, когда рождалась книга, в колыбельную пору книгопечатания. Перед хорошей книгой Шибанов благоговел и даже мечтательно затихал.

Я помню, как держал он в руке томик «Анакреонтических песен» Державина с авторскими поправками и стихотворным посвящением жене.

— Жемчужина,— сказал он почти шепотом.— Берегите ее,— как мог бы сказать, выдавая дочь замуж, отец.

Он не позволил мне поставить книжку на полку, а сам поставил ее, почти чувственно ощупав напоследок ее кожаный переплет. Смотря, как руки Шибанова обращаются с книгами, я думал не раз, что даже с завязанными глазами, на ощупь, он определил бы эпоху, когда книга была напечатана и, пожалуй, приблизительный характер ее содержания. Книгу Шибанов прощупал. Если огрубить образ этого семидесятилетнего книжника, его можно было бы просто отнести к ряду тех старых букинистов, которые занимались в свою пору книжной торговлей. По отношению к Шибанову это было бы так же несправедливо, как, например, к прославленному роду книжников Клочковых. Все это были книжники-рачители, каждый из них по-своему воспел книгу, каждый из них по-своему ее прославил. Для истории русской культуры люди эти, которые учились на медные пятаки, не исчезли бесследно. Их стараниями составлялись классические библиотеки Погодина, Черткова или Ефремова. Их помощь расширила мир познания литературоведов и историков. Шибанов умел, кроме того, и держать перо в руке. Он написал не одно сочинение о книге, и им же прекрасно написана первая часть воспоминаний, которые — доведи он их до наших дней — достойно могли бы значиться в мемуарной литературе.

— Тороплюсь, тороплюсь,— сказал он, свистя бронхами, ероша коротенький ежик волос,— но нет, уже не успею... для этого нужны еще годик-другой.— И тут же, иронически поглядев на меня, добавил: — В общем экземпляр дефектный, отдельных страниц не хватает... только в макулатуру.

К счастью, безнадежная эта эпитафия не оправдалась: обширнейшее собрание книг Шибанова со всеми его исследованиями целиком вошло в фонд библиотеки имени В. И. Ленина.

Д. С. Айзенштат

Давид Самойлович Айзенштат был составной частью старой Москвы. Если представить себе московскую улицу того времени — будь то Большая Никитская или Моховая с рядами букинистических лавок, или Леонтьевский переулок с таинственными закутами антикваров,— то видишь на этой улице слабую, столь немощную, что кажется, ее может снести ветром, фигуру Айзенштата.

Чуть бочком, подчиняясь остатку бокового зрения в глазах под толстыми стеклами очков, с палочкой, украшенной костяным набалдашником, с набитым портфелем куда-то торопится, беспомощно переходит широкую улицу Айзенштат. Смотреть на него со стороны всегда было страшно: так плохо он видел, таким казался неприспособленным к растущему движению огромного города. Но влекли его через шумные улицы не только дела и даже не столько дела, сколько потребность увидеть близких ему по склонности и любви к книге людей, подышать воздухом книги, посоветовать любителю или, наоборот, разочаровать его.

Книгу Давид Самойлович любил той чистой, лишенной всякого эстетизма любовью, какая приобретается в результате точного знания внутренней ценности той или другой книги. С этой точки зрения Айзенштат был к книге, можно сказать, безжалостен. Он развенчивал снобистские оценки и определение ценности из-за редкости книги.

Он расценивал книгу только по ее достоинствам. К книге, ценной по своему содержанию, особенно книге иллюстрированной, Айзенштат относился с особым чувством. Вот, приблизив книгу вплотную к левому глазу, склонив голову, чтобы боковым зрением прочесть заглавие, уподоблялся он ювелиру, который держит в руке драгоценный камень, или садоводу, который любуется на выращенный им цветок. Почти водя по страницам носом, дуя на них, чтобы перевернуть, не касаясь пальцами, он испытывал, казалось, наивысшую радость. Но часто, однако, он равнодушно откладывал книгу, не прельщаясь ни аннотациями испытанных библиофилов, ни медоточивыми их описаниями. Для него книга должна была прежде всего служить обществу. Он определял ценность книги не по спра-



М. И. Шишков и Д. С. Айзенштат в Книжной лавке писателей

вочникам, а по собственному пониманию, и надо сказать, что он почти никогда не ошибался в оценках; пристрастия его были широки, будь то Радищев (через его руки прошел экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву») или Лафонтен с рисунками Фрагонара... Особенно волновали его книги, подвергшиеся цензурным гонениям или попросту уничтоженные в прошлом.

Но, много зная, Айзенштат никогда не был самонадеян и зачастую, не доверяя себе, искал дополнительной оценки знатока. Он любил книжные находки, запах старинной бумаги, переплеты восемнадцатого века: здесь Айзенштат расцветал. Мне приходилось не раз присутствовать вместе с ним при разборе, когда при нас развязывались пачки старых купленных книг, и, ничего не покупая, ничего не собирая, ничем не прельщаясь лично, Айзенштат расцветал от возможности первичного общения с книгой, еще не занявшей места на полке Книжной лавки писателей, забывал часы обеда, и, право, можно сказать, что в такие дни бывал он счастлив.

Единственно, о чем он никогда не забывал,— это о знакомых ему собирателях книг. Сколько раз откладывал он для кого-нибудь ту или иную книжку, рекомендовал приобрести, указывал, где он видел такую-то книжку, и радовался, что книга попадет именно тому, у кого она должна находиться. Он не выносил эклектических библиотек, собранных не при помощи рвения или самоотречения, а при помощи денег, и равнодушно отворачивался от превосходных экземпляров, считая, что они стоят не там и не у того, у кого должны быть.

Кто из московских книжников, встречая Айзенштата, не радовался встрече с ним! Для него всюду находилось почетное место, с ним советовались, ему показывали находки и редкости. У него была превосходная память и острый ум; он хорошо владел пером и написал не одну статью о книгах. Давно пережив все стадии коллекционерства, он был неравнодушен, пожалуй, только к книжным курьезам и к тому, что так или иначе связано с историей книги.

На протяжении ряда лет он был основным, цементирующим началом для московских книжников. Кружок любителей книги, книжные аукционы, секция книговедения при Клубе московских писателей, книжные базары, частные встречи книжников — Айзенштат обладал удивительным свойством слеплять эти книжные гнезда, и его всегда можно было видеть, выражаясь образно, то с перышком, то с веточкой в клювике, всегда что-то задумавшего связанное с книгой, всегда куда-то спешащего, превосходного собеседника, особенно если беседа застольная, с неизменной трубочкой, глубоко чувствующего книгу как одно из замечательных созданий человеческого гения, собирателя всех изречений и мыслей о книге, где бы и когда бы они ни были высказаны.

Времена идут, растут или тают библиотеки отдельных собирателей, меняется облик московских улиц, кочуют книги с экслибрисами бывших владельцев. Но для тех, кто любит книгу и предан ей, образ Д. С. Айзенштата не уходит в прошлое. Не одна книга, стоящая на моей книжной полке, связана с памятью о добрых советах Айзенштата, а это уже составная часть биографии книги, и хорошо, что книги неизменно связаны с памятью о тех, кто помогал собирать их... с памятью о людях, преданных книге и бескорыстно любивших ее.

Собиратель Розанов

В стене рабочей комнаты Ивана Никаноровича Розанова был вырезан широкий прямоугольник. Он был обращен в сторону смежной комнаты, где помещалось редчайшее, вероятно, единственное в Москве собрание книг по поэзии.

Самую высшую радость Иван Никанорович испытывал, несомненно, тогда, когда зажигали свет и эффект сверкающих книг восемнадцатого и девятнадцатого столетий поражал посетителя. Сам он часами сидел на низеньком диване под этим прямоугольником, любуясь трудом своей жизни, воплощенным в собрании книг, влюбленный в поэтическое слово с таким детским простодушием, что это трогало даже тех, кто не очень интересовался поэзией.

На протяжении десятилетий создавал Розанов свою замечательную библиотеку. Для него не было на необъятном поэтическом поле лишь изысканных цветов, он собирал и скромнейшие полевые цветы, и чем скромнее и незаметнее был цветок, тем бережливее укладывал его Розанов в свой гербарий. В этом была не только любовь к книге, но и сочувствие к личности безвестного сочинителя с его зачастую нелегкой судьбой.

Любя книги, Иван Никанорович испытывал большую любовь и к их собирателям: он хорошо знал, что собирательство связано со многими годами поисков, удач, ошибок и разочарований и что оно требует одержимости.

«Мне очень приятно, что моя книга находится сейчас у человека, у которого та же страсть к собиранию интересных и ценных книг»,— написал он мне на одной из своих книг.

Его небольшая, как-то по-старомосковски убранная профессорская квартира на улице Герцена была своего рода штабом поэзии. На командном мостике — низеньком диване, под иллюминатором, обращенным к морю поэзии,— не побоимся этой несколько примитивной образности — сидел восьмидесятитрехлетний старик, весь устремленный мыслью к поэтической речи.

От книг Ломоносова и Тредьяковского до символистов и футуристов и до наших современников — советских поэтов — все было представлено в его библиотеке, прекрасной не только своим подбором, но и освещенной светом го-

рячей любви к поэтическому слову, любви почти фанатической.

Показывая свои книги, Иван Никанорович доставал обычно с полки не книжечку стихов того или другого прославленного поэта, а книжечку какого-нибудь безвестного стихотворца, вроде Алипанова или суриковца Козырева, казалось, навсегда затерянных, но найденных Розановым, возвращенных им к жизни и полвека или даже целый век спустя вступивших снова в строй... Розанов, казалось, хотел этим напомнить, что маленькому поэту всегда труднее приходилось в жизни и нельзя допустить, чтобы его уделом было и посмертное забвение.

Московские букинисты хорошо знали Розанова и всегда, по благородному свойству истинных книжников, бывали довольны, когда та или другая редкая книга попадала в его собрание. В сущности, и их труды лежат в основе того блистательного зрелища, которым Розанов любил поразить посетителя: золото корешков его книг сияло и во славу многих книжников, помогавших Розанову собрать превосходную библиотеку.

Букинист Матвей Шишков

В двадцатых годах в Москве у тележки с книжным развалом можно было увидеть невысокого, горбатенького, с несколько мясистым лицом и умными глазами букиниста: звали его Матвей Шишков. Матвея Шишкова знала вся книжная Москва, как знают прославленного тенора. Певцом в книжном деле Шишков был замечательным. В детстве он гонял мальчиком на побегушках, служил у старого букиниста Леонова, торговавшего на Арбате, у него же заработал горб, надорвавшись под тяжелыми пачками книг. Истинного книжника отличает талант. Талант в книжном деле — то же, что и музыкальность. Матвей Шишков чувствовал книгу. Человек он был необразованный, как и большинство русских книжников в прошлом. Но, держа в руках книгу, перелистывая ее страницы, он, казалось, вместе с запахом старой бумаги вдыхал и потаенную особенность книги, он ее чувствовал, он ее понимал. На примере Шишкова можно бы рассказать, что такое талант книжника.

Шишков брал иногда в руки книгу, которую несомненно не знал. Взглянув на титул, он видел только, что

книга напечатана, скажем, в начале прошлого века. Но в начале прошлого века вышло великое множество пустых, ненужных, навсегда сошедших книг — какие-нибудь повести третьестепенных авторов или упражнения в стихотворстве бездарных поэтов. Как же, не зная библиографии, все же угадать редкую книгу? В этом немалую роль играла интуиция. Заподозрив, что книга редка, Шишков, так сказать, брал ее на заметку: он справлялся о ней, въедался в библиографию Сопикова или в каталоги Шибанова; но он мог и по своему пониманию отнести ту или другую книгу к числу редких, и при этом почти никогда не ошибался.

— Гм...— усмехнулся он как-то на мой вопрос, чем руководствуется он иногда при определении редкости книги.— Ведь если видишь интересную женщину, не нужно справляться у других, действительно ли она интересна. Кстати, она может быть для других и неинтересна, а для меня интересна. Так же и с книгами. Иногда в первый раз увидишь книгу, ничего о ней не знаешь, а весь внутренне затрепещешь... и, знаете ли, редко ошибаешься.

Но он мог иногда ошибиться все же, недооценив книгу. Однажды он очень дешево, прямо-таки бросово расценил одну маленькую старинную книжечку.

— Книжечка пустяковая, Матвей Иванович,— сказал я ему.— Издание некоего Розанова... какой-то там «Россиянин прошедшего века».

— Потому-то и дешево, что никому не нужна,— ответил он наставительно.

— А мне вот нужна... это редчайшее первое издание Посошкова с прибавлением отеческого завещательного поучения посланному в дальние страны сыну. Даже два тома Посошкова, изданные много позднее Погодиным, и те сейчас редки.

— Позвольте-с,— сказал Шишков, сразу помрачнев.

Он взял из моих рук книжку и прочел незамеченное им при расценке имя Посошкова, несколько задетое библиотечной печатью.

— Да-с,— сказал он невесело, возвращая мне книжку.— Случается. Мне не жалко, что вы дешево купили ее, я этому даже радуюсь. А я вот сделал промашку, и хорошо, что книга попала к вам, а могла ведь за бесценок уплыть в сторону.

Как истинный книжник он дорожил судьбой книг и всегда старался, чтобы книга попала в надежные руки.

Придя ко мне, уже незадолго до смерти, после многолетнего отсутствия, он благоговейно оглядел книги в моих книжных шкафах. Он узнал некоторых старых знакомцев, он никогда не забывал о них, хранил их в своей памяти, как хранят встречи с хорошими людьми; он только поднял застекленную дверцу одной из полок и провел рукой по корешкам, он мысленно пожимал руку старым знакомцам.

Маленький горбун любил книгу возвышенной любовью, хотя и прошел торгашескую школу, где учили ценить книгу прежде всего как товар.

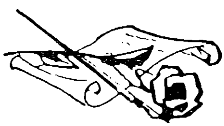
— Какой же это товар,— сказал он раз не то грустно, не то иронически.— Люди иногда с ума сходят от тоски по книге... вот Щапов захирел и помер, когда у него пропал экземпляр «Путешествия» Радищева. Какой же это товар!

Матвей Шишков относился к ряду тех малообразованных, но глубоко одаренных книжников, которые, мало зная, много понимали и крупицу за крупицей создавали целые библиотеки, довольные тем, что частица их труда есть в этих книжных собраниях. Он уважал книголюбов, ценил их страсть, их готовность поступиться многими радостями жизни ради книги.

— А письма Пушкина у вас целы? — спросил он обеспокоенно в свой последний приход ко мне.

Я порадовал его, показав на три тома писем Пушкина — дар, полученный мной в свое время от Матвея Шишкова и Давида Самойловича Айзенштата в одну из юбилейных годовщин. Шишков успокоился и ушел от меня удовлетворенный, что труды его не пропали.

Вскоре я узнал, что Матвей Иванович Шишков умер. Он умер, простившись с книгами, которые в свое время прошли через его руки, насладившись в последний раз созерцанием мерцающих золотом корешков, хотя его заветная мечта вернуться к букинистическому делу не осуществилась.



КОЖЕБАТКИН



В каталоге книгоиздательства «Альциона» наряду с книгами стихов Валерия Брюсова, Сергея Клычкова, М. Шагинян, К. Липскерова значились еще и книги Верлена, Барбэ д'Оревильи, Артюра Рембо, Э. Т. Гофмана... Издательство было несколько эстетским, но книги выпускало оно превосходно: отлично напечатанные, в обложках работы известных художников А. Арапова, С. Коненкова или Натальи Гончаровой, а некоторые с иллюстрациями С. Судейкина, М. Сарьяна, Г. Якулова или Н. Милиоти.

Садовником этого обширного сада, с цветами нередко экзотическими, душой и, так сказать, ведущей осью издательства был человек фантастической изобретательности и фантастической любви к книжному делу Александр Мелентьевич Кожебаткин.

Пейзаж старой литературной Москвы нельзя представить себе без этой фигуры. Прежде всего, у издательства, кажется, не было никаких средств, и только неистощимый запас энергии Кожебаткина и страсть к этому своему делу создавали жизнь издательства, причем жизнь действенную, а не эфемерную. Книги регулярно выходили в свет, и с сигнальным экземпляром в своем необъятном портфеле шествовал Кожебаткин по Москве из одного книжного магазина в другой, доставая из портфеля новинку и принимая заказы на нее. Казалось, все издательство со всеми делами помещалось в его портфеле, где вместе с рукописями неизменно лежала бутылка, а то и две обожаемого Кожебаткиным красного вина. Но бутылка была обычно венцом беспокойного, утомительного дня, когда заведующему издательством приходилось выкручиваться среди потока счетов за бумагу или из типографий, да и



А. М. Кожебаткин

авторам нужно было платить гонорар хотя бы частями, хотя бы понемногу каждому...

С лицом темноватого оттенка, с черными густыми бровями и такими же чернейшими волосами, в которых уже просвечивала толщины гитарных струн седина, совершал Кожебаткин свой каждодневный издательский обряд: хождение по типографиям, уговоры владельцев подождать с расчетом, распространение книг. По существу, он мог бы служить образцом предельно сокращенного аппарата, когда один человек успешно справляется с тем, на что в других условиях понадобился бы целый штат. Вела его и руководила им, и помогала ему преодолевать все трудности любовь к книжному делу. Он любил книгу особой любовью: он любил создавать ее, пестовать художников, заинтересовывать авторов, заинтересовывать и типографии, которым тоже иногда хочется блеснуть полиграфическим шедевром. Он подбил К. Юона проиллюстрировать поэму К. Липскерова «Другой», и Юон отлично выполнил гра-

фическую работу. Сумел он подбить и на автолитографии к книге Тихона Чурилина художницу Наталью Гончарову, подбил и живописца Н. Крымова сделать обложку к одной из книг.

Придя однажды к поэту Константину Липскерову, я застал у него Кожебаткина.

— Книгу вашу мы издадим,— сказал Кожебаткин уверенно,— хотя у издательства сейчас нет ни копейки.

Липскеров, смуглый, несколько меланхоличный и изнеженный, недоверчиво улыбнулся: игрок без денег всегда вызывает снисходительную жалость.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил Кожебаткин обиженно.— Был ли случай, чтобы Кожебаткин пообещал издать и не издал?

Липскеров поспешил успокоить его; моторную силу Кожебаткина он знал: первую книгу его стихов «Песок и розы» выпустил, и притом отлично, именно Кожебаткин. Все же недоверчивая улыбка Липскерова несколько задела издателя, и меньше месяца спустя после этой беседы он в доме у того же Липскерова торжественно достал из портфеля только-что отпечатанную книжечку «Туркестанские стихи».

— Вот видите: вы не верили,— сказал он миролюбиво.— Вы настолько не верили, что не приготовили даже бутылки вина и мне пришлось принести ее с собой.

Он достал из портфеля и бутылку красного вина, хотя в 1922 году его не так-то легко было добыть; но Кожебаткин дружил с каким-то родственником поэта Кусикова, державшем в Газетном переулке закусочную, на окне которой стояли бутылки не то с квасом, не то с уксусом, а истинная жизнь начиналась в глубине, в задней комнате, куда посторонние не имели доступа и где королевой считалась грузинская водка «чача».

Кожебаткин приходил ко мне нередко в утренние часы — в пору, когда издательство «Альциона» уже догорало, и множество новых проектов, которые обуревали Кожебаткина, касались других издательств, где теперь он работал. Он клал на стол свой много повидавший портфель, снимал пенсне, протирал стекла, и тогда можно было увидеть, что он устал от этой вечной беготни и неумения усидеть на месте хотя бы час... ему нужно было двигаться, что-то предлагать, что-то проектировать, он не мог и не хотел примириться с закатом. Дела таких людей

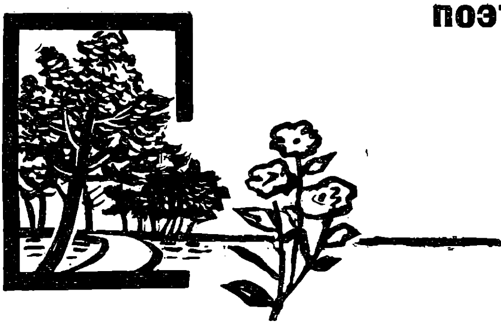
обычно незримы, люди эти уходят, вместе с ними уходят и те, кто окружал их, а книги остаются книгами, они не расскажут о том, с каким трудом и с какими стараниями были они выпущены, как первый сигнальный экземпляр с торжеством нес через всю Москву несколько неистовый, остававшийся всегда неустроенным человек, показывал поля книги и ее набор, и иллюстрации, если они были, и обложку хорошего мастера, и отличную работу типографии, которую сумел зажечь своей страстью к хорошо изданной книге: ведь даже неоплаченные счета не играют особой роли, когда дело касается искусства.

А книга для Кожебаткина была искусством, он ради нее сжигал с двух концов свою торопливую жизнь, но и поныне, беря в руки книгу, изданную «Альционой», я с теплотой и признательностью думаю о том, кто значился редактором издательства, а, по существу, был и издателем, и корректором, и метранпажем, и знатоком бумаги, прощупывавшем верже или веленевую бумагу прежде, чем книга будет на той или другой бумаге напечатана. Ничего на этом беспокойном деле Кожебаткин не нажил, ровно ничегошеньки: жил, выпускал книги и исчез, но все-таки не совсем исчез, все-таки книги, выпущенные им, существуют, и иллюстраций Судейкина к «Венецианским безумцам» Кузмина, как и «Старую сказку» трагически погибшей поэтессы Н. Львовой, да и «Orientalia» Мариэтты Шагинян — ничего этого в книжной памяти не забудешь.

А если книги эти стоят на полке у того или иного собирателя, то и Кожебаткин не совсем ушел, он рядом с ними: они всегда были его маленьким торжеством, эти книги, которые он таскал сначала в виде рукописей в своем необъятном портфеле, а затем в виде сигнальных экземпляров, волшебно для его носа пахнувших типографской краской и клеем, и вообще всем тем, чем неотразимо для истинного книжника пахнут книги.



ПОЭТ И ИЗДАТЕЛЬ



В годы, когда книги печатались на ломкой, недолговечной бумаге — и, перелистывая их ныне, боишься, что бумага рассыплется в твоих руках — в годы эти выходили примечательные по полиграфическому совершенству, на бумаге верже — альманахи под названием «Творчество». Такого же качества был и еженедельный журнал «Москва». Издавал этот журнал и альманахи Соломон Абрамович Абрамов, писавший в то же время и стихи. Наиболее любезной ему формой стихов был сонет, и в 1922 году он издал книжку своих сонетов «Зеленый зов»: стихи в этой книжке посвящены главным образом природе и написаны в тютчевском ключе; готовил он и другие книжки стихов — триолеты «Далекий скит» и сонеты «Север».

Соломон Абрамович по своей действенности, любви к полиграфии, к искусству книги был издателем неудержимым и неутомимым. Вероятно, он не пропустил ни одного дня в своей жизни, чтобы не забежать в какую-нибудь типографию, не наблюдать за печатаньем, не привлекать к своему делу художников, и не просто книжных оформителей, а таких, как Александр Бенуа, С. Чехонин, Д. Митрохин, М. Добужинский, своего рода законодателей в области книжной графики.

В годы, когда у большинства портфели были набиты пайками, портфель Абрамова был набит листами верстки, клише или образцами книжных украшений. Жизнелюбивый и оживленный, несмотря ни на какую погоду его духа, неизменно полный каких-то очередных планов, останавливал он на улице знакомого писателя или художника, раскрывал свой туго набитый портфель и на ходу показывал либо только что отпечатанную книжку, либо макет, либо оригиналы каких-нибудь фронтисписов или за-

ставок, сам умиленный своим детищем. Умилялся он при этом загадочно, вернее, даже несколько снисходительно, глубоко убежденный, что собеседнику и не снится, какие чудеса он задумал.

Его рабочая комната в нижнем этаже огромного дома на улице, носящей ныне имя Неждановой, была доверху забита папками, рукописями, рисунками, цветными открытками: к многоцветной печати он относился с особым уважением, восторгаясь, если было хорошо выполнено, и негодуя, если краски были грязными или смещенными. Издательские требования Абрамова были очень высокие, он вкладывал в искусство печатания все помыслы, и если отвлекался, то лишь для писания стихов, очередных сонетов или триолетов, которые любил читать вслух даже на улице, умиляясь ими так же, как умилялся и хорошо отпечатанной книге.

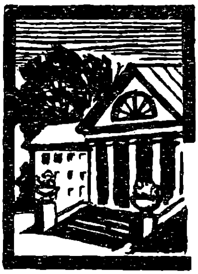
В двадцатых годах многие петроградские издательства печатали маленькие книжечки стихов, и хотя книжечки в ряде случаев были отмечены эстетизмом, они все же служили эталоном высокого класса книгопечатания. Абрамов печатал свои книги не хуже, работал затем, когда его издательство кончилось, для ряда государственных издательств, ездил по городам, выискивал типографии, побуждал их к хорошей работе и умер от воспаления легких на ходу, где-то в поезде между Ригой и Москвой или тотчас же по приезде.

— Вот вы всё пишете стихи о природе, о деревьях, о цветах, напишите как-нибудь о книге,— сказал я ему раз при встрече.— Напишите цикл сонетов о книге, раз вы уж так любите сонеты.

— Природа та же книга,— ответил он наставительно,— нужно только уметь читать ее.

И тут же прочитал мне какой-то очередной сонет о лесном шуме, наблюдая за выражением моего лица: он ревниво хотел, чтобы его стихи нравились.

Книжка стихов Абрамова с его надписью у меня есть, но есть и некоторые другие книги, выпущенные издательством «Творчество»: стихи Максимилиана Волошина «Иверни», драма Андрея Глобы «Смерть Марата», есть и номера журналов «Москва», которыми Абрамов как бы возвестил в годы самой тяжелой разрухи, что русское книгопечатание живо и еще воскреснет и утвердит себя. Издатель он был ретивый в лучшем смысле этого слова.



ПИСЬМА НАТАЛИИ ГОНЧАРОВОЙ



Однажды, уже в давние времена, ко мне пришел в номер гостиницы в городе Ростове Ярославском старый книжник Андрей Андреевич Молодцыгин. Мы с ним поддерживали дружеские отношения. Впрочем, книжником он был в такой же степени, как и антикваром — любителем старины, особенно ростовской финифти, расписных изразцов старинных печей и лежанок; у меня и поныне хранится несколько таких изразцов, разысканных и присланных мне Молодцыгиным, с надписями под изображениями: «Смотрю на цвет сей» или «Сие мне угодное...», в зависимости от того, изображена ли на изразце девица, нюхающая цветок, или бегущий юноша с вазой, похожей на амфору, в руках.

Молодцыгин был человеком несколько цыганского облика, с копной черных седеющих волос и густейшей бородой.

— Пушкиным интересуетесь? — спросил он меня, не успев поздороваться.

За окном моего номера совсем близко золотели луженые маковицы соборной звонницы со знаменитым колоколом «Сысоем».

Я ожидал, что Молодцыгин достанет из кармана какое-либо первое издание Пушкина, но он сел на стул напротив и, глядя на меня в упор своими чернейшими, под чернейшими бровями, глазами, сказал:

— Шесть писем Наталии Гончаровой к Пушкину.

— Они у вас? — спросил я после паузы, справившись с дыханием, ибо истинный собиратель должен во всех случаях соблюдать спокойствие, хотя бы и мнимое.

— С собой...— усмехнулся Молодцыгин.— Разве такие

вещи бывают в кармане. Добыть надо эти письма. В Ярославле.

От Ростова Ярославского до Ярославля было в ту пору несколько часов езды.

— Конечно,— сказал Молодцыгин,— если вы раздобудете эти письма, то меня не забудете...

И он рассказал, как и где нужно искать эти письма. Под Ярославлем, по другую сторону Волги, есть большое село, в котором живет женщина под фамилией Ослябина. Покойный муж этой Ослябиной был любителем старины, вдова его в таких делах ничего не понимает, но осторожна. Следовательно, письма Наталии Гончаровой к Пушкину нужно добыть с умом, иначе женщину можно насторожить и писем она не продаст.

Молодцыгин говорил вполголоса, таинственно, как бы давая понять, в какое величайшее дело посвящает меня: конечно, письма Наталии Гончаровой, вероятно неопубликованные, на улице не валяются, и день спустя я уже был в Ярославле. Стоял август с той палящей жарой, какая нередко бывает в эту пору на Волге. В Ярославле не существовало еще нынешней благоустроенной набережной, откос над Волгой зеленел травой, и по другую сторону реки тянулось то большое село, в котором жила владелица писем Гончаровой.

Волжские села обычно расположены так, что главная улица растягивается вдоль Волги иногда на несколько километров. В этот знойный августовский полдень улица была совершенно пустынна, только куры, изнеможенно раскрыв клювы, лежали в серой пыли, и даже от реки, казалось, исходил зной, а не прохлада. Я долго не встретил ни одного человека на улице. Наконец, я увидел женщину с ведрами.

— Ослябина? — переспросила она.— Это, должно быть, дом тридцатый отсюда, по левой стороне. Так и идите пряменько.

И я пошел пряменько, миновал тридцать бесконечных домов с бесконечными палисадниками и опять не встретил ни единого человека. Я подошел к одному из домов, из окна которого на меня смотрела старуха.

— Бабушка,— спросил я,— не знаете ли, какой дом Ослябиной?

— Ослябиной? Что-то такую фамилию я и не слыхала. Может, Осафьева?

Я достал записную книжку и прочел фамилию, записанную со слов Молодцыгина.

— Да нет, Ослябина.

— А зовут ее как?

Имени женщины старый книжник не знал.

— А...— сказала старуха вдруг,— знаю. Идите пряменько... дойдете до колодца, так за ним третий дом.

И я снова пошел пряменько, до колодца оказалось с добрых полкилометра, и дом Ослябиной действительно был третий от угла, сонный, разогревшийся от зноя и, казалось, необитаемый дом. Я открыл калитку палисадника и поднялся по ступенькам. Пожилая, гладко причесанная на прямой пробор женщина открыла мне дверь.

— Простите,— сказал я.— Не вы будете Ослябина... не знаю вашего имени и отчества.

— Я Ослябина,— ответила женщина выжидательно.

— Видите ли,— сказал я по возможности беспечно и весело,— я неисправимый книжник, люблю старые книги... мне в Ярославле сказали, что ваш муж тоже любил книги и собирал их. Может быть, вы что-нибудь не откажетесь уступить мне.

Я даже побоялся произнести слова «продать». Женщина минуту помолчала.

— Заходите.

В доме было как в духовой печке, и он весь жужжал, как улей, от мух. Я почувствовал, как пот стекает по моей шее, и изредка даже мотал головой, чтобы стряхнуть со лба капли: письма Наталии Гончаровой, как всякий клад, давались мне нелегко.

— Какие же книжки вас интересуют? — спросила женщина.— Покойный мой муж был действительно любителем книг. Только книг я вам показать не могу.

— Почему же? — спросил я, наверно, именно тем голосом, каким говорил Чичиков.

— Они на чердаке лежат, а там пыль, да и в голубином помете всё.

— Помилуйте,— сказал я тем же голосом,— для настоящего книжника пыль только приятна... значит, к книгам давно никто не прикасался и они ждут ценителя.

Женщина поколебалась.

— Ну, что ж... не боитесь пыли, полезайте на чердак.

Если в доме было как в духовой печке, то на чердаке под железной крышей — уже как в доменной печи. Книги

лежали в большой бельевой корзине. Все было покрыто голубиным пометом, пухом и перьями, а пыль оказалась тяжелой, как тальк, она не оседала, а, поднявшись, плотно стояла в воздухе. Женщина ревниво и настороженно следила за мной, пока я откладывал книги. Сверху лежали разрозненные томики классиков в приложении к «Ниве», Шпильгаген, исторические романы Мордовцева и Салиаса, пухлые тома Валишевского, русская история Иловайского, сборник тригонометрических задач Рыбкина, «Родная речь», огромные волюмы «Живописной России», и у меня создалось впечатление, что покойный Ослябин не столько собирал книги, сколько подторговывал ими. Ни одной сколько-нибудь стоящей книжки, не говоря уже о письмах, в корзине не оказалось. Но я не мог ничего не купить, чтобы окончательно не разочаровать женщину.

— Эту книжку я взял бы,— сказал я нерешительно, подумав тут же, что́ стану я делать с «Введением в биологию» Лункевича. Женщина взглянула на титул.

— Книжка редкая,— сказала она безоговорочно.— Муж ею дорожил.

— Ну, не такая уж редкая...— сказал я.— Но я ее купил бы. Во сколько вы ее цените?

— Сто рублей,— сказала женщина поколебавшись.

Это была цена десяти или даже двадцати экземплярам книги Лункевича. Я ничего не ответил: современная Коробочка явно дорожила мертвыми душами. Пот тек по моему лицу, и я плохо видел, так как из-за пыли пот стал тестообразным.

— А нет ли у вас каких-нибудь писем? — спросил я тем же чичиковским голосом.— Знаете ли, письма я бы, пожалуй, даже охотнее купил.

— Каких же вам писем? — удивилась женщина.

— Ну, знаете, разные там письма, особенно старинные... ведь письма всегда помогают понять, как люди жили в свою пору.

— Какие же могут быть у меня письма? — ответила женщина так, словно мы оба разыгрывали сцену из «Мертвых душ».— Есть у меня письма от свояченицы... да они вам неинтересны, и неловко как-то их продавать.

— Отчего же — неловко: письма вы прочитали, они вам не нужны... а я, может быть, книгу напишу.

Мы спустились с чердака, и на меня сразу налетели все мухи какие были в комнате: я был покрыт соблазни-

тельным тестом из пыли и пота. Женщина ушла в соседнюю комнату, и я ждал. Я ждал той минуты, когда в незрячих руках мелькнут синеватые или, может быть, плотные белые листы старинной бумаги, исписанные женским почерком, скорее всего по-французски, заряд картечи, который заставит вздрогнуть наших пушкинистов. Женщина вернулась с перевязанной розовой ленточкой пачкой писем. Я развязал их: письма, все до одного, действительно, оказались письмами свояченицы, некой Клавдии Петровны, смиренно подписывавшейся: Клава.

— А где у вас письма Наталии Гончаровой? — спросил я напрямик.— Продайте мне эти письма.

— Кого? — переспросила женщина.— Я что-то такой и не знаю.

Я заподозрил уловку.

— Наталии Гончаровой, ставшей женой великого поэта Пушкина.

Женщина была явно озадачена.

— Откуда же у меня могут быть такие письма? Мы в родстве не состояли, девическая моя фамилия — Коростелева, да и у мужа таких родственников не было. Я всю его родню знаю.

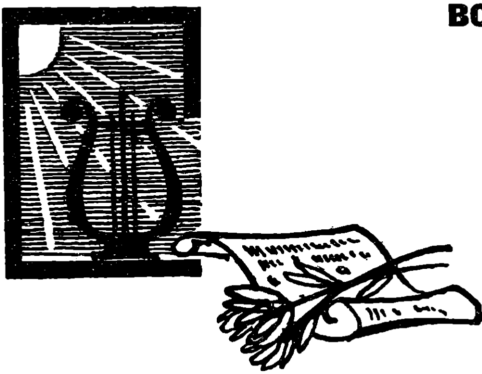
Мне незачем было покупать за сто рублей биологию Лункевича. Я измерил в обратный конец все волжское село, кляня Молодцыгина с его сведениями.

Несколько месяцев спустя, когда я снова увидел его и рассказал о своей экскурсии, Молодцыгин задумался всего лишь на один миг.

— В Арзамас надо ехать,— сказал он решительно.— Значит, письма в Арзамасе.

В Арзамас я не поехал. Откуда взялась легенда о письмах Гончаровой — не знаю. Но биография любого собирателя была бы неполной, если бы в ней не было событий — иногда смешных и нелепых, иногда грустных, иногда разочаровывавших, а иногда радующих находками, открытиями, а главным образом — ощущением, что спас что-то, чему суждено было погибнуть или затеряться в безвестности. Это относится не к пополнению своего книжного собрания, а к крупицам культуры, которые именно книголюб подбирает, и в огромном большинстве случаев — для всех, а не только для себя.

ВОКРУГ ПУШКИНА



Глядя на три тома писем Пушкина в своем шкафу, я всегда вспоминаю последнее посещение Шишкова. Три тома писем Пушкина были изданы в 1906 году Академией наук. Письма, особенно обращенные к ближайшим друзьям, были написаны без малейшего затруднения в выражениях.

Академия наук выпустила эти письма с купюрами, обозначенными многоточиями. Но в нескольких экземплярах — едва ли больше десяти — письма Пушкина были изданы без купюр, лишь для академиков. Одним из таких экземпляров владел пушкинист и историк Павел Елисеевич Щеголев; есть в этом экземпляре его карандашные пометки.

Книжники хорошо знают редчайшее издание писем Белинского без пропусков; но письма Пушкина без пропусков, иногда с ядом горечи, иногда с язвительностью великого эпиграммиста, хранят как бы живую его речь, и можно понять, почему Матвей Шишков в первую очередь обеспокоенно спросил, целы ли у меня эти книги.

Письма Пушкина стоят у меня рядом с его прижизненными изданиями и еще с одной книжкой, до сих пор неразгаданной, хотя она у меня много лет, и ни один пушкинист, разглядывая ее, не высказал окончательного о ней суждения.

Как-то в одном из букинистических магазинов я купил книжку, ослепившую меня надписью на ее первой странице. Стремительный росчерк гусиным пером в такой степени показался мне сделанным рукой Пушкина, и по

всему смыслу это в такой степени могло быть надписью Пушкина, что и поныне ни одно сомнение пушкинистов не разубеждает меня в первоначальном предположении.

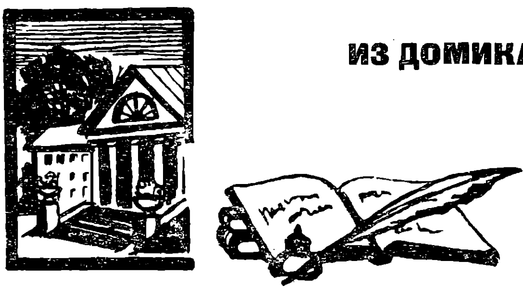
Книжка эта — «Душенька» Богдановича издания 1809 года. На книге надпись чернилами: «Из книг Чернышева», сделанная несомненно владельцем. Но под надписью владельца и под печатным названием «Душенька» следует и другая надпись: «коей дарит барона А. П.». Как известно, повести Белкина подписаны инициалами Пушкина, именно «А. П.», а лицейская кличка А. Дельвига была «барон»; только крышечкой над буквой «П», характерной для росчерка Пушкина, в данном случае служит типографская линеечка.

Имение Чернышевых, родителей будущего декабриста Захара Григорьевича Чернышева, помещалось близ имения владельца Полотняного завода А. Н. Гончарова, дедушки жены Пушкина. Пушкин бывал на Полотняном заводе, широко пользовался библиотекой Гончарова, а возможно, и Чернышевых. В одной из корреспонденций, напечатанной в 1949 году в газете «Вечерняя Москва» — «В бывшем имении Гончаровых», автор пишет: «Имеются рассказы, указывающие, что Пушкина видели однажды несущим ворох книг из красного дома в большой». Возможно, что были в этом ворохе и книги из библиотеки Чернышева. Прямой домысел, продиктованный несомненным сходством надписи на книге «Душенька» с почерком Пушкина, подсказывает, что книга из библиотеки Чернышева могла остаться у Пушкина, а когда Чернышев в числе других декабристов был сослан в Сибирь, Пушкин на память о Чернышеве подарил его книгу со своей надписью А. Дельвигу.

В литературе известно, что кличка «барон» принадлежала Дельвигу еще с лицейских времен; но была такая кличка и у декабриста барона Владимира Штейнгеля. Когда пушкинисты усомнились в надписи Пушкина, хотя и признали значительное сходство с его почерком, я высказал другое предположение: может быть, книга, принадлежавшая Чернышеву, была подарена на память о нем декабристу барону Штейнгелю декабристом А. Поджио, у которого она могла случайно оказаться; тогда совпали бы первые буквы имени и фамилии Поджио. Но знатоки истории декабристов в этом предположении усомнились.

Так она и стоит у меня на полке, эта книга со своей нераскрытой судьбой, и все же мне хочется думать, что на ней надпись Пушкина, притом не случайная, а связанная с судьбой декабристов. На корешке книги внизу есть две маленькие буковки: «А. П.» — инициалы владельца книги. Я запросил Пушкинский Дом, где хранится библиотека Пушкина, есть ли такие буковки на его книгах; таких буковок не оказалось. А если Пушкин специально для подарка, полного внутреннего значения, отдал переплести книгу, принадлежавшую Чернышеву, и распорядился поставить свои инициалы на корешке? Ведь книга, судя по надписи, принадлежала Чернышеву, и тогда совершенно естественно, что на корешке должны бы быть буквы «З. Ч.» или, если иметь в виду отца декабриста, то «Г. Ч.».

Переплетчик не сберег для нас этой тайны, он только направил по верному пути домыслы потомка; может быть, и пушкинисты согласятся когда-нибудь со мной, что Пушкин одушевил «Душеньку», заключив в своей короткой надписи на ней целую эпоху.



ФИГУРКА ИЗ ДОМИКА НАЩОКИНА

Как-то, уже в давние годы, мне переслали одно письмо: письмо это было направлено в адрес Союза писателей, а работавший там помощником секретаря мой друг, литератор и переводчик Лев Яковлевич Шапиро, с которым в минувшую войну мы вместе немало хлебнули горького на фронте, переслал мне это письмо, зная мою любовь ко всему, что так или иначе связано с книгой.

«В VI томе сочинений Пушкина в издании Брокгауза и Эфрона помещены снимки с принадлежавшего мне и



Фигурка А. С. Пушкина (работа А. Лебедева)

реставрированного мной совместно с братом т. наз. Нащокинского домика» было сказано в письме. «При этом по нашему заказу на бывшем императорском фарфоровом заводе были изготовлены 2 копии с фигурки Пушкина. Судьба одной из этих копий, подаренной нами бывшему Литературно-художественному кружку, мне неизвестна: по-видимому, она погибла. Насколько мне известно, во время эвакуации 41 г. утрачен и оригинал. Таким образом, сохранившаяся у меня копия является уникальной и

представляет для почитателя Пушкина несомненный интерес».

Владелец не без грусти сообщал далее, что склонен расстаться со статуэткой Пушкина, но с тем, чтобы она попала в руки любителя. Имя владельца было — Яков Александрович Галяшкин, а жил он в поселке Сокол.

В поисках того, к чему лежит душа книголюба, не жалеешь времени и не боишься расстояний, и я вскоре разыскал в городке художников улочку, названную именем Крамского и оказавшуюся просто глухим тупичком. В доме, указанном в адресе, лежал на постели, видимо, высокий, с благородными чертами лица старик, оказавшийся именно Яковом Александровичем Галяшкиным, письмо которого мне переслали. Короткие сроки нередко уплотняют время: по всему виду Галяшкина можно было сразу почувствовать, что это тяжело больной, угасающий человек.

— Мне переслали из Союза писателей ваше письмо,— сказал я, несколько смущенный тем, что приехал, возможно, не вовремя.

— Познакомимся,— отозвался Яков Александрович,— и если вы, действительно, любите Пушкина, то наверно, и сдружимся.

Мы и вправду быстро сдружились, и меня глубоко взволновали впечатлительность и интерес к жизни этого несомненно обреченного существа. Яков Александрович Галяшкин, историк по образованию, оказался не только человеком большой культуры, но его отличала и страстная любовь к Пушкину и ко всему тому, что так или иначе связано с этим именем.

Все в доме дышало Пушкиным, начиная с мраморной копии бюста Пушкина работы Витали до той фигурки, которую на исходе жизни он хотел вручить лишь в руки ценителя Пушкина. Фигурка воспроизводила образ поэта примерно в той позе, в какой он был изображен в мастичном оригинале, хранившемся в Нащокинском домике: Пушкин стоит, прислонившись к колонне, держа в одной руке тетрадь со стихами и вдохновенно подняв другую руку. В этой же позе он изображен и на известной картине Николая Ге «Пушкин в Михайловском», на которой, сидя в кресле и обняв колено руками, его слушает Пущин: может быть, мастичный оригинал послужил в свое время моделью художнику.

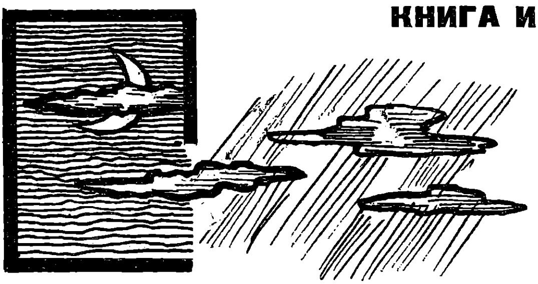
— Правда, я собираю только книги, но фигурка Пушкина может нести свою службу наравне с прижизненными изданиями,— сказал я Галяшкину.— Мне бы хотелось приобрести эту фигурку.

— Не умею сказать, как буду доволен,— ответил Яков Александрович,— просто болел душой, что пойдет она какому-нибудь собирателю фарфора и на этом закончит свою историю.

Позднее я привез к Галяшкину одного из замечательных врачей, ныне покойного профессора И. Л. Гордона, и на обратном пути из поселка Сокол Гордон с грустью сказал мне, что только месяц или два осталось Галяшкину жить.

В качестве спутника фигурке Пушкина Яков Александрович подарил мне «Песнь о вещем Олеге» с рисунками В. Васнецова, отпечатанную к столетию со дня рождения Пушкина в 1899 году в Экспедиции заготовления государственных бумаг, с надписью: «...на память о счастливой встрече». Яков Александрович подарил мне и снимки с комнат Нащокинского домика, и я в память об этом человеке и о его преданной любви к Пушкину написал в своей книге «Люди и встречи», как был этот домик найден и какова его судьба.

КНИГА ИЗ КАРЛСРУЭ



В октябре 1941 года улицы Москвы обрели перспективы, каких мы прежде не замечали: улицы опустевшего города всегда таковы, особенно если над ними военное небо, и едва наступают сумерки, медленно всплывают под самые облака округлые тела привязанных аэростатов. Но

город жил своей жизнью, можно было зайти в кафе и выпить кофе; можно было и купить книгу в книжном магазине. Правда, книги покупали лишь для текущего чтения, а собиратели книг или покинули свои библиотеки и горестно вздыхали о их судьбе где-нибудь в Ташкенте или Барнауле, а если и остались в Москве, то были заняты совсем другими делами и уж, конечно, и не помышляли о собирательстве. Был занят другими делами и я, книги мои были покинуты, они встречали меня потерянно, когда я заходил иногда в свою пустую квартиру, и ветер и дождь проникали сквозь окна, стекла которых были выбиты воздушной волной от упавшей поблизости бомбы.

Бомбы падали на Москву, и одна из них упала возле Большого театра: я случайно проходил в эту минуту возле Центрального универмага, и когда редкие покупатели выбежали из здания, увидел дым из окон Большого театра, а затем увидел и сброшенную взрывом скульптуру, стоявшую в одной из ниш по фасаду, увидел и убитых людей, лежавших на сквере и в проезде...

С чувством гнева от злодеяния шел я затем по Большой Дмитровке, ныне Пушкинской улице, и по знакомому проезду Художественного театра. В витрине книжного магазина были выставлены книги. Они жили своей жизнью и шли своим путем, как бы утверждая, что ничто не нарушит поступи человеческого разума и что только он восторжествует в конечном итоге. Я остановился у витрины, наверно, лишь для того, чтобы привести себя в равновесие после случившегося, и увидел вдруг среди выставленных книг одну книгу, которую давно искал.

О салоне Зинаиды Волконской, где бывали Пушкин и Мицкевич, Жуковский и Веневитинов, Боратынский и Вяземский, немало написано. Волконской посвятил Пушкин, посылая ей поэму «Цыганы», свое стихотворение «Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бостона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона. Царица муз и красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений...» Образ прелестной и умной женщины остался в истории литературы, осталось и ее, знакомое многим, изображение с тонким и одухотворенным лицом. Но Волконская была и сама поэтессой, и не только поэтессой, она писала также прозу и воспоминания, и не один

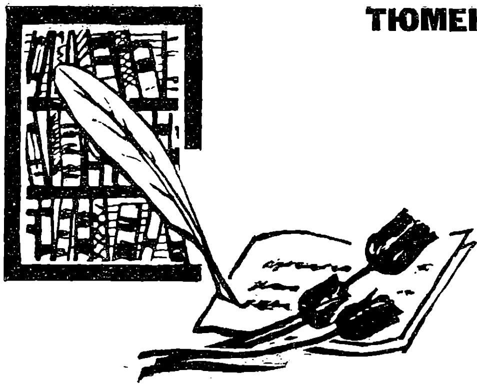
Пушкин посвятил ей стихи: ей посвящали стихи и Боратынский, и Иван Козлов, и П. Вяземский.

Волконская умерла в Риме в 1862 году, а в 1865 году в Карлсруэ, отпечатанные в придворной типографии В. Гаспера, вышли ее сочинения с титульным листом: «Сочинения княгини Зинаиды Волконской урожденной княжны Белосельской. Париж и Карлсруэ».

Не знаю, проснувшаяся ли во мне все же никогда не угасавшая страсть книголюба, или я захотел чем-то отвлечь себя от случившегося, от убитых, которых только-что видел, но я зашел в книжный магазин и купил эту книгу Зинаиды Волконской. Мне даже некуда было ее поставить, она пролежала не один месяц в ящике письменного стола в редакции газеты «Известия», в которой тогда я работал, потом я уехал на фронт, и лишь после войны, вернувшись к своим покинутым книгам, нашел и этот томик сочинений Зинаиды Волконской. Я поставил его на полку рядом с первыми изданиями сочинений Пушкина, Боратынского и Вяземского, и он обрел новую свою судьбу, этот подобранный в разорении и опустошении войны томик.

«Звезда моя! свет предреченных дней, твой путь и мой судьба сочетавает. Твой луч светя звучит в душе моей; в тебе она заветное читает. И жар ея, твой отблеск верный здесь, гори! гори! не выгорит он весь!» так начинается стихотворение «Моей звезде» Зинаиды Волконской, и уже много позднее, задумавшись о судьбе книг вообще, я перечитал это проникновенное стихотворение.

Так и стоит он у меня на книжной полке, этот заблудившийся томик, отпечатанный в столице Бадена — Карлсруэ, в зеленой, скромной, сохраненной переплетчиком обложке, с надписью золотом на корешке: «Париж и Карлсруэ. 1865», и на последней странице есть карандашная пометка товароведа книжного магазина: «X.1941 года»: это был месяц опустевшей Москвы и не одной брошенной на произвол судьбы библиотеки, и уж, во всяком случае, месяц, когда, пожалуй, ни один даже самый испытанный собиратель не покупал книг; да и я купил ее лишь из-за смятения духа, меньше всего предполагая, что когда-нибудь напишу о ней, тем более в заметках книголюба.



ТЮМЕНСКИЙ „ОБРЫВ"

Жизнь И. А. Гончарова была трудной и мучительной; в основном этому были причиной особенности характера Гончарова. Но, пожалуй, по-настоящему трагическая пора наступила для него, когда в 1869 году в журнале «Вестник Европы» был опубликован его роман «Обрыв». Роман вызвал множество откликов, многие из них были в такой степени резки, что при мнительности и мизантропии Гончарова могли бы его окончательно добить.

«Что такое Райский? Изображается по-казенному псевдорусская черта, что все начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого. Экая старина! Экая дряхлая, пустенькая мысль, да и совсем даже неверная»,— писал Достоевский к Н. Н. Страхову.

«Ну, батюшка, читаю я продолжение «Обрыва» и волосы у меня вылезают от скуки... И что за несчастная фигура Райский»! — писал Тургенев Н. В. Анненкову. «Даже свою Веру Гончаров уже успел испортить: и она рассуждает и переливает из пустого в порожнее»,— писал Тургенев в другом письме к Я. П. Полонскому.

Но интерес к роману был тем не менее огромный: редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич сообщал поэту А. К. Толстому: «О романе Ивана Александровича ходят самые разноречивые слухи; но все же его читают и много читают. Во всяком случае, только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году, за весь год, у меня набралось 3700 подписчиков, а ныне, 15 апреля, я переступил журнальные Геркулесовы Столпы, т. е. 5000, а к первому мая имел 5700».



Титульный лист книги М. Знаменского

В 1870 году появилось первое отдельное издание «Обрыва», и в ту же пору, примерно в 1875 году, в Тюмени вышло одно издание, о котором я ни разу не встречал упоминания в библиографической литературе. Это сборник карикатур с подписями под ними, зло направленными против романа Гончарова. Книга вышла в издании Высоцкого и Тимофеенкова, карикатуры принадлежали художнику М. Знаменскому; отпечатана книга была в Тюмени в типографии К. Высоцкого, хотя цензурное разрешение помечено С.-Петербургом, 19 марта 1875 года.

На титуле книги сатирически изображены персонажи романа, а сам титул такой: «Обрыв». Роман классический,

картинный, отменно длинный, длинный, длинный и сатирический и чинный». Далее следует 59 страниц с карикатурами на персонажей и на эпизоды романа, с подписями под ними.

«В одном приволжском городке открыл я рукопись, склеенную из миллиона лоскутков. История этой рукописи следующая: несколько лет тому назад, во время проезда начальника губернии через городок этот, из окна того дома, где изволил остановиться Его Пр-во, вылетела куча рваной бумаги, на которую и бросились обывательские куры со всех сторон, приняв за какую-то куриную крупу эти, как снег, посыпавшиеся обрывки бумаги. Находившийся же по соседству исправник обрывки эти принял за изорванные Его Пр-вом доносы на него, исправника, и, со свойственным ему самоотвержением, отважно вступил в ожесточенную борьбу с курами и успел спасти многое. Обрывки эти оказались сказанием о жизни некоего художника Бориса Райскаго.

Я воспользовался этой рукописью, иллюстрировал ее и, предлагая читателю, долгом считаю объяснить, что если ему встретится какая-нибудь недомолвка или недостаток связи, то причиной тому обывательские куры, успевшие поклевать многое.

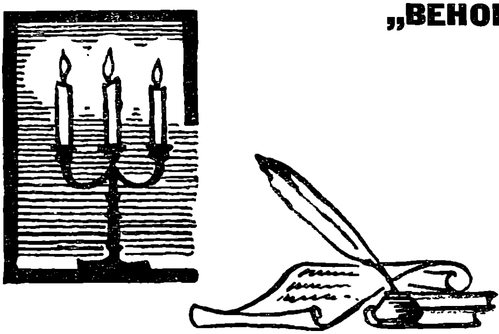
Мих. Знаменский».

Вступление это идет под заголовком: «Нечто вроде пролога». За ним следуют весьма обидные карикатуры в духе известных карикатур Н. Степанова, с подписями, перефразирующими отдельные места из романа. Заключает серию этих карикатур изображение путевого столба с надписью: «Русские девы, не принимайте ошибки за образец и не скачите как козы с обрывов», и далее изображен путник с палитрой, привязанной на спине и подписью под рисунком: «Борис Райский, разыгрывая из себя болвана, понял, что природа создала его именно для делания болванов, и отправился за границу учиться скульптуре».

В 1954 году в Тюмени вышла отличная книжка П. И. Рощевского «Воспитанник декабристов художник М. С. Знаменский». В книжке рассказана история жизни этого примечательного художника, рассказано и о том, как он создал альбом своих карикатур «Обрыв». Разделяя критику передовых писателей того времени, в том числе и Салтыкова-Щедрина, художник Знаменский, автор ряда

остросоциальных карикатур, также по-своему подверг роман критике, направив острие своих сатирических рисунков против бездейственного Райского и других персонажей романа.

Следует надеяться, что это тюменское издание не дошло до Гончарова; оно несомненно обидело бы и еще больше огорчило и без того близко принимавшего к сердцу неудачи, мнительного и одно время даже потерявшего веру в себя писателя.



„ВЕНОК" И „ШАПКА"

Иван Александрович Гончаров был стар, одинок и печален. Помимо этого он страдал манией, что его хотят обездолить другие литераторы, заимствовать его темы, подглядеть его бумаги. Даже люди, близкие к Гончарову и оберегавшие его,— А. К. Толстой или издатель М. М. Стасюлевич — приходили в отчаяние от его характера. Характер у Гончарова был действительно трудный, причинявший страдания прежде всего самому Гончарову.

«По вечерам простокваша и скука, утром скука без простокваши, я радуюсь сну, как другу, брату, как любовнице! Старичок (т. е. я), очевидно, слабеет, понемногу весь выходит, словом, тает. Я смотрю в зеркало, в ванне, на себя и ужасаюсь: я ли этот худенький, желто-зелененький, точно из дома умалишенных выпущенный на руки родных, старичок, с красным слепым глазом, с скорбной миной, отвыкший мыслить, чувствовать и способный только просить пить, есть, и много-много что попроситься на двор — а! а! а! Ужас!» — безжалостно написал о себе Гончаров в июне 1883 года А. Ф. Кони из Дуббельна.

Незадолго до этой поры ближайшие друзья Гончарова, издатель журнала «Вестник Европы» Михаил Матвеевич Стасюлевич и его жена Любовь Исаковна, пригласили Гончарова встречать у них новый, 1882 год. Несомненно, судя по воспоминаниям о Гончарове той поры, он долго отнекивался, ссылался на недомогания, на отвычку от общества. Но Стасюлевичам удалось уговорить старика, и он все-таки пришел к ним в новогодний вечер. Вероятно, его встретили восторженно, согрели, обласкали. Во всяком случае, на выпущенном новом издании «Обломова» Гончаров сделал ровно год спустя слабым стариковским почерком такую надпись:

«Дорогой приятельнице Любови Исаковне Стасюлевич 31 декабря 1883 г. благодарный от души и сердца за венок, сплетенный ею 31 декабря 1882 года, и неизменно преданный автор».

Наверно, для Гончарова не только сплели в новогоднюю ночь венок, но и торжественно возложили на его голову, и целый год Гончаров не забывал этого, подчеркивая именно в датах свою благодарную память... Он был очень одинок, очень болен, старый писатель.

«Добавлю, что я очень плох, буквально еле хожу и еще буквальнее ничего не ем и все ненавижу! Видно и мне приходится собираться в безвозвратный путь в одну из петербургских окраин»,— написал он меньше года спустя, в сентябре 1884 года, тому же М. М. Стасюлевичу.

Почти такого же рода надпись есть на книге замечательного писателя В. Ф. Одоевского: «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным». Безгласный — псевдоним В. Ф. Одоевского, а его надпись на книге следующая.

«Дарье Николаевне Кошелевой в изъявление благодарности за все ея милости вообще и за прекрасную шапку в особенности от Сочинителя. 1833. Спб.».

На Дарье Николаевне, дочери французского эмигранта Дежарден, был женат вторым браком Иван Родионович Кошелев. Их сын Александр служил в архиве Министерства иностранных дел вместе с Веневитиновым, Соболевским, братьями Киреевскими, Шевыревым, В. Ф. Одоевским, с которым был связан дружбой. Шапка, может быть, была тоже новогодним подарком.

Так хранят иногда надписи на книгах не только следы отношений писателей к тому или другому лицу, но и приметы событий, зачастую интимных и личных, приоткрывающих, однако, эпоху и дающих возможность прочесть гораздо больше, чем это заключено в самой надписи. Венок, сплетенный рукой Л. И. Стасюлевич Гончарову, и шапка, подаренная В. Ф. Одоевскому Кошелевой,— это почти материализованные приметы времени и отношений, глубоко располагающие к тем, кто так хорошо понимал впечатлительное существо писателя, отзывчивого к любому проявлению дружбы и внимания: и Гончаров и Одоевский, судя по их надписям на книгах, это прочувствовали.



НА ЕЛКЕ У АКСАКОВЫХ

В доме Ивана Сергеевича Аксакова всегда шумно справлялись рождественские праздники. На елку с подарками приглашались дети близких знакомых, и доброй и рачительной хозяйкой была Анна Федоровна Аксакова, жена И. С. Аксакова и дочь поэта Ф. И. Тютчева.

Бывала среди девочек на елке у Аксаковых и маленькая институтка Надя Ленова, впоследствии Надежда Васильевна Коротнева, имя которой можно встретить в главе «История одной мечты», помещенной в этой книге.

В один из рождественских праздников И. С. Аксаков подарил девочке, видимо, ее любимую книгу, а может быть, и свою любимую книгу: «Дон Кихота Ламанчского», изданную в 1882 году в Одессе Эмилем Берндтом с отличными цветными литографиями. На книге Аксаков сделал надпись: «Маленькой институтке Наде Леновой от Ив. Сергеевича Аксакова в день Рождества 1883 г.».

Свыше полувека спустя Надежда Васильевна Коротнева подарила мне эту книгу, дорогую ей по памяти детства.

— Сохраните ее среди ваших книг,— сказала она.— Когда-нибудь полистаете и вспомните меня.

После смерти Надежды Васильевны ко мне попала часть ее бумаг и писем, среди которых было много писем С. В. Рахманинова: дружба с великим музыкантом украсила ее жизнь. В ряду писем оказалось немало писем к матери Надежды Васильевны — М. Е. Леновой; было в их числе и одно письмо, находившееся в прямой перекличке с подаренным мне «Дон Кихотом».

«Добрейшая Мария Евгеньевна»,— писала А. Ф. Аксакова.— «Я хочу устроить елку для прелестных моих воспитанниц 30 Декабря, Воскресенье. Привезите мне Ваших институток и также маленькую дочку Воскресенье к 4-м часам, а вечером я Вам их отошлю в нашей карете. Вы ранее Воскресенья не привозите их ко мне: первые дни праздника извощики дороги, я далеко живу, вряд ли Вы меня застанете дома или у меня гости будут и некогда будет заниматься с детьми, а Воскресенье я очень рада буду их видеть. Так до свиданья, добрая Марья Евгеньевна, желаю Вам радостный праздник. Анна Аксакова».

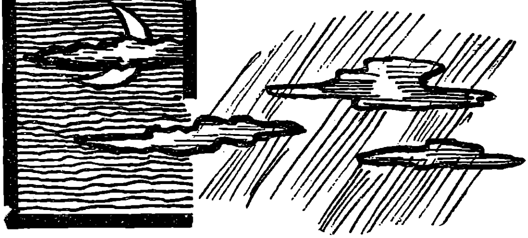
М. Е. Ленова отвезла на елку к Аксаковым свою дочку Надю, в этот день Иван Сергеевич Аксаков и подарил маленькой институтке «Дон Кихота». Есть на этой книжке даже след восковой, вероятно, елочной свечки, да и вся она хранит отсвет рождественского вечера в доме Аксаковых, елки с подарками для приглашенных детей и всего того, что прочтешь и в надписи Аксакова, и в письме Анны Федоровны, которое я счел правильным вклеить в книгу.

Действительно, не раз, держа эту книгу в руках, я вспоминаю о маленькой институтке, которую знал уже старой женщиной, и думаю о том, как нередко книги хранят на своих страницах незримую историю судеб своих бывших владельцев. А если полистать «Дон Кихота», когда зажжены свечи на рождественской елке и московская зима стоит за окнами, представишь себе и дом Аксаковых в районе Кудрина, и озабоченную Анну Федоровну, не слишком обласканную жизнью дочь одного из замечательных русских поэтов, соединившую уже не в молодые годы свою судьбу с Иваном Сергеевичем Аксаковым, предста-

вишь себе и его самого, вышедшего на гул детских голосов из своей рабочей комнаты с только-что надписанной книгой Сервантеса в руке, и маленькую, взволнованную институтку, с темными живыми глазами, розовую от смущения и радости, сделавшую движение ножкой, которое в ту пору называлось «книксен»... а подаренная ей книга попадет затем, через множество лет, в библиотеку писателя, который в меру своего умения расскажет о ее судьбе.

Это очень нежная и немного грустная повесть или, вернее, рассказ о странствии рыцаря печального образа, странствии уже в наши времена.

СТАРЫЙ РЫБАК



Отличнейший человек, превосходный переводчик «Гитанджали» Рабиндраната Тагора, Николай Алексеевич Пушешников как-то спросил меня:

— Не интересуетесь ли вы старыми бумагами и письмами? Мне предлагают приобрести один архив, но я его не видел.., если хотите, я направлю к вам этого человека.

И вот в 1925 году мне принесли огромную, плотно набитую бумагами наволочку. Когда, взяв наволочку за два угла, я высыпал ее содержимое на стол, то на минуту именно застыл, как говорится: сорок писем Гоголя к матери, рисунки и листки из записных книжек Достоевского, несколько писем Чаадаева, и среди них плотные зеленые тетрадочки малого формата, на которых стояло имя С. Т. Аксакова.

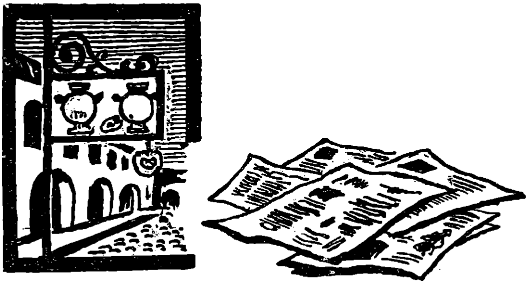
Все бумаги и письма оказались из аксаковского архива, пролежавшего где-то в подполице одного из строений

в Абрамцеве и немного меньше века спустя извлеченного на свет. В зеленых тетрадочках Аксаков вел счет отстрелянной им дичи, это был как бы прообраз будущих «Записок ружейного охотника», отдельно были и другие тетрадочки, в которые он заносил свои заметки рыболова. Архив этот при моем участии приобрела тогда Государственная академия художественных наук, он цел, находится ныне в одном из наших хранилищ, и я всегда с благодарностью думаю о Николае Алексеевиче Пушешникове, благодаря которому этот бесценный архив не погиб.

Я вспомнил об этом архиве, приобретя как-то первое издание книги С. Т. Аксакова «Записки об уженье» (1847) — эту энциклопедию сведений о рыбной ловле и вместе с тем справочник о природе, написанный чистейшим русским языком одним из чистейших по своему духовному облику писателей. На обороте желтой обложки книги, выпущенной без имени автора, есть надпись Аксакова: «Николаю Алексеевичу Елагину от старого рыбака — молодому». Н. А. Елагин был сыном А. А. Елагина и Авдотьи Петровны Елагиной, племянницы и друга поэта В. А. Жуковского; ее литературный салон был широко известен в Москве, бывал в нем и Пушкин.

Не знаю, перенял ли молодой рыбак от старого его заветы, но каждый раз, когда держу в руках книгу Аксакова с его надписью, я вспоминаю зеленые тетрадочки ружейного охотника, мелко исписанные, письма Гоголя к матери, рисунки Достоевского и радуюсь, что благодаря случаю архив этот не погиб. Недавно вышел «Путеводитель» Центрального государственного архива литературы и искусства; просматривая его, я нашел в нем кое-что знакомое из побывавшего в моих руках аксаковского архива и с удовлетворением подумал о том, что каждому из нас дано в той или иной мере помогать в деле собирания памятников нашей культуры; без этой высокой мысли любое книголюбие было бы только частным любительством, о котором и писать не стоит.





„ОПЕЧАТКИ"

Книга стихов под названием «Опечатки» вышла в свет в 1843 году без имени автора. Так и пошла она по свету, никого особенно не заинтересовав собой: разве только ее название казалось несколько странным. Но мало ли книжек стихов второстепенных или даже третьестепенных авторов вышло в первой половине XIX века, когда гений Пушкина и Лермонтова, подобно заговорившему вулкану, потряс землю, и на поверхность было выброшено немало поэтической магмы и вулканических бомб, которым с самого начала суждено было остаться окаменелостями.

Книга «Опечатки» не была бы написана, если бы образцом для нее не послужила пушкинская речь, и в ряде стихов вроде «Гитара» или «Фантазия» уже совсем сладкопевно ощущается влияние Пушкина. Но среди «Поэтов пушкинской поры», собранных Юрием Верховским, не встретишь хотя бы упоминания о книге «Опечатки». Лишь много лет спустя, попав в руки испытанного книжника П. П. Шибанова, книга эта удостоилась в одном из каталогов «Международной книги» такой, несколько таинственной аннотации: «Сборник стихотворений неизвестного поэта за 1837—1842 гг., начинается поэмой «Долорида» из А. де-Виньи. Редкая книжка».

Книги этой у меня не было, я знал о ней лишь по этой аннотации Шибанова, а книги с таинственной судьбой всегда запоминаются. Я не очень надеялся, что она когда-нибудь набежит на меня, но она все-таки набежала. Просматривая ее, читая в ней некоторые, совсем неплохие стихи, я задумывался: кто же все-таки ее автор и как отыскать его имя? Конечно, если поднимать архивы, особенно цензурные, то до многого докопаешься, но это

все же дело литературоведов, и то каждый раз по специальному поводу в зависимости от того, над чем работаешь.

Но совсем неожиданно на странице, где напечатано авторское обращение к «Рецензентам» (из Несторовой летописи по Лаврентьевскому списку): «Отцы и братие! Еже я где описал, или переписал, или не дописал, чтите, исправляйте бога для, а не кляните!» — на странице этой я нашел рукописную расшифровку имени автора: соч. Крешева.

Многоопытный Шибанов не знал этого имени. Поэт Иван Петрович Крешев родился в 1824 году, а умер в 1859, когда ему было всего 33 года. В 1862 году, уже после его смерти, вышла книга «Переводы и подражания», которая и значится в списке его немногих трудов, а об «Опечатках» ничего не было известно. Памяти Крешева были посвящены некрологи в «Русском инвалиде» и «Библиографических записках».

В одном из своих писем к П. В. Анненкову Белинский дает описание истинного облика издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского: «Вытащил он из мещанского общества (и тем спас от рекрутства) Буткова, но вытащил на деньги Общества посещения бедных и за такое благодеяние запряг Буткова в свою работу. Тот же не раз приходил со слезами жаловаться Некрасову на своего вампира... Но прежде вам надо сказать, что Бутков живет у Краевского вместе с другим молодым человеком Крешевым. Он дал им лишнюю комнату, взявши с каждого из них по 100 рб. серебр. в год». Кто же такой Бутков, живший вместе с Крешевым?

О Якове Петровиче Буткове обстоятельно рассказал в своей книге «Литературные встречи и знакомства» А. Милюков.

Бутков был автором книги рассказов «Петербургские вершины» и нескольких повестей, напечатанных в «Отечественных записках». Когда Бутков должен был идти в солдаты, А. А. Краевский купил ему рекрутскую квитанцию с тем, чтобы Бутков выплачивал за нее гонораром, причитавшимся ему за статьи. О том, как его и Крешева эксплуатировал Краевский, писал в своем письме к Анненкову Белинский, а Милюков, заключая свои воспоминания о Буткове, называет его горемыкой; таким же горемыкой был, видимо, и рано умерший Крешев.

Лишь много лет спустя удалось установить имя автора анонимной книги «Опечатки»; может быть, сам автор сделал эту надпись на своем экземпляре — кто разгадает тайны старинных записей, иногда раскрывающих то, что было предметом поисков не одного исследователя, а в данном случае и книжника: Шибанов по своей добросовестности описателя книг несомненно порылся в библиографических справочниках прежде, чем пустил в путь редкую книгу с таинственной аннотацией.

Теперь я смог отдать переплетчику книгу «Опечатки» с тем, чтобы на корешке он сделал надпись: «В. Крешев», возвратив книге свыше столетия спустя имя написавшего ее автора. Конечно, в название «Опечатки» молодой автор вложил тот смысл, что это незрелые стихи, которые в дальнейшем подлежат поэтическому исправлению: Крешеву, когда вышла его первая книга, было всего девятнадцать лет.

То, что в литературе остается невыясненным, нередко получает различное толкование. В одном из писем к Я. К. Гроту автором книги «Опечатки» П. А. Плетнев называет бывшего студента Санкт-Петербургского университета Гавриила Токарева, рассказ которого был напечатан в «Современнике».

В конечном итоге, для истории литературы не так уж важно, кто же именно автор «Опечаток» — безвестный Токарев или мало известный Крешев; важно то, что безымянная книжка дала возможность заглянуть на одну из страничек литературы, особенность которой состоит в том, что ничего не значащих страниц в ней не бывает: каждая выполняет какую-то роль.

И все же авторство Крешева — в силу расшифровки едва ли не рукой самого автора — представляется мне несомненным.



ИЗРЯДНЫЙ

В 1834 году в Москве, отпечатанная в типографии М. Пономарева, вышла тоненькая книжечка под названием «Каламбур» с подзаголовком: Стихотворение Изрядного. Раскрытия псевдонима «Изрядный» нет ни в одном словаре или справочнике, и неизвестный поэт так бы и мог остаться в неизвестности, если бы некоторые особенности его стихотворения не наводили на мысль о пушкинской среде.

Стихотворение это представляет собой своего рода дневник табакерки, поднятой на улице случайным прохожим. Табакерка повествует о том, куда она попала и что с ней произошло: вначале она попала к знатному вельможе, где «чинно каждый день французским сором наполняли, в карман тафтяный нежно клали». А затем она оказалась у писателя, которому ее отдал вельможа за поднесенные «в день счастливых имянин» стихи. Писатель проиграл табакерку в карты некоему жеманному франту. Франт запрятал табакерку в бюро — и вот: «Вдруг на другой день в час обеда я слышу говоры гостей. Тот говорит про Архимеда, другой об Тàците. Громчей Нибура величает третий; четвертый дух Карамзина тровожит силой междометий; тот вызывает Княжнина, тот Пушкина. О романтизме, другой парит о классицизме...» Далее табакерку дарят журналисту, и, пожалуй, нетрудно угадать, что табакерка попала в руки Фаддея Булгарина: «Он стал писать, и вот блеснула отрада злобная в очах. Он пишет критику. В словах поймал прозаика Федула. Не полюбила я его: всегда наморщенное злобой его бесцветное чело мне было грустною обновой. Возьмет меня, рука дрожит; он, забываясь, произносит: «кто ж задирать меня велит, придет

пора и нас попросит». По утру молодой поэт в его приходит кабинет и подает стихи. «Позвольте просить вас поместить в журнал». Но он с улыбкой отвечал: «Никак я не могу, увольте». «Да почему же?» «Потому: журнал мой слит с европеизмом, в нем пишут прозу лишь одну». «Как жалко, что не с руссицизмом в нем переводные статьи» «Бывают впрочем и мои». Поэт пошел. Хозяин злобно его глазами проводил. Черты лица его подробно в холодном сердце закалил».

Пожалуй, говоря современным языком, прочесть это надо: «взял на заметку», в соответствии с деятельностью Булгарина в пропилеях 3-го отделения. Далее, после некоторых эротических перепитий табакерка попадает к некоему «батиньке». «Мой батинька лет в тридцать пять, его претрудно разгадать: он ни Поляк, ни Россиянин, ни Малороссиянец, ни Жид, ни старовер, ни христианин, а как бы Русский езуит. Чистосердечьем щеголяет, сам бывши скрытен и лукав, как будто бы ужасный нрав его никто не поминает. Он перед низшими гордец, пред высшими уж очень низок. К приятелям он очень близок, но без участья их сердец».

Легкий и острый стих сам говорит по себе, что это шалость пера испытанного поэта, и я невольно стал размышлять, кто это может быть, и подумал о П. Вяземском. В одном из своих писем к нему из Одессы в 1823 году Пушкин писал о Шаховском : «...он право добрый малой, изрядный Автор и отличный сводник». Слово «изрядный» по отношению к литератору далеко не ходовое и могло остаться в памяти у Вяземского. Может быть, он и прикрыл свое авторство шутливого стихотворения «Каламбур» именно этим псевдонимом?

Я перечитал кое-какие его шутливые стихотворения из книги «В дороге и дома» и, право, с эпиграммическим циклом «Дорожная отметка» чем-то схожи эпиграммический «Каламбур». Конечно, все это лишь домысел, однако, чем богаче книга, тем больше дает пищи для домысла. Однако, домыслить авторскую надпись на книге стихотворений П. А. Вяземского «В дороге и дома», хранящейся у меня, я все же не смог: «Милой моей теске княжне Марии Григорьевне на память от автора. Апрель. 1866.» Как Мария смогла оказаться тезкой Петру — и не вообразишь.



ДОМ СУМАСШЕДШИХ

Александр Федорович Воейков остался в русской литературе не как переводчик «Садов» Делиля и не как объект пушкинской эпиграммы, а как автор ядовитой сатиры «Дом сумасшедших», где каждой сестре досталось по серьге. Поэт Д. Д. Минаев, тоже эпиграммист, так и назвал впоследствии две книги своих эпиграмм «Каждой сестре по серьге» и «Не в бровь, а в глаз».

Сатира Воейкова вышла в двух изданиях — в 1858 году в Берлине и в 1874 году в Петербурге, а в «Русском вестнике» за 1871 год появились воспоминания «Петербургского старожила В. Б.», под названием «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания». «Петербургский старожил» — псевдоним Владимира Петровича Бурнашева. В своих воспоминаниях Бурнашев воспроизводит в виде диалога разговор Пушкина с Воейковым, причем Пушкин, выслушав «Дом сумасшедших», будто бы сказал Воейкову, нахмурив брови: «Ну уж не через край ли вы хватили, Александр Федорович?»

Редакция «Русской старины», напечатавшая в одной из книжек «Дом сумасшедших» и «Парнасский Адрес-Календарь» Воейкова, а также биографический очерк о нем Н. И. Греча, сочла нужным в сноске сделать некоторые указания для «будущих историков литературных усобиц конца двадцатых и начала тридцатых годов».

Слава сатиры Воейкова вдохновила поэтессу Е. П. Ростопчину написать свою поэму-сатиру под тем же названием «Дом сумасшедших». Ростопчина умерла в 1858 году, а ее неопубликованная сатира находилась среди бумаг Н. В. Сушкова в Румянцевском музее, и «Рус-

ская старина» опубликовала ее в 1885 году в мартовской книжке. Здесь может быть начата история этого перефраза поэмы Воейкова, связанная с судьбой и личностью Ростопчиной.

Ростопчина не пользовалась симпатией современников, хотя хорошо входила в литературу, и Пушкин очень одобрительно отзывался о ее первых стихотворениях. Был с ней дружен и Лермонтов, написав ей в подаренном им альбоме: «Я верю под одной звездой мы были с вами рождены; мы шли дорогою одной, нас обманули те же сны...»

В дальнейшем, однако, и в характере, и в умонастроениях Ростопчиной произошли весьма разительные изменения.

Двухтомному изданию сочинений Ростопчиной, вышедшему в 1890 году, предпослан биографический очерк ее родного брата Сергея Сушкова. В очерке этом, весьма реакционном и неуважительном по отношению к ряду больших писателей, Сушков старается изобразить поэтессу как личность передовую, что находится в резком противоречии с мнением о ней Чернышевского, Огарева или Некрасова.

В 1851 году в «Москвитянине» Ростопчина выступила с письмом в адрес Ф. Н. Глинки, умиляясь его поэмой «близкой всякой душе христианской», и далее поэтесса хулит «век реализма и скудости духовной, прикрытой нынешним именем разума и рассудка». Письмо это вызвало резкую отповедь в некрасовском «Современнике», а далее и Добролюбов написал резкий отзыв о романе Ростопчиной «У пристани»; автором же первой отрицательной рецензии о ее стихотворениях оказался Н. Г. Чернышевский.

Брат поэтессы, выступая в ее защиту, чернит не только Чернышевского, но и Некрасова. Однако и Огарев счел нужным опубликовать стихотворение «Отступнице» (Посвящено гр. Р . . й), в котором писал: «Но вы какому-то французу свободу поносили вслух и русскую хвалили музу за подлый склад, за рабский дух. Меня тогда вы не узнали, и я был рад: я увидал, как низко вы душою пали, и вас глубоко презирал». Вполне естественно некоторые передовые критики утверждали, что сатирические стихи Ростопчиной «Дом сумасшедших» имели

целью со стороны графини «излить накопившуюся в груди ее злобу против литературных врагов».

Все это достаточно известно тем нашим литературоведам, которые изучали полемическую деятельность «Современника». Но в моей библиотеке есть оттиск «Дома сумасшедших» из «Русской старины», принадлежавший выдающемуся знатоку русского языка Ф. И. Буслаеву с его пометками. Оттиску сопутствует переписка Ростопчиной с ее дядей Н. В. Сушковым, которому она собиралась посвятить свою сатиру. Сушков оказался человеком рассудительным: «...На записку твою скажу тебе, что ты клевещешь на меня, будто я уговаривал тебя писать в таком духе...— пишет своей племяннице Сушков.— Кроме уж моих лет, мне ни в каком случае неприлично путаться в такие юные дела. Итак, уволь меня от этой пиесы, т. е. от посвящения. Кстати ли мне выйти на ссору со всеми приятелями литературными и политическими?.. Что хочешь пиши обо мне, только не клевещи, что я дал тебе мысль, чтобы я сочувствовал духу и направлению твоих сатир и эпиграмм... Герцен уже тиснул на тебя стихи Огарева. Ходят по Москве».

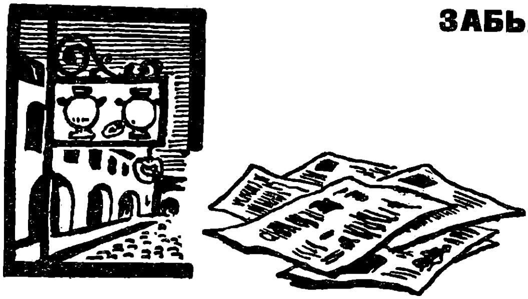
Тем не менее, сатира вышла с посвящением «на елку дяде Николаю Васильевичу Сушкову». Сатира не столько злая, сколько злостная, в которой Ростопчина высмеивает и М. С. Щепкина, и Герцена, и Орсини, и В. Ф. Одоевского...

Поэт П. В. Шумахер обратил к Ростопчиной уничижительное стихотворение: «К сочинениям......ной»:

«С фальшивым паспортом поэта, всю гниль великосветских зал, всю пустоту большого света — она возводит в идеал. Слагает пошлость в стих и стопу...», а далее стихотворение это, напечатанное в заграничном сборнике «Моим землякам», и совсем нецензурно.

Славы «Дом сумасшедших» Ростопчиной не прибавил; поэтесса она была все же не плохая, не в пример Авдотье Глинке, выпустившей в 1869 году довольно пухлый сборник своих стихов «Задушевные думы». Он считается редкостью, потому что был выпущен не для продажи, о чем значится на переплете, но стихи в нем плохие; писала Авдотья Глинка и романы, ныне вполне забытые: «Графиня Полина» и «Леонид» и сентиментальную повесть «Гибель от пустого чванства». Ростопчина, как поэтесса, была, конечно, на голову выше Авдотьи Глинки, но

случай с «Домом сумасшедших» лишь подтверждает ту истину, что писатель должен быть, выражаясь по-старинному, существом возвышенным и руководствоваться лишь возвышенными чувствами; а низменное неизбежно не только обращается против него, но и в огромной степени умаляет то достойное, что он все-таки сделал.



ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

К моему отцу часто приходил табачник, набивавший для него папиросы: тогда существовала профессия набивальщика папирос, и известная фирма Катык славилась своими гильзами. Я не очень уверен сейчас в этом, но, кажется, фамилия набивальщика была — Аниканов. Вместе с коробками, в которых были сотни набитых им папирос, набивальщик приносил еще время от времени пухлые, отпечатанные на плотной, как картон, бумаге книги в голубых и розовых обложках; книги эти издавал суриковский кружок, к которому принадлежал и сам набивальщик: его стихи тоже печатались в этих сборниках.

Я помню высокую чуть сутулую фигуру грустного бородатого человека, которого взрослые называли поэтом из народа. У поэтов-суриковцев, почти у каждого, была нелегкая судьба, и лица у них были грустные, под стать грустному лицу самого Сурикова, портрет которого я увидел впоследствии. В сюртуке купеческого покроя или, вернее, покроя приказчичьего, подперев голову рукой, смотрел он светлыми, видимо, серыми или голубыми глазами в печальную даль своей трудной поэтической судьбы.

«Не проси от меня светлых песен любви; грустны песни мои, как осенние дни» — эти строки были предпосланы книге его стихотворений в посмертном издании К. Т. Солдатенкова. А в том, что печальны были лица и большинства поэтов-суриковцев, я убедился, приобретя как-то — из опасения, что это пропадет — остатки архива поэта М. А. Козырева, автора книжечки стихов «Думы и грезы — нужды и слезы», вышедшей в 1881 году. «Ну так что-ж за беда, если в доме нужда, как весною река широка, глубока — разливается? Не впервой ее знать, уж не плакать же стать,— может, счастье и нам как-нибудь, хотя там... а достанется» — с горькой иронией писал Козырев. Среди его семейных фотографий оказалась страница из иллюстрированного приложения к газете «Московский листок» с портретами участников «кружка писателей из народа», а кружок именовался «кружком памяти поэта-крестьянина И. З. Сурикова». Среди портретов И. Белоусова, С. Дрожжина, Дерунова, Шкулева я нашел портрет, как мне кажется, того набивальщика папирос, который приходил к моему отцу, попутно распространяя и суриковские издания.

К поэтам-суриковцам, хотя у большинства из них было и небогатое дарование, я испытываю особое чувство: в бедности и мечтах шли они своей поэтической дорогой, верили в будущее, несмотря ни на что, и если каждый в отдельности и не оставил большого следа в литературе, то совокупность их имен все же определяет целую поэтическую плеяду, и судьбы многих поэтов, будь у них другая жизнь, может быть, были бы более примечательными.

В одну из моих поездок по русскому Северу мне привелось познакомиться в Архангельске с поэтом, тоже из суриковского кружка, Максимом Леоновичем Леоновым, отцом известного ныне писателя Леонида Леонова. Жизнь у него была тоже нелегкая, служил он в одном из книжных магазинов, а книги, которые он сам написал в свое время, были уже далеко позади. В 1898 году, не в пример тоненькой книжечке М. Козырева, вышло в Москве второе дополненное издание стихотворений Максима Леонова. До этой книги у него вышли сборник стихотворений и рассказов «Звезды» и два сборника стихотворений «Думы» и «Нужды». Слово «думы» было весьма распространенным, в кольцовской традиции, у поэтов-суриковцев.

Многие стихотворения Леонова были посвящены писателям той поры — С. Д. Дрожжину. И. А. Белоусову, Ф. Шкулеву, тому же М. А. Козыреву, а названия стихотворений «Эх, нужда злодейка» или «Не о том скорблю я, милая, что с тобою мы бедны» говорили о печальной настроенности автора. Книга стихотворений Максима Леонова у меня с авторской надписью, однако, несколько неожиданной в том смысле, что поэт, которому подарена книга, является прямым антиподом Леонову с его скорбной и все же отчасти гражданской поэзией.

В 1895 году вышла книга «первого смелого русского декадента», как сказано в предисловии,— А. Н. Емельянова-Коханского. К книге этой, напечатанной на розовой бумаге, приложен портрет автора в обличии демона с декоративными крыльями за плечами и в оперном плаще. Книга называется «Обнаженные нервы», а в подзаголовке титула сказано: «Посвящается Мне и Египетской царице Клеопатре». По забавной случайности книга отпечатана в типографии, помещавшейся в доме Иерусалимского подворья в Москве.

Эпиграф к книге, напечатанный на обложке, весьма мрачный: «Близок последний и грозный мой час! Труп мой снесут на кладбище. Бедные черви! Жалею я вас: глупая будет вам пища».

Мрачное это четырехстишие всегда приписывалось Емельянову-Коханскому. Однако оно принадлежит спившемуся и погибшему на Хитровом рынке поэту Павлу Николаевичу Дмитриеву. О нем горестно пишет в своей книге «Смех и слезы» сотрудник журнала «Развлечение» С. А. Епифанов, упоминая о том, что эти предсмертные слова покойного Дмитриева Емельянов-Коханский выдал за свои.

Книжечка «первого смелого русского декадента» весьма претенциозная, и чистейшая надсоновская лирика перемежается в ней со стихами вроде: «Движеньем мизинца, наградою рынца, и вкусом гостинца, испугом родимца, пойдем насладимся...» Впрочем, в предисловии автор предупреждает: «За неисправление остальных мелких опечаток мы представляем полное право нашим врагам называть нас безграмотными... Мы же прощаем маленькие ошибки хорошенькой женщине».

Столь разительная дистанция от поэтов-суриковцев не помешала однако Максиму Леонову подарить именно

«первому декаденту» свою книгу с надписью: «Многоуважаемому Александру Николаевичу Емельянову-Коханскому собрату по перу на память», и сколь бы ни было различие этих поэтов, книжки их, стоящие рядом, воспроизводят эпоху, отдаленную не только временем, но и тем, что имена ряда поэтов бесследно исчезли и даже историки литературы вряд ли вспомнят о них...



ПЕСНЯ О КОМАРИНСКОМ МУЖИКЕ

В Ярославле, на улице Трефолева, на доме, в котором жил поэт Л. Н. Трефолев, есть мемориальная доска: «В этом доме жил в 70-х годах XIX века известный поэт и историк Ярославского края Леонид Николаевич Трефолев».

Недавно побывав в Ярославле, я остановился в раздумье перед этой доской. Есть имена поэтов, просиявшие в свою пору, оставшиеся в памяти читателей и в истории литературы, хотя их песни никогда не были народными. Но есть и такие поэты, песни которых широко уже добрых полвека или даже целый век поет народ; песни, которые сроднились с историей нашего народа, стали поистине народными песнями, но имена тех, кто создал эти песни, или позабыты совсем, или звучат глухо, притушенно, потому что история литературы не выдвинула их, а лишь констатировала наличие того или другого поэта.

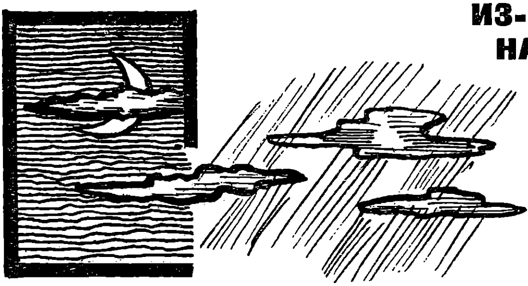
Глядя на доску с именем Трефолева, я вспомнил о его судьбе. Он жил в Ярославле, его поэтическим учителем был Некрасов; Трефолева знал Чехов и переписывался с ним. Трефолев оставил всего один том стихотворений, вы-

шедший впервые в 1894 году и переизданный в наше время в Ярославле. Есть в этом томе стихи сильные, хорошие; есть менее сильные, как это свойственно каждому поэту. Но в томе этом есть и одно стихотворение, которому суждено было покорить время,— «Песня о камаринском мужике». Если говорить о скорби и сострадании, о надеждах и прозрении лучшего будущего, то песня Трефолева вобрала все это в себя, и если бы Трефолев написал лишь одно это стихотворение, то и оно открыло ему путь в большую литературу; его первая книжечка «Славянские отголоски» не оставила никакого следа.

Подобно Трефолеву, поэт А. А. Навроцкий (Н. А. Вроцкий), автор «Русских былин и преданий в стихах», остался в литературе тоже благодаря одному стихотворению — «Утес Стеньки Разина». Я не хочу этим умалить многое другое, что написали оба поэта: я говорю лишь о том, что широко известно народу, что стало его песнью. Всегда трудно проследить взаимодействие смежных искусств — скажем, изобразительного искусства и литературы,— но, может быть, отчасти Навроцкому обязан темой «Степан Разин» художник В. И. Суриков, а уж если говорить о русском революционном движении, то «Утес Стеньки Разина», подобно «Дубинушке», был своего рода факелом, освещавшим путь целому поколению...

А. А. Навроцкий оставил книги: «Картины минувшего», вышедшие в 1881 году, «Сказания минувшего» (1897), частично повторявшие первую книгу, и сказание в стихах «Россия» (1898), начинавшееся строками: «На вершинах Балкан, на утесе одном, замерзая в снегу на одре ледяном, умирал позабытый солдат...»

Я радуюсь, что в Ярославле есть улица Трефолева, и сожалею, что нигде и ничем не отмечена память о Н. Цыганове, авторе песен «Соловей мой, соловеюшко», «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», «Ах! чарка моя, серебряная!», «Ах ты, ночка, моя ноченька — ночка темная, осенняя!», глубоко проникших в русскую народную лирику. Книги Цыганова, Навроцкого, А Мерзлякова стоят у меня в книжном шкафу рядом с Фетом, Полонским, Плещеевым, Блоком, и я полагаю, что ни один из этих признанных поэтов не отрекся бы от полузабытых Цыганова или И. Макарова, с его пронзительной песнью «Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка...», которую обессмертил композитор А. Гурилев.



ИЗ-ЗА ОСТРОВА НА СТРЕЖЕНЬ

Дмитрий Николаевич Садовников умер, когда ему было всего 37 лет. Он был собирателем народных песен и пословиц, оставив книгу «Загадки русского народа», которую и поныне не минует ни один исследователь русского народного творчества. Но не эта работа, при всех ее качествах, увековечила имя Садовникова. Не один молодой голос и в наши времена выводит, особенно где-нибудь на речном просторе, песню, ставшую своего рода песней о русской вольности: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выбегают расписные, острогрудые челны...»

Песне о Стеньке Разине суждено было обойти полным кругом ряд предреволюционных десятилетий, подобно «Утесу Стеньки Разина» Навроцкого, и сколько раз — на Волге, или на Северной Двине, или на Енисее—привелось мне слышать эту песню Садовникова, которую не одно поколение знало наизусть, но мало кто знал имя автора этой песни, она — подобно роднику — как бы вытекала из самой земли, и было даже странно предположить, что кто-то один сочинил ее...

В 1911 или 1912 году (точной даты нет) в издании В. С. Терновского вышла книга «Песни Волги» Д. Н. Садовникова. Помимо того, что Терновский был издателем книги, он написал еще и предисловие к ней; книге предпослан также обстоятельный биографический очерк. «Поэзия есть сердечная тревога общества» — по-моему, это хорошо сказано, и этими словами открывается книга Садовникова, включающая его поэтическое наследство. «Садовников лежал под спудом, пока любящая рука почитателя его таланта бережно не коснулась тех журналов и газет, в которых был заключен он от публики, как в склепе...

Много, повторяю, хлопот пришлось вынести, извлекая из полуистлевших журналов на свет божий поэтический жемчуг Садовникова... После своего 27-летнего вынужденного лежания под спудом,— песня Садовникова вышла на волю, чтобы «любое сердце расколышить, любые цепи разорвать» заключает свое предисловие издатель книги и почитатель поэзии Садовникова Василий Терновский.

Но был и другой поэт-волжанин — Сергей Мельников, который не только пел песни о Волге, но и размером «Из-за острова на стрежень» написал целую поэму о Стеньке Разине, посвященную памяти Садовникова. Издатель счел нужным дать к книге Садовникова «Приложение», состоящее из стихотворений о Стеньке Разине Сергея Мельникова, причем издатель напоминает о том, что в свое время стихи Мельникова были в огромной степени созвучны стихам Садовникова и одного поэта принимали за другого.

На высоком берегу Волги в Вольске недавно установлен памятник на могиле хорошего советского писателя Александра Степановича Яковлева, завещавшего похоронить себя именно на берегу своей родной реки. После смерти Яковлева, просматривая книги его библиотеки, я нашел чуть ли не все, что было когда-либо написано о Волге, вплоть до сборника стихов поэта сороковых годов прошлого века А. Демидова, о котором безжалостно написал в свою пору Белинский; но среди стихов Демидова, волжанина по происхождению, было одно стихотворение о Волге, и именно поэтому Яковлев и хранил книжку. Книги стихотворений Садовникова я у него, однако, не нашел: может быть, Яковлев тоже не знал, что знаменитую песню об атамане Стеньке Разине сочинил Садовников; он мог считать ее песней, рожденной самой Волгой, полагая, что некоторые песни рождаются сами собой, приукрашаются по пути своего следования и просто поются, как дышишь воздухом, не размышляя о том, что он состоит из азота и кислорода.

Признаюсь, долгие годы стояла у меня на полке книга Садовникова «Загадки русского народа», и я не знал, что ее автор и поэт; не знал я и того, конечно, что восприемником поэтического наследства Садовникова был ценивший его Я. П. Полонский.

Почти целый век поет народ песню Садовникова, не ведая имени ее автора, но в этом, может быть, и состоит

его слава: если поэтическое слово становится в такой степени народным, что оно кажется созданием самого народа,— о какой лучшей судьбе может помыслить для себя поэт?



„СОБАКИ"

Веньямин Михайлович Лебедев был не только отличным книжником, ему были присущи и хорошие душевные качества: уважали и ценили его многие. Как истинный книжник, он любил доставлять радости тем, кто привержен к книге и понимает ее. Доставлял нередко он радости и мне, присылая из Ленинграда то редкую книжку, то чей-либо автограф.

Как-то Веньямин Михайлович прислал мне два титульных листка из книг Я. Полонского и Н. Щербины с их автографами.

«Не откажите принять эти два автографа в ваше собрание»,— написал он мне, уверенный, что автографы эти придутся к делу. Мне захотелось, как это нередко делают книголюбы, найти книги, из которых автографы были вырваны, и вклеить их на место: пусть это будут другие экземпляры, суть от этого не меняется.

Книга стихотворений Н. Щербины у меня была, и я просто вклеил автограф и украсил им книгу. А шуточной поэмы Я. Полонского «Собаки» у меня не было, и я решил поискать ее. Как это зачастую случается с самыми рядовыми книгами, они вдруг прочно исчезают из обихода: мне попалось множество экземпляров сборников стихотворений Полонского — «На закате», или «Вечерний звон», но «Собаки» бесследно исчезли с книжных просто-

ров. «Сбежали ваши собаки»,— посочувствовал мне знакомый букинист.

Как-то мне позвонил по телефону неизвестный человек и спросил, не поинтересуюсь ли я кое-какими книгами из его библиотеки, с которыми он решил расстаться. Такие встречи с книгами, нередко радующие находками, всегда любезны сердцу книголюба, и в условленный день я пошел в один из арбатских переулков посмотреть эти книги. То, с чем владелец решил расстаться, оказалось коллекцией заграничных изданий книжек Л. Н. Толстого в большинстве по религиозным вопросам,— мне это было не нужно, но среди книжек и брошюрок Толстого я неожиданно увидел поэму Полонского «Собаки».

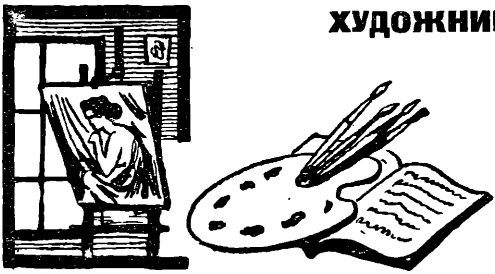
— Уступите мне эту книжку,— попросил я,— а другие мне не нужны.

Владельцу, естественно, не было никакого смысла продавать одну, к тому же совершенно дешевую книгу, и мы не сговорились. Однако «Собаки» стояли перед моими глазами, и не потому, что были мне особенно нужны, но если уж речь идет о «собаках», то чисто из охотничьего интереса: книжник всегда, подобно охотничьей собаке, делает в ряде случаев своего рода стойку. Некоторое время спустя я снова пошел к владельцу толстовских книжек и на этот раз уговорил его уступить мне «Собак» Полонского. Книга была порядком истерзана, я отдал ее переплетчику, вклеил автограф и поставил на полку. А неделю или две спустя я увидел «Собак» на развале в одном из букинистических магазинов и даже несколько огорчился, что с такими стараниями добывал свой экземпляр. Затем еще раз, уже в другом магазине, я снова увидел их: экземпляры этой книжки словно полезли из земли, как грибы, и даже в купленном мной как-то «Сборнике романов, рассказов и стихотворений», изданном в 1893 году в Москве, я на первом месте обнаружил... юмористическую поэму Полонского!..

— А с книгами всегда так,— сказал мне тот же умудренный книжник,— стоит только кликнуть клич, и они со всех сторон сбегутся.

Некоторая правда была в его словах: так, почти ненаходимый «Опыт просвещения в России» радищевца Пнина попался мне три раза кряду, а затем исчез и больше я его не встречал; то же было и с «26-тью московскими лжепророками, лже-юродивыми, дурами и дураками» Прыжова, книгой тоже редчайшей и попавшейся мне за ко-

роткий срок несколько раз, а затем прочно исчезнувшей. Но с «Собаками» Полонского получилась поистине целая псарня; однако, с тех пор, как они окружили меня, ни одного экземпляра я больше не встретил.



ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН

Книгопродавец Андрей Иванов выпустил в 1845 году книгой большого формата известную повесть В. А. Соллогуба «Тарантас». Повесть эта имела успех и принесла Соллогубу известность наравне с другой его повестью «История двух калош».

Издатель Иванов выпустил книгу Соллогуба отлично, со множеством рисунков и политипажей, и она почти сразу же вошла в строй русских книжных редкостей. Особенно редкими считаются экземпляры с раскрашенной от руки рамочкой фронтисписа, на котором изображен распряженный тарантас.

По всем справочникам, включая известное исследование Обольянинова «Русские иллюстрированные издания», рисунки в тексте «Тарантаса» принадлежат художнику Агину. Однако это совсем не так, и весьма обидно, что имя замечательного русского рисовальщика, современника и друга Лермонтова, Г. Г. Гагарина оказалось не только забытым, но и принадлежащие ему рисунки были приписаны другому художнику. В воспоминаниях В. А. Соллогуба есть такие строки о «Тарантасе»: «Мы строили его в дни нашей молодости с Гагариным, так прекрасно украсившим и доставившим ему, бессомненно, неожиданный успех». Соллогуб указывал и на то, что «Тарантас» был им написан текстом к рисункам Гагарина». Почему

же острые, сатирические рисунки Гагарина были приписаны Агину, прославившемуся своими иллюстрациями к «Мертвым душам» Гоголя?

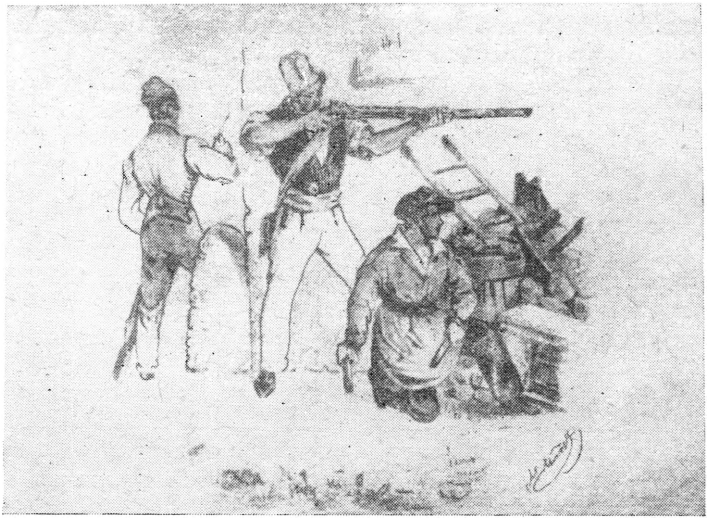
По отношению к превосходному рисовальщику и наблюдателю жизни Гагарину существовала некая аберрация в его оценке: Гагарин представлялся романтиком, неспособным на те жесткие и сатирические изображения, какие отличали Агина или Тимма. Однако его поездка в Казань в 1839 году дала ему обширнейший материал именно для того рода едких бытовых зарисовок, какие легли в основу его иллюстраций к «Тарантасу». Об этом обстоятельно рассказано в книжке А. Савинова «Григорий Григорьевич Гагарин», выпущенной в 1951 году издательством «Искусство».

Книгопродавец Андрей Иванов выпустил «Тарантас» без малейшего упоминания о том, кто является автором рисунков, и их приписали Агину еще и потому, что Гагарина долгие годы считали лишь дилетантом в живописи, как считали, конечно, дилетантом и Лермонтова, кстати совместно с Гагариным написавшим некоторые акварели; так и поныне не раскрыта полностью история рисунков Гагарина к «Тарантасу». Но есть и еще одна книжка с неразгаданным автором рисунков в ней, носящая название «Жизнь без горя и печали». Солдатская сказка Ива Меркулыча Щираго, изданная в Санкт-Петербурге в 1848 году.

Искусствовед и знаток книжных иллюстраций, ныне покойный Абрам Маркович Эфрос, подарил мне эту книжку со следующими сопутствующими словами:

— Книжка эта особенная. Заставки и рисунки в ней выполнены Тарасом Шевченко. Уверен, что это безошибочно.

Заставки в книжке, действительно, чрезвычайно похожи по своей манере на рисунки Шевченко, да и по своей теме похожи; впрочем по теме похожи они и на рисунки П. А. Федотова: николаевские солдаты на дороге, военный повар, с пистолетом за поясом, жарит рыбу, полосатый верстовой столб с проходящими мимо служивыми в киверах и такой же служивый у свернутого знамени и барабанов. Да и посвящена книжка «землякам служивым на забаву» и представляет собой своего рода «Василия Теркина», только сороковых годов прошлого столетия, а ее автор — Александр Фомич Погоский.



К. Лемох. Коммунары на баррикадах Парижа

«Что ж Меркулыч! до привала хоть бы сказочку сказал, коли сила не устала, а ведь помнишь, обещал» и далее: «Я с рекрутства знал про это: пономарь мне толковал, что такой уж вид у света, словно шар. Коли не врал, видно, правда. И божиться не боялся он греха, что земля еще вертится, вот уж это чепуха!»

Я дорожу этой книжечкой с приметами того времени — приметами николаевской поры; возможно, что рисунки в ней, действительно, Тараса Шевченко, и я бы порадовался, если бы это подтвердилось. Порадовался бы я и тому, если бы «Тарантас» Соллогуба был выпущен с теми замечательными рисунками Гагарина, которые украшают издание 1845 года, и уж, конечно, с указанием, что это рисунки Гагарина. Всегда радует, когда справедливость в конечном итоге торжествует.

Однако иногда художник хотя и известен, но та или иная неизвестная работа проливает новый свет на его устоявшуюся биографию.

В своих воспоминаниях о передвижниках художник Я. Д. Минченков посвящает главу живописцу-жанристу Кириллу Викентьевичу Лемоху. Лемох в свое время пре-

подавал рисование детям императора Александра III, считался художником, приближенным ко двору, и Минченков, вспоминая о нем, пишет, что Лемох отличался крайней осторожностью в суждениях, особенно политического порядка. А в своей живописи, как известно, академик Лемох изображал главным образом крестьянских детей или жанровые сцены: ряд таких работ Лемоха есть и в Русском музее, и в Третьяковской галерее.

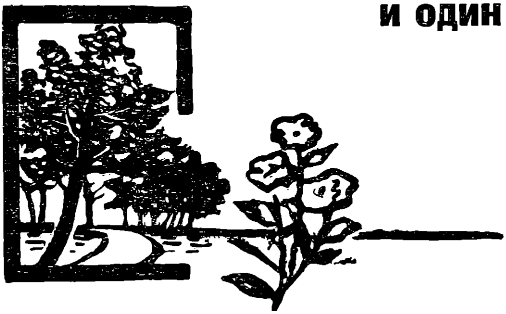
И все же не столь уж аполитичен и привержен к своим августейшим ученикам был Лемох: один из его рисунков свидетельствует совсем о противоположном. На этом неизвестном рисунке Лемох, внося существенную поправку в свою биографию, изобразил коммунаров на баррикаде, причем не только с явным сочувствием, но и со зримым восхищением их мужеством.

Рисунок этот принадлежал в свое время писателю с грустной судьбой Степану Степановичу Семенову-Волжскому. Этот незадачливый, щепетильной скромности, с кроткими детскими глазами литератор был в то же время редактором-издателем ряда журналов и альманахов, мотыльковое существование которых не приносило ему ничего, кроме огорчений и бед. В Центральном Государственном архиве литературы и искусства хранятся кое-какие рукописи Семенова-Волжского, как и ряд писательских писем к нему. Но это, конечно, лишь бренные остатки некогда большой переписки: сотрудниками журнала и альманахов «Новая жизнь» были и А. Блок, и В. Брюсов, и А. Чапыгин, и С. Подъячев, и много других писателей, сердечно относившихся к кроткому и бескорыстному Степану Степановичу Семенову-Волжскому.

Вручая мне рисунок Лемоха, Степан Степанович с грустной иронией сказал:

— Вот иногда найдешь, что затеряно, подержишь в руках и задумаешься: а может, и не совсем затеряно... может, придет время, и вспомнит кто-нибудь, найдет и осветит.

Конечно, говоря это, он не думал о своей судьбе... но, вспоминая эти слова и рисунок Лемоха, я радуюсь поводу напомнить о забытом литераторе Степане Степановиче Семенове-Волжском.



И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Писатель Григорий Александрович Мачтет прожил сложную жизнь: он был и земским учителем, и простым чернорабочим в Америке, знал и заточение в Петропавловской крепости и ссылку в Сибирь, и кочевья по городам и весям Руси, когда после возвращения из ссылки ему запрещено было царским правительством проживать и в Петербурге, и в Москве...

Рассказы Мачтета из сибирской жизни, вместе с романом, получившим известность «И один в поле воин», были выпущены в 1887 году издательством К. Ф. Одарченко. Случай привел меня встретиться с вдовой Мачтета, Ольгой Николаевной, женщиной, несомненно, мужской воли. В пору, когда я познакомился с ней, она была, конечно, уже глубокой старухой, сохранившей, однако, осанку и повелительность совсем не старческого голоса.

В 1952 году отмечалось столетие со дня рождения Мачтета. В городе Зарайске, где Мачтет некоторое время, со второй половины восьмидесятых годов, жил, состоялось открытие мемориальной доски на доме, фотографию которого хранила Ольга Николаевна. Интерес к имени ее мужа, которого она считала забытым, несомненно тронул ее.

— Хотите, я дам вам одну фотографию? — предложила она.— На ней снят Григорий Александрович с дочерью Таней.

Она дала мне эту фотографию писателя, судьбой которого я, действительно, заинтересовался и который в ту пору был почти забыт; ныне Государственное издатель-

ство художественной литературы выпустило два тома его сочинений.

О Мачтете я знал лишь, что одно из его стихотворений, ставшее песней, очень любил В. И. Ленин. Стихотворение это называлось «Замучен тяжелой неволей» со строфой: «Но знаем, как знал ты, родимый, что скоро из наших костей поднимется мститель суровый и будет он нас посильней!» Песня эта была на службе революции, сыграли прогрессивную роль и романы Мачтета «И один в поле воин» и «На заре».

В собирательстве существует одна странная закономерность; впрочем, может быть, она и не странная: когда заинтересовываешься чем-либо, неожиданно находишь одно за другим связанное с этим, и находки превращаются постепенно в своего рода отличительное собрание. К фотографии, подаренной мне Ольгой Николаевной Мачтет, присоединилась вскоре книга Мачтета «Повести и рассказы» с надписью мельчайшим почерком: «Многоуважаемым Мине Карловне и Николаю Алексеевичу Каблуковым за привет, тепло и ласку на добрую память автор. 1 янв. 1887». Николай Алексеевич Каблуков был родным братом прославленного физика почетного академика Ивана Алексеевича Каблукова. Восьмидесятые годы были годами самых тяжелых странствий Мачтета, лишь с 1891 года он прожил оседло пять лет в Зарайске. В эти годы, если задуматься над биографией Мачтета, он особенно нуждался в тепле и ласке, и тем самым дарственная надпись на его книге получает и глубоко биографическое звучание.

Но Мачтет делал и стихотворные надписи, и одна из таких надписей есть на его книге об Америке «По белу свету...» (очерки американской жизни), вышедшей в 1889 году в издании А. А. Карцева. На передней крышке переплета вытиснена золотом надпись: «Евгении Эдуардовне Паприц от автора», свидетельствующая о том, что владелица весьма дорожила книгой; но, возможно, сам автор захотел таким переплетом отметить особенность своего подношения, украшенного стихотворным посвящением:

Ты не грусти, что солнце скрыли тучи,—
Они уйдут,— их буря разнесет!..
И не дрожи, что зло еще могуче,
Что смолкла жизнь и стон кругом идет.

Гляди,— опять сверкает солнце ясно,
Тепло и свет на землю с неба льет...
Проснется жизнь и снова так же страстно
На чудный пир с тобой нас позовет!

Гр. Мачтет

Евгения Эдуардовна Паприц была певицей, исследовательницей музыки и переводчицей Маркса и Энгельса на русский язык: в начале 80-х годов существовало нелегальное «Общество переводчиков и издателей», издавшее несколько работ Маркса и Энгельса; была в переписке с Энгельсом и М. К. Каблукова, статистик и публицист народнического направления.

Тем бо́льший интерес, говорящий об общественных и литературных связях Мачтета, приобретают обе надписи на его книгах.

Следует сказать, что американские очерки Мачтета предшествовали книгам «Без языка» Короленко и «Город желтого дьявола» М. Горького. Я прочел очерки Мачтета впервые и ощутил, что по своему смыслу и звучанию они не ушли далеко в прошлое: в них есть многое и от современной Америки.

К книгам Мачтета я присоединил и книгу стихов его сына, поэта Тараса Мачтета, которого знал лично: это был грустный, невысокого роста человек, когда-то постоянный посетитель литературных вечеров, особенно вечеров Союза поэтов, всегда притушенный, молчаливый и неудачливый; в ту пору я не знал, однако, что это сын писателя, да и имя писателя было знакомо мне больше понаслышке.

Так рождается чувство к писателю, книги которого как бы сами собой приходят к тому, кто интересовался их автором, причем книги особенные, не только с автографами, но и хранящие следы биографии автора. А если вспомнить, что песня «Замучен тяжелой неволей» волновала поколение, к которому принадлежал Ленин и что песню эту пели на похоронах Ленина и с нею встретили смерть молодогвардейцы Краснодона, то писатель этот становится и совсем близок...

КНИГИ И ИХ ДВОЙНИКИ



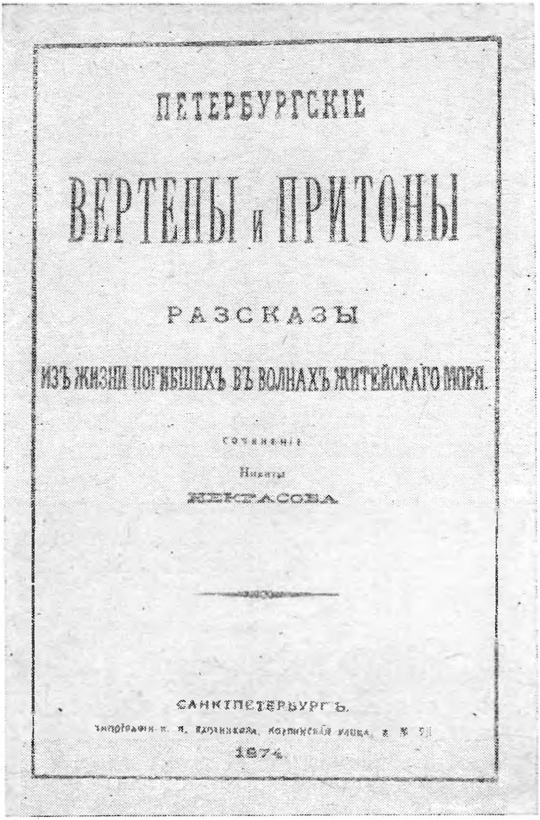
Писатель Всеволод Крестовский прославился своим романом «Петербургские трущобы». Роман печатался в 1864—1866 годах и им зачитывались русские читатели, помнившие еще «Парижские тайны» Эженя Сю — роман о трущобах Парижа.

Но если роман Сю был социальным, то роман Крестовского лишь авантюрным, однако и в нем русский читатель выискивал социальные оттенки, поскольку речь шла об униженных: со времени «Шинели» Гоголя и «Бедных людей» Достоевского тема эта волновала русское общество.

Роман Крестовского вышел в годы, когда уже широко известно было имя Н. Некрасова: его четырехтомное собрание стихотворений вышло в 1869 году в издании книгопродавца Звонарева. Изданию этому предшествовал томик стихотворений Некрасова, выпущенный в 1856 году К. Солдатенковым и Н. Щепкиным; да и редактируемый Некрасовым «Современник» приобрел популярность.

У чужого камелька всегда можно погреть руки. В 1874 году некий Никита Некрасов выпустил сборник рассказов под названием «Петербургские вертепы и трущобы», перефразируя заглавие популярного романа Крестовского и несомненно вводя в заблуждение читателей; но этого показалось ему мало: фамилия «Некрасов» была напечатана крупными буквами, а имя «Никита» столь мелкими, что читатель мог предположить в качестве автора именно Н. Некрасова, тем более, что на издательском переплете было напечатано золотом на корешке просто — Некрасов.

Фальсификация была двойная, и Никита Некрасов несомненно отрезал купоны и с авторской славы Н. Некра-


ПЕТЕРБУРГСКІЕ

ВЕРТЕПЫ и ПРИТОНЫ

РАЗСКАЗЫ

ИЗЪ ЖИЗНИ ПОГИБШИХЪ ВЪ ВОЛНАХЪ ЖИТЕЙСКАГО МОРЯ.

сочиненіе

Никиты

НЕКРАСОВА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1874.

Титульный лист книги Никиты Некрасова

сова, и с популярности В. Крестовского. Впрочем, «Петербургские трущобы» вдохновили и некоего В. Невельского выпустить в Казани книжечку под названием «Казанские захолустья и трущобы» (1867), а у М. Воронова и А. Левитова вышли в 1866 году два томика «Московские норы и трущобы». Так слово «трущобы» стало своего рода поветрием, однако в лучших образцах, как у Левитова, оно содержало в себе протест против несправедливых условий жизни.

Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» вышел отдельным двухтомным изданием в 1868 году. Слова «Война и мир» на титульном листе были особые, рисованные и необычайно отличительные: они с первого взгляда запечатлевались своим начертанием. А в 1870 году вышла книга в кирпичного цвета обложке, на которой было напечатано тем же запомнившимся читателям рисованным шрифтом «Война и мир» (Сочинение графа Л. Н. Толстого. С политипажами.) и почти неприметным типографским шрифтом над заглавием книги было напечатано: «Разбор и извлечение из романа» и уже совсем неприметно внизу: составил Е. Лескин.

По обложке этой книги читатели могли предположить, что это и есть роман Толстого, и несомненно не один из них клюнул на приманку. Но и я, не посмотрев как следует книгу, предположил, что это одно из изданий романа Толстого, и лишь дома разочарованно встретился с неведомым мне Е. Лескиным; впрочем, известный толстововед Э. Е. Зайденшнур утешила меня сообщением, что в книге воспроизведены некоторые иллюстрации Башилова, заказанные самим Толстым.

Один из превосходных знатоков нашей литературы, автор книги «Библиографическая эвристика», Павел Наумович Берков подарил мне как-то, в бытность мою в Ленинграде, тоненькую книжечку с титулом «Граф Худой. Понедельник. Новый роман» безвестного автора, тоже пожелавшего погреть руки у чужого камелька: если было «Воскресение» графа Толстого, то почему бы не быть «Понедельнику» графа Худого. Вульгарная выдумка принадлежала перу сотрудника журнала «Развлечение» Д. А. Богемскому, не постеснявшемуся затем, используя популярность М. Горького, выпустить книжонку под псевдонимом «Максим Сладкий».

В первые годы революции я часто встречал в Москве некоего высокого мужчину, с черной крашеной бородой и высоким, в четыре пальца, накрахмаленным воротничком, достойного и неспешного: литературное имя этого человека было «Граф Амори», а прославился он тем, что дописывал чужие, получившие известность или нашумевшие романы, вроде «Ключей счастья» А. Вербицкой или «Ямы» Куприна. Граф Амори медлительно выхаживал по Тверской улице, начинался НЭП, открывались магазины и, наверно, продолжатель чужих романов подумы-


Графъ Худой

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ.

НОВЫЙ РОМАНЪ.

(ИЗЪ ЖУРНАЛА РАЗВЛЕЧЕНІЕ.)

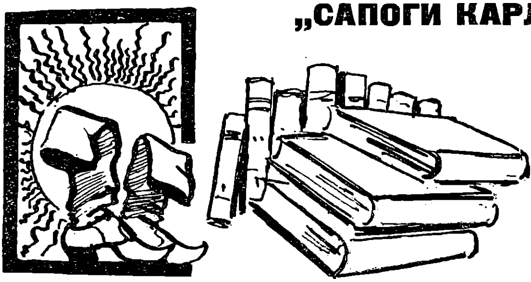
МОСКВА.
Типографія газ. „Театральныя Извѣстія" Тверская, домъ Полякова
1899.

Титульный лист книги

вал, что и в литературе наступит НЭП и можно будет дописать что-нибудь революционное. Я жалею, что у меня нет ни одного романа графа Амори (в миру так сказать, Ипполита Павловича Рапгофа): книги всегда своего рода свидетели эпохи, и как же книжнику не отвести полочку для подделок и мистификаций?

В музее Зоологического института Академии наук в Ленинграде, следуя за академиком Евгением Никаноровичем Павловским, я с интересом посмотрел на заспиртованных клещей, разносителей энцефалита — в кармане как раз у меня была подаренная мне П. Н. Берковым книжка графа Худого — и подумал о том, что порядочно

клещей бывало и в литературе, разносителей словесного нигилизма и неуважения к величайшему созданию человеческой мысли — книге.



„САПОГИ КАРЛА МАРКСА"

В доме московского адвоката Сергея Георгиевича Кара-Мурзы к литературе относились с благоговением. Все, связанное с писателями, было в этом доме овеяно поэтической дымкой.

В прихожей огромной квартиры в доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре в Москве посетителя встречал невысокий, милейший по своим душевным качествам хозяин. С мальчишески румяными блестящими щеками, с живыми умными глазами на круглом лице, весь как-то уютно сбитый, Сергей Георгиевич умел создавать высокое литературное настроение на своих «вторниках». «Вторники» Кара-Мурзы были в годы, предшествовавшие революции, популярны в литературной Москве. Они следовали традициям московских литературных салонов, даже своим названием повторяя знаменитые «вторники» поэтессы прошлого века Каролины Павловой, о которых осталось немало воспоминаний.

«Вторники» Кара-Мурзы были, конечно, скромные и ни на какие литературные аналогии не претендовали. Это было просто чтение писателями своих произведений за большим чайным столом, и почти все новое, возникавшее в литературе, не миновало этих «вторников»; тот или другой молодой писатель появлялся в очередном порядке у Кара-Мурзы и уходил обычно от него обласканным. Сам Сергей Георгиевич был тоже литератором: он был историком театра и историком литературной Москвы, напи-



С. Г. Кара-Мурза

сал множество статей об актерах и театральных постановках и издал в 1924 году книгу «Малый театр» с подзаголовком «Очерки и впечатления».

Но Сергей Георгиевич был еще и собирателем, при этом собирателем неутомимым и влюбленным в предмет своего коллекционерства: он собирал афиши и программы литературных вечеров, вырезки о писателях и чем-либо необычные по своему содержанию книги, связанные с тем или другим литературным или общественным событием.

В одну из годовщин со дня смерти С. Г. Кара-Мурзы его сын захотел в память об отце сделать мне подарок. Он принес мне редчайшую книжку, о которой дотоле я и слыхом не слыхал; не слыхали о ней и другие собиратели.

Книжка называется «Сапоги Карла Маркса». Издана она в 1899 году в С.-Петербурге, автором ее значится некто А. Трнка, и на задней ее обложке напечатано: «Продается во всех книжных магазинах за исключением «Нового Времени». Книжка эта является памфлетом на «легальный марксизм», представителями которого были П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и другие.

На одно из собраний представителей «легального марксизма» кто-то таинственно приносит сапоги, заявив при этом, что они принадлежали Марксу. «Марксисты», понюхав их, подтвердили, что это действительно сапоги Маркса. Те, кому поочередно передают сапоги на хранение, стараются поскорее избавиться от опасной улики, пока один из участников не объявляет, что сапоги принадлежат ему. Иначе говоря, речь идет о тех, кто только понюхал марксизм и с важностью воображает себя марксистом.

В номере пятом за 1899 год журнал «Русское богатство» поместил уничтожающую рецензию на эту книгу, но следует вспомнить, что у народнического «Русского богатства» были свои счеты со всеми видами марксизма.

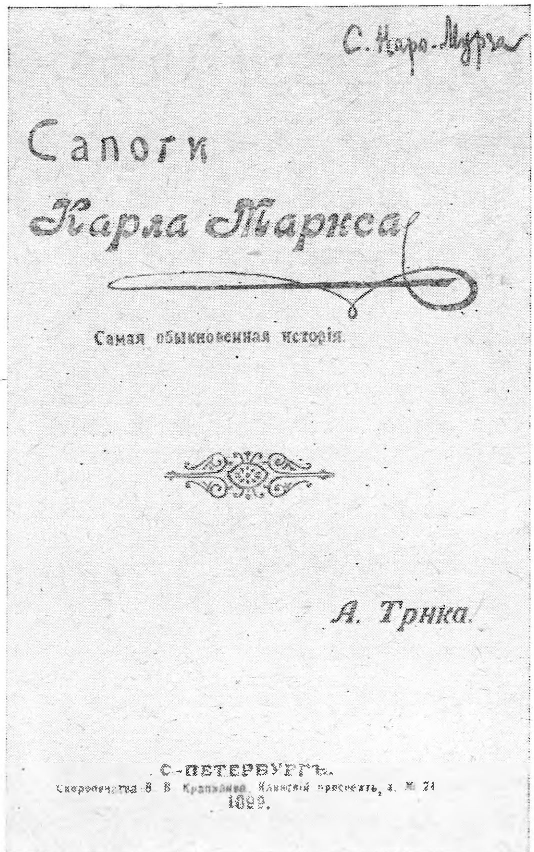
Неутомимый следопыт А. В. Храбровицкий нашел в книге, посвященной революционной истории Горного института, сведения об авторе книжки «Сапоги Карла Маркса», студенте Горного института, чехе по национальности.

Александр Осипович Трнка, считавшийся в институте одним из лучших знатоков «Капитала» Карла Маркса, всегда нападал на «пижонов-белоподкладочников», которые вначале изучали Маркса, а к моменту окончания института отрезвлялись: «Неужели мне казалось, что капиталисты действительно грабят рабочих?»

Книжка вызвала горячие нападки на автора со стороны молодежи, но он твердо стоял на своем, доказывая, что марксизму не нужны «душки-марксисты», обличительную характеристику которых он дал в другой своей книжке — «Записки пижона».

Трнка умер в 1901 году, несомненно не раскрыв всех своих литературных возможностей.

Эту редчайшую книжку С. Г. Кара-Мурза хранил, видимо, особо; хранил он и подарил мне в свое время как образец нравов деятелей так называемой «желтой прессы» книжку журналиста С. Васюкова «Скорпионы»


С. Кара-Мурза

Сапоги

Карла Таркса

Самая обыкновенная исторія.

А. Трнка.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Скоропечатня В. В. Крапивина, Клинскій проспектъ, д. № 21
1899.

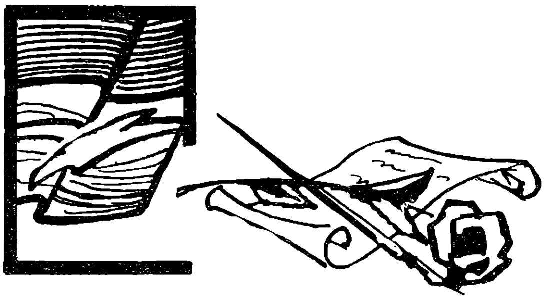
Титульный лист книги А. Трнка

(1901). С. Г. Кара-Мурза всегда близко принимал к сердцу чистоту литературных нравов и горько сетовал, когда чистота эта нарушалась. За добрых полвека Сергей Георгиевич хорошо познал характер деятелей прессы, сам печатался (как-то он принес мне визитную карточку театрального критика Н. Е. Эфроса, который в качестве заведующего театральным отделом в газете «Новости дня» просил Чехова принять молодого журналиста С. Кара-Мурзу). Книжка Васюкова разоблачала приемы продаж-

ных издателей и журналистов, и Кара-Мурза ценил эту ее разоблачительную часть.

«Здравствуйте, «скорпионы»! Вы верно забыли, что я вас потревожил немного, забыли обо мне! Но я жив и вас отлично помню... Я помню каждую из ваших физиономий, особенности каждого скорпиона и его привычки»,— писал Васюков.

— Книжка не ахти какая,— сказал С. Г. Кара-Мурза,— но она хранит в себе все-таки следы эпохи... Ведь поминают же подлеца Булгарина, когда хотят дать представление о пушкинском времени.



„ВЕТВЬ"

В апреле 1917 года в комнате Правления Московского Художественного театра состоялось несколько необычное сборище. В театре шел спектакль, все было академически строго и чинно в округлом фойе, беззвучном от оливкового мягкого бобрика, тяжелые бронзовые кольца. служившие ручками, висели на дверях той комнаты, где многие авторы, наверно еще со времен Чехова, читали свои пьесы, где решались не только судьбы драматургов, но определялся и климат очередного театрального сезона Москвы: Художественный театр был в отношении русской сцены законодателем.

В дверях комнаты Правления стоял корректный, аккуратнейший, блистающий крахмальным воротничком, с подстриженной четырехугольником уже седоватой бородкой Владимир Иванович Немирович-Данченко. Он встречал приходящих на это необычное собрание как один из духовных хозяинов театра.

Однажды мне привелось побывать в тех местах, где Волга вытекает из земли как родничок; родничок теряется

в траве, пахнет болиголовом, и трудно представить себе, что здесь и рождается великая русская река. Союз писателей СССР возник тоже не сразу: его возникновению предшествовали сначала Московский профессиональный союз писателей, затем просто — Московский союз писателей, затем — Всероссийский союз писателей. Но и эти писательские объединения возникли из первичного общения писателей, о котором мало кто знает.

В 1917 году в одной из московских газет появилась такая заметка: «В Москве уже несколько месяцев существует клуб писателей. Эта организация носит замкнутый характер, и на собрание клуба никто из посторонних не допускается.

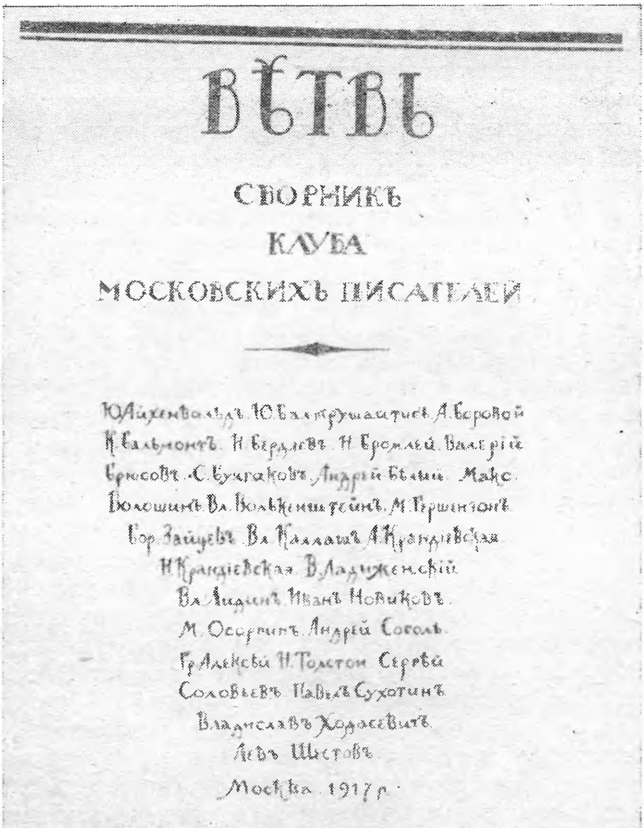
Доступ новых членов в клуб чрезвычайно ограничен. Производится обыкновенно баллотировка, и в число членов попадают лица, безусловно имеющие литературное имя. На этой почве даже возникло несколько недоразумений из-за уязвленных самолюбий.

Клуб писателей собирается в Художественном театре. Было уже около 10 собраний, на которых обычно кто-либо из членов делает доклад на общественно-литературные или политические темы, и затем происходят дебаты».

Заметка была написана в обычном репортерском духе того времени, но дело не в этом. Клуб московских писателей возник в ту пору, когда разобщенные дотоле и напуганные надвигающейся лавиной Октябрьской революции некоторые литературные столпы почувствовали непрочность своего одинокого бытия и необходимость общения и единения. Были забыты и литературные распри, в ряде случаев даже личная неприязнь, и всегда расположенный к литературе, как писатель, Владимир Иванович Немирович-Данченко гостеприимно раскрыл двери театра для собраний этого объединения писателей.

Пестрые это были собрания, с докладами на возвышенные литературные и философские темы — философы были главным образом с идеалистическим уклоном, но над ними властвовала все же литература: блистательные беседы о драматургии и театре Вл. И. Немировича-Данченко или отличнейшее чтение Алексеем Толстым его пьесы «Кукушкины слезы», впоследствии переделанной в «Касатку».

Все было установлено десятилетиями в этой комнате Правления Московского Художественного театра: и ее



ВѢТВЬ

СБОРНИКЪ
КЛУБА
МОСКОВСКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

Ю. Айхенвальдъ. Ю. Балтрушайтисъ. А. Боровой
К. Бальмонтъ. Н. Бердяевъ. Н. Бромлей. Валерій
Брюсовъ. С. Булгаковъ. Андрей Бѣлый. Макс.
Волошинъ. Вл. Волькенштейнъ. М. Гершензонъ.
Бор. Зайцевъ. Вл. Каллашъ. А. Крандіевская
Н. Крандіевская. В. Ладыженскій.
Вл. Лидинъ. Иванъ Новиковъ.
М. Осоргинъ. Андрей Соболь.
Гр. Алексѣй Н. Толстой. Сергѣй
Соловьевъ. Павелъ Сухотинъ.
Владиславъ Ходасевичъ.
Левъ Шестовъ.
Москва. 1917 г.

Титульный лист сборника

тишина, и зеленая суконная скатерть на огромном столе, и стаканы с красноватым чаем отменной крепости, и сам любезнейший, строго подтянутый Владимир Иванович, при котором громко не заговоришь и лишнего слова не скажешь. В большой, конторского образца книге велись протоколы; к сожалению, книга эта бесследно исчезла: ее нет в Музее Художественного театра, и не осталось почти ни единого следа деятельности этого писательского объединения, следом за которым уже в 1918 году, после Октябрьской революции, возник Московский профессиональный союз писателей.

Но все же один след существования этого клуба остался в виде книги под названием «Ветвь». Весной 1917 года, когда из тюрем были выпущены политические заключенные царской России, писатели решили выпустить сборник, с тем чтобы весь чистый доход от него пошел в пользу освобожденных. Мало кто помнит и знает этот сборник, выпущенный в самый разгар событий, шумных и тревожных, вдобавок сборник хаотический по своему составу, и лишь то, что на его титуле значится «Сборник клуба московских писателей», делает его не только некоторой вехой в истории писательских объединений, но по нему можно судить, как в дальнейшем резко разошлись пути многих писателей.

На титульном листе моего экземпляра есть надписи почти всех участников сборника — от Вл. И. Немировича-Данченко и Алексея Толстого до поэтов Вячеслава Иванова и Владислава Ходасевича, от историков литературы М. Гершензона и В. Каллаша до философа Льва Шестова. Этот разнобой имен не только чуждых, но впоследствии и враждебных друг другу писателей отразился и в их записях на книге: «Мир на земле! На святой Руси воля! Каждому доля на ниве родной!» — написал поэт-символист Вячеслав Иванов. «Только бы любить — все будет хорошо. Друзья, друзья мои»,— написал Алексей Толстой. «Мир земле, вечерней и грешной!» — перефразировал двустишие Иванова Владислав Ходасевич.

Время все поставило на свои места: некоторые из участников этого сборника закономерно оказались в эмиграции; некоторые не поняли революции и остались на правом фланге, обездолив сами себя; но большинство с открытой душой стали деятелями советской литературы. Редчайший ныне сборник «Ветвь» примечателен в этом смысле, и как бы ни было случайным и противоречивым его содержание, он все-таки остался своего рода памяткой о днях, когда только возникала молодая советская литература.



ОТ ПОТОМКОВ ШЕВЧЕНКО

Захар Устинович Докторов — ныне старший научный сотрудник Белорусской Академии наук — во время войны был военным корреспондентом газеты 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск».

Шла война, и будущий ученый пока выхаживал по дорогам Украины, добираясь до того или иного пункта на попутных машинах; в редакцию он возвращался или измазанный грязью с головы до ног, или настолько пропыленный, что не меньше суток все, встречавшиеся с ним, чихали. Докторов всегда возвращался с какими-нибудь трофеями, которые тут же раздавал. Однажды он вернулся с одним трофеем, который хотел подарить мне, но я из скромности отказался и теперь глубоко сожалею об этом.

В феврале 1944 года несколько немецких дивизий попало в так называемое корсунь-шевченковское кольцо. Судьба этих дивизий известна: они были окружены, уничтожены, а часть оставшихся войск захвачена в плен. На 2-м Украинском фронте был по этому поводу праздник в тех пределах, в каких это возможно было в суровую и тяжелую пору войны.

В один из февральских дней в редакцию вернулся из командировки З. У. Докторов. Он был не просто залеплен грязью проселочных раскисших дорог, а в футляре из грязи; но лицо у него было счастливое.

— Посмотрите, какой у меня трофей,— сказал он, едва успев скинуть с ног нечто тяжелое и слонообразное, оказавшееся сапогами с налипшими ковригами грязи. Он порылся в вещевом мешке и достал том стихотворений Шевченко в издании большой серии «Библиотеки поэта». На первой чистой странице книги была надпись: «Первым

кавалеристам Красной Армии, освободившим село Моринцы — родину Шевченко». И дальше шли подписи жителей села во главе, помнится, с подписью местной учительницы.

— Послушайте, Захар Устинович,— сказал я,— ведь это реликвия. Этому место в музее Шевченко.

— Или, по крайней мере, в вашей библиотеке,— ответил он добродушно, зная мое книголюбие и твердо веря, что к этому еще через годик-другой можно будет вернуться.

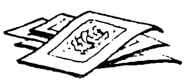
Я книжки у него не взял. Я только подержал ее в руках; я обратил мысленный взор к тому, кто мечтал о свободе для родной ему Украины; я подумал и о тех его потомках, которые были освобождены кавалеристами, вероятно, генерала Осликовского, прославленного конника, войска которого привелось мне увидеть на марше именно в сторону Корсунь-Шевченковского...

— Зря не берете,— сказал Докторов, но расставаться с книгой ему, видимо, не очень хотелось: все же это было связано и с десятками километров пройденных им украинских дорог и с историческими днями освобождения правобережной Украины, в том числе и места, где родился Шевченко.

Книга осталась у Докторова, а дальше — по сложным ходам войны — начались переезды, передислокации, и книга где-то затерялась.

— Видите,— сказал мне Докторов, когда мы встретились с ним уже после войны.— Книгу нужно было взять. У вас она сохранилась бы.

Конечно, она стояла бы ныне на моей книжной полке, и Захар Устинович несомненно пожалел, что тогда не настоял на своем. А может быть, книга и уцелела — кто знает... может быть, пройдя сложными дорогами войны, она попала в музей Шевченко, и пусть тогда эти строки будут для нее добрым напутствием.



ПИШЕТ БУНИН



Иван Бунин в молодости увлекался Л. Н. Толстым. Об этом можно прочесть в его автобиографическом рассказе «Лика»; об этом он пишет и в своих воспоминаниях. В Полтаве в 1892 году Бунин посещал толстовские колонии, а в 1894 году он побывал и у самого Толстого в Москве.

Как-то я приобрел «Собрание литературных статей» Н. И. Пирогова, изданное в 1858 году в Одессе и любовнейше вместе с другими пироговскими материалами переплетенное в кожу с вытисненными на ней инициалами бывшего владельца. Уже много позднее я обнаружил в книге два листка: один был вклеен в книгу, а другой вложен в нее. Вклеенный листок оказался автографом И. А. Бунина — стихотворением под названием «Памяти Н. И. Пирогова».

Стихотворение это было написано, видимо, в 1891 году, когда отмечалось десятилетие со дня смерти Пирогова; Бунину в ту пору был двадцать один год. Ни в одном из собраний стихотворений Бунина публикации этого стихотворения я не нашел.

Памяти Н. И. Пирогова

Я счастлив тем,— не раз он говорил,—
Что вот имею голову седую,
А юности своей не позабыл
И уважать привык чужую!
Да, это счастье! В мертвой тишине
И сумраке осеннего ненастья
Идти вперед, мечтая о весне,
О светлых днях — большое счастье!

Прекрасна, верно, та весна была,
Сияло ярко солнце над землею,
Когда земля воскресшая цвела,
Дышала вешней красотою...

И дух велик, не сгинувший в борьбе,
Тот дух, что с беззаветною любовью
Восторг весны не умертвил в себе
И не предал его злословью.

А если он лишь вечному служил,
Оберегал святое в человеке,—
Он смерть своей любовью победил
И не умрет уже вовеки!

Ив. Бунин

Не будем строги к этому стихотворению юноши: Бунин никогда не печатал его; оно просто вклеено кем-то в том статей Пирогова и закономерно находится в нем. Но другой, находившийся в книге автограф Бунина, наводит на сложные размышления. Листок, сложенный вчетверо и случайно не выпавший из книги за годы ее странствий, оказался черновиком письма Бунина, датированного мартом 1896 года и, видимо, оставшегося непосланным; в собрании Толстовского музея этого письма нет. Письмо полно раздумья над смыслом жизни и пессимизма, свойственного части молодежи в конце прошлого века; в нем есть, однако, и то, что в измененном виде, иначе выраженное, осталось свойственно Бунину и в дальнейшем.

«Полтава, Воскр. 21 марта 96 г.

Завтра я уезжаю в Орловскую губернию, в деревню, и вот сейчас собирал свои пожитки в походную корзиночку и, как всегда перед отъездом, при перемене места, при собирании своих бумажек, книг и разных писем, которые вожу с собой и невольно перечитываю в такие минуты, то чувство, которое глухо мучит меня очень-очень часто, обострилось и мне захотелось написать Вам, потому что мне решительно больше некому сказать этого, а тяжело мне невыносимо! Вы же когда-то приняли участие во мне, это было уже давно, и с тех пор я многое пережил, но, кажется, не пришел ни к каким выводам. Да и жизнь моя сложилась так, что ни к кому не придешь. Начать с того, что я теперь вполне бродяга: с тех пор, как уехала жена, я ведь не прожил ни на одном месте больше 2 месяцев. И когда этому будет конец, и где я задержусь и зачем,—

не знаю. Главное — зачем? Мож. быть, я эгоист большой, но право, часто убеждаюсь, что хорошо бы освободиться от этой тяготы. Прежде всего — удивительно отрывочно все в моей жизни! Знания самые отрывочные, и меня это мучит иногда до психотизма: так много всего, так много надо узнать, и вместо этого жалкие кусочки собираемых. А ведь до боли хочется что-то узнать с самого начала, с самой сути! Впрочем, может быть, это детские рассуждения. Потом в отношениях к людям: опять отрывочные, раздробленные симпатии, почти фальсификация дружбы, минуты любви и т. д. А уж на схождение с кем-нибудь я и не надеюсь. И прежнего нельзя забыть и в будущем, вероятно, никого, с кем бы хорошо было: опять будет все раздробленное, не полное, а ведь хочется хорошей дружбы, молодости, понимания всего, светлых и тихих дней... Да и какое право, думаешь часто, имеешь на это? И при всем этом ничтожном, при жажде жизни и мучениях от нее, еще знать, что и конец вот-вот: ведь в лучшем случае могу прожить 25 лет еще, а из них 10 на сон пойдет. Смешной и злобный вывод! Много раз я убеждал себя, что смерти нет, да нет, должно быть есть, по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть. И не пройдет 100 лет, как на земле ведь не останется ни одного живого существа, которое так же, как и я, хочет жить и **живет** — ни одной собаки, ни одного зверька и ни одного человека — все новое! А во что я верю? И ни в то, что от меня ничего не останется, как от сгоревшей свечи, и ни в то, что я буду блуждать где-то бесконечные века — радоваться или печалиться. А о боге? Что же я могу сообразить, когда достаточно спросить себя: где я? Где эта наша земля маленькая, даже весь мир с бесчисленными мирами? — Положим, он вот такой, ну хоть в виде шара, а вокруг шара что? Ничего? Что же это такое «ничего», и где этому «ничего» конец, и что, что там, за этим «ничего», и когда все началось, что было до начала — достаточно это подумать, чтобы не заикаться ни о каких выводах! Да и можно, наконец, примириться со всем, опустить покорно голову и идти только к тому, к чему влекут хорошие влечения сердца, и утешаясь этим, но как тяжело это — опустить голову в грустном сознании своего бессилия и покорности! Да и в этом пути — быть вечно непонятым даже тем, кого любишь так искренно, как можно, как говорит Амиель.

Утешает меня часто литература, но и литература — ведь, боже мой, кажется иногда, что нет в мире настроений прекраснее, радостнее или грустнее сладостно и что все в этом чудном настроении, но ненадолго это, уже по одному тому, что из всего того, что я уже лет 10 так оплакивал или обдумывал с радостью, с бьющимся всей молодостью сердцем, и что казалось сутью души моей и делом жизни — из всего этого вышло несколько ничтожных, маленьких, ничего не выражающих рассказиков!..

Так я вот живу, и если письмо мое детское, отрывочное и не говорящее того, что я хотел сказать, когда сел писать, то и жизнь моя, как письмо это. Не удивляйтесь ему, дорогой Лев Николаевич, и не спрашивайте — зачем написано. Ведь Вы один из тех людей, слова которых возвышают душу и делают слезы даже высокими и у которых хочется в минуту горя заплакать и горячо поцеловать руку, как у родного отца!

Будьте здоровы, дорогой Лев Николаевич, и не забывайте глубоко любящего Вас Ив. Бунина».

Я так и не смог доискаться, кому принадлежала книга статей Пирогова и почему в ней оказалось неотправленное письмо И. А. Бунина к Л. Н. Толстому; стихотворение, посвященное Пирогову, вклеено к месту: может быть, бывший владелец книги хотел, чтобы оба автографа Бунина были вместе, но кто этот бывший владелец, инициалы которого «E. D. C.» вытиснены на крышке переплета, почему он так любовно вплел в один переплет и редчайшее, изданное с учебно-благотворительной целью в Киеве в 1861 году «Собрание литературно-педагогических статей Н. И. Пирогова, вышедших в управление его киевским учебным округом (1858—1861)», а ко всему этому кто-то уже позднее присоединил и автографы Бунина? Иногда книги не все рассказывают, иногда они молчат, но и молчание их бывает тоже глубоко поучительным.



ВЕРА

Вера Николаевна Муромцева разделила жизнь с человеком сложного и трудного характера — Иваном Буниным. Она прошла с ним всю дорогу до вершин его славы, узнала горький хлеб эмиграции и лишь немного запоздала под самый конец: Бунин умер в 1953 году, а она в 1961, и оба ныне лежат на одном и том же кладбище Сен-Женевьевде-Буа в Париже.

В ее книге «Жизнь Бунина» в хронологическом порядке описана жизнь Бунина от дня его рождения в 1870 году до 1906 года; Вера Николаевна писала и продолжение книги, но я не знаю, дописана ли была она и какова судьба рукописи.

В своих воспоминаниях В. Н. Муромцева пишет, что познакомилась она с Буниным по-настоящему 4-го ноября 1906 года и прожила с ним затем сорок шесть с половиной лет. Но впервые она увидела Бунина за несколько лет до их настоящего знакомства, в ту пору, когда, по ее же свидетельству, Бунин, живя в деревне, писал стихи: «...всего стихов им было написано около пятидесяти. Лучшими из них он считал: «Был поздний час», «Зеленый цвет морской воды», «Раскрылось небо голубое»...

Вера Николаевна была племянницей известного юриста и общественного деятеля, первого председателя Государственной Думы Сергея Андреевича Муромцева. Както в мои руки попала визитная карточка, на которой под напечатанным именем «Сергей Андреевич Муромцев» приписано им: «пожимает крепко руку многоуважаемому Ивану Алексеевичу и сердечно благодарит за внимание. 30.IV. 1903. Сверху Буниным приписано, видимо, для уточнения, кому послана карточка: «И. А. Бунину».

В том же 1903 году газета «Курьер» выпустила литературно-художественный сборник под названием «Итоги». Газету «Курьер» издавал Яков Александрович Фейгин, в ней печатал свои первые рассказы Леонид Андреев. Фейгин помогал не только Андрееву, он печатал в своей газете и многих других писателей, которые вышли затем на большую дорогу.

В сборнике «Итоги», открывающемся рассказом Андреева «На станции», есть и стихотворение Ивана Бунина «Полдень»: «Был весел этот полдень знойный, сияли дали, и блистал в дубраве светлой и спокойной горячий воздух, как кристалл».

Этого стихотворения в пятитомном собрании сочинений Бунина, выпущенном в 1956 году, я не нашел: может быть, по каким-либо причинам, или оно просто не нравилось ему, Бунин не включал его в собрание своих стихотворений.

Сборник «Итоги» у меня был, но другой экземпляр, на который я набрел в одном из букинистических магазинов, заинтересовал меня по иной причине; на переплете, видимо, специально заказанном, вытиснена золотом женская головка с ожерельем на шее, а на корешке внизу вытиснена тоже золотом надпись: «Вера».

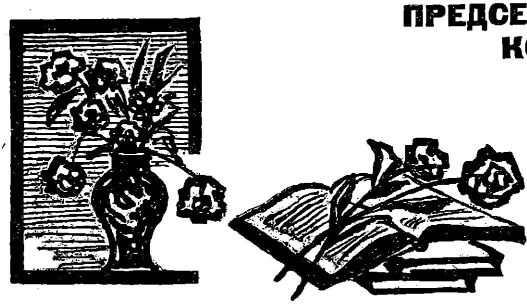
Бунин познакомился с Верой Николаевной Муромцевой за несколько лет до того, как она стала его спутницей; семью Муромцевых он знал и, возможно, послал С. А. Муромцеву какую-либо из своих ранних книг: на визитной карточке Муромцев благодарит его за внимание. Так же, возможно, Бунин отдал переплести и поднес тогда совсем молодой Вере Николаевне книгу со своим стихотворением и с начертанием ее имени на корешке. Конечно, это было не в правилах того времени, но Бунин был поэт, и притом своенравный.

То, что мы достоверно не знаем, всегда вызывает некоторые домыслы,— конечно, не плод легкого воображения, а так или иначе основанные на сочетании фактов. Без таких домыслов была бы крайне обеднена жизнь выдающихся людей: ведь любой биографический роман, а нередко и жизнеописание основаны на некоторых предположениях и догадках. Я не берусь, однако, гадать, кому принадлежат инициалы «Ф. Т.» на книге «Новых стихотворений» Бунина, вышедшей в 1902 году и подаренной им с автографом известного сонета «В Альпах»: книга

хранится у меня, а в автографе есть разночтения с публикуемым текстом.

В молодости Бунин охотно дарил свои книги. Может быть, и сборник «Итоги» подарил он понравившейся ему девушке, ставшей впоследствии его женой: все же в этом сборнике он был представлен рядом с К. Бальмонтом, Леонидом Андреевым, С. Найденовым, звонко начинавшими век. Веры Николаевны нет на свете и ее не спросишь об этом. Но я поставил сборник «Итоги» рядом с ее воспоминаниями о Бунине, и мне кажется все же, что книги эти закономерно стоят вместе; мне кажется все же, что они соседи по праву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК



Юлий Алексеевич Бунин перед своим братом Иваном благоговел. Иван был как бы его, Юлия, творением, и казалось, что Юлий Алексеевич чувствует свою ответственность за Ивана Бунина перед миром. Впрочем, в биографических материалах, да и автобиографических повестях Бунина немало сказано, какую роль играл в его жизни Юлий Бунин. Мне привелось прочесть обширную корреспонденцию Бунина, десятки, если не сотни его писем к брату, и из всех этих писем было видно, что Юлий Алексеевич поддерживал его нравственно, да и материально в трудные для него годы.

На московских «средах», в ту пору уже утративших былую интимность собраний на квартире Н. Д. Телешова и перекочевавших в одну из обширных зал Московского Литературно-художественного кружка,— на «средах» появлялся иногда Иван Бунин. Для Юлия Алексеевича это было событием, и он умиленно смотрел, как тот проходит среди собравшихся, радовался, когда его встречали востор-

женно, и огорчался, если знаки внимания к брату казались ему недостаточными. Тогда он оглядывался на испытанного московского оратора, адвоката и писателя Николая Григорьевича Шкляра, и тот в удобную минуту приветствовал Бунина, или, говоря о чем-либо другом, добавлял: «Я рад сказать это в присутствии Ивана Алексеевича Бунина»,— что было равносильно приветствию.

Иван Алексеевич был уже в то время академиком, «золотым пером», и он действительно был на подъеме, только недавно появились его лучшие рассказы «Господин из Сан-Франциско» и «Братья», и о гонораре, какой платила Бунину газета «Русское слово» за рассказ в рождественском или пасхальном номере, говорили почтительным полушепотом.

Юлий Алексеевич Бунин был низенький, рыхлый, с чуть висячими усами и интеллигентской бородкой на круглом, добром лице, с короткими пухлыми ручками, со старомодными круглыми манжетами из-под обшлагов рукавов. Иван Бунин был суховат, подтянут и элегантен; своей породой он немного кичился и не скрывал это. Ему нравилось приходить на «среду», где было множество самоотверженных его почитателей, и он, естественно, благоволил к тем, кто писал в его манере, уверенный, однако, что ни одному подмастерью не перегнать мастера. Были у Бунина и поэтические ученики. Поэт Николай Мешков, высокий, со столь белым носом, словно он лишен был кровеносных сосудов, написал отличную книгу стихов «Снежные будни», но в такой степени в манере Бунина и с его интонациями, что Мешкова Иван Алексеевич Бунин принимал просто как свое порождение; того же порядка был и поэт А. Черемнов.

Книги Бунина выпускало «Московское книгоиздательство писателей», и появление каждого нового тома, да и появление отдельных рассказов в журналах, было для литературного мира событием. На Тверской, в глубине двора дома, примыкающего ныне к зданию Московского Совета, находилось в те годы издательство «Северные дни». Издатель, человек предприимчивый и любивший литературу, попросил меня как-то:

— Вы бываете на «средах», видаете Ивана Бунина. Поговорите с ним как-нибудь, не даст ли он нашему издательству одну из своих книг. Уполномачиваю вас согласиться на любые условия.



Ю. А. Бунин

В этом издательстве вышла в ту пору первая книга моих рассказов, и издатель несколько благоволил к молодому автору и хотел приблизить его к делам издательства. Поручение давало мне возможность поговорить с Буниным не в качестве робкого подмастерья, и я на одной из «сред» сообщил ему о предложении издателя.

— Я издаю свои книги только в одном издательстве,— сказал Бунин коротко. Потом, словно что-то вспомнив, он добавил: — Впрочем, я подумаю. Какой номер вашего телефона?

Я поспешил сообщить издателю, что Бунин обещал подумать. Он, действительно, подумал, и примерно неделю спустя позвонил мне по телефону.

— Вы просили у меня книгу для издания,— сказал он несколько академическим голосом,— так вот, зайдите ко мне, поговорим.

Он жил где-то на Поварской, и я пошел к Бунину, решив, что между делом скажу ему, наконец, о восхищении его рассказами. Бунин принял меня в сумрачной ком-

нате, подтянутый, никаких домашних вольностей в одежде он себе не позволял.

— Так вот,— сказал он сразу же, едва я вошел в комнату,— могу предложить вашему издательству книгу... только предупреждаю, гонорар должен быть приличный.

Я поторопился сказать, что издательство согласно на любые условия.

— Книга эта, конечно, не моя, я свои книги издаю только в одном издательстве, а хорошего писателя Петра Нилуса. Но, повторяю, гонорар должен быть приличный.

— Знаете,— косноязычно пробормотал я,— мы ведь думали, что это ваша книга... а так я ничего не могу сказать, нужно поговорить с издателем.

Бунин сразу стал сух и мало любезен.

— Эту книгу рекомендую я,— сказал он безжалостно.— По-моему, этого достаточно.

Издатель ждал меня.

— Ну как? Договорились? — спросил он торопливо.— Позвольте,— произнес он минуту спустя,— причем тут Нилус? Я про такого писателя никогда даже не слышал.

Ему показалось, что Бунин просто посмеялся над ним и чем-то принизил его издательство. День спустя Бунин снова позвонил ко мне.

— Ну, как — решили? — спросил он с некоторым раздражением.

— Да, видите ли, Иван Алексеевич, издатель хочет именно вашу книгу...— начал я, потом пришлось несколько раз переспросить:— Вы слушаете, Иван Алексеевич? — но по ту сторону уже никого не было, Бунин просто кинул трубку.

У меня стоит ныне на полке книга рассказов Петра Нилуса — он был и хорошим художником, жил в Одессе, Бунин с ним дружил — рассказы Нилуса не хуже рассказов А. Федорова или Дмитрия Крачковского, или Бориса Лазаревского: однако, думаю, что эти писатели не вызывали у Бунина особого восхищения.

«Среды» между тем догорали, хотя их состав и был освежен молодыми именами, но добрейшему Юлию Алексеевичу Бунину пришлось пережить и их закат, и, наконец, они попросту кончились, наступили другие времена, вслед за февральской революцией надвигалась Октябрьская... Но главное для Юлия Бунина было то, что Ивана уже нет в Москве, он где-то на юге, в безвестности,

довершало свое существование и издательство, которое издавало его книги, и «Русское слово», печатавшее в пасхальных или рождественских номерах отточенные рассказы Бунина. Юлий Алексеевич был добропорядочный, сердечный, глубоко либеральный русский интеллигент, но многое, как и ряд других интеллигентов, он не понимал в ходе революции, она пугала его, не мог он примириться и с вторжением в литературу политики...

Незадолго до отъезда Ивана Бунина, на вечере у Алексея Николаевича Толстого, в большом доме на Малой Молчановке, где и поныне каменные геральдические львы со щитами сидят по обе стороны подъезда,— на вечере у Толстого был среди других и Иван Алексеевич Бунин. Он был совсем желт, худ, с провалами на щеках, отмалчивался, пил красное вино, и маленький, подвижной пензяк, литератор Владимир Николаевич Ладыженский, старался развеселить Бунина.

— Не старайся, Володя,— сказал вдруг Бунин бесстрастно,— ничего веселого нет. Завтра, может быть, прекратят издавать мои книги... так что лучше пей вино.

Ладыженский осекся. Бунин пил вино, и Алексей Николаевич Толстой сказал, как обычно по-актерски скандируя слова:

— Иван, ты ужасный мизантроп. Пьешь настоящее «Шато-лароз», а несешь кислятину.

Я не помню, что ответил Бунин; помню только, что в середине вечера хватились Бунина, но его уже не было, он незаметно ушел, и Толстой очень огорчился тогда...

Так же незаметно Бунин исчез и из московской жизни: он часто то приезжал, то уезжал, и никто не думал, что он уехал совсем, навсегда... думал об этом, может быть, только Юлий Алексеевич, знавший брата с его характером и его настроениями. Юлий Алексеевич сразу стал слабым и стареньким. Как-то в голодный год, один из московских литераторов позвал его и меня «разговеться» на Пасху. Стоял хмурый, дождливый апрель 1920 года. С литератором, пригласившим нас, случилась одна из тех историй, какие принято называть трагикомическими. Он женился из расчета на богатой наследнице, получившей в приданое особняк на Пречистенке. Но через год после женитьбы произошла Октябрьская революция, особняк реквизировали, и у литератора осталась только жена, которую он никогда не любил, вдобавок он должен был жить теперь

в одной комнате с ней: плоскогрудая, постная наследница, с бигуди в жидких волосах, вызывала в нем мутное и тоскливое отвращение.

Как тризна по всему, что не состоялось в его жизни, он тряхнул в последний раз куличами и пасхой, немыслимыми в тот год. Юлию Алексеевичу положили на тарелку пасхи и кусок кулича, но он только смотрел на них издали.

— Знаете, чем я занят? — сказал он мне.— Пишу историю нашей «Среды», день за днем, всю хронологию. Когда-нибудь пригодится.

В ту пору все же казалось, что это никогда уже не пригодится, а догорело, не оставив и пепла. Однако именно ныне рукопись эта, хранящаяся в рукописном отделении Библиотеки имени В. И. Ленина, может послужить бесценным справочником для литературоведов, которые пишут историю русской литературы предреволюционной поры.

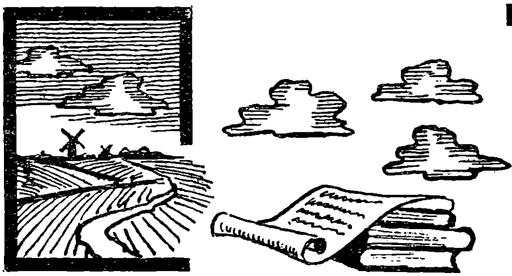
Лет десять назад я приобрел у одного из племянников Буниных колокольчик бессменного председателя «Среды» Юлия Алексеевича Бунина, поднесенный ему по случаю 25-летнего юбилея. На постаменте выгравированы факсимиле подписей ряда литераторов, поднесших этот колокольчик: В. Вересаева, Н. Телешова, Ю. Балтрушайтиса, Ивана Белоусова, Сергея Кречетова... Колокольчик этот связан для меня не только с памятью о первых моих шагах в литературе, и не только с братьями Иваном и Юлием Буниными, которых я узнал на ранней заре своей жизни, но и со всем тем добрым, что делала «Среда», вовлекая в свой круг молодых литераторов и нередко давая им путевку в жизнь.

Недавно я побывал в Грассе, в Приморских Альпах, где Иван Алексеевич Бунин жил последние годы своей жизни. Была жаркая осень юга, легковые машины и автобусы проносились из Марселя или даже прямо из Парижа в Ниццу, Антибы, Монако и дальше через Вентимилью в Италию — в Сан-Ремо или в Альбенгу... Знойный южный день дремал над холмами Грасса в сиреневой дымке, и далеко внизу было такое же сиренево-сероватое Средиземное море. В одиночестве и воспоминаниях, тревожа свою удивительную память, Иван Бунин писал о России, слышал запахи ее трав, голоса ее птиц, шелест ее деревьев, и даже слышал орловский говор...

Об Иване Бунине этой поры, о его книгах этой поры еще напишут те, кто будет изучать его творчество. И если бы Юлий Алексеевич мог знать о том, что имя Бунина не померкнет в нашей литературе, он, наверно, согласился бы на любые испытания, лишь бы его творение — Иван Бунин — обрел то, о чем он, Юлий, мечтал для него всю жизнь.

Незадолго до своей смерти вдова Ивана Алексеевича Бунина, Вера Николаевна Муромцева, прислала мне из Парижа свою книгу о нем: в этой книге так много сказано о Юлии Алексеевиче, о его роли в творческой жизни Бунина, что его, Ивана Бунина, судьбу и не представишь себе без этого доброго человека и неутомимого литературного деятеля. Встряхнув иногда его председательский колокольчик, я вспоминаю и «Среды», и литературную молодость многих из нас, и все то, что пробуждало любовь к литературе и учило преданности ей.

ИЗ СКИТАНИЙ



В своих записках писателя Николай Дмитриевич Телешов, которого почти девяностолетним проводили мы в последний путь, писал об одной из своих встреч с Чеховым:

«— Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете,— сказал Чехов...— Поезжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три. Ну, хоть в Азию, что ли, на Байкал... Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена... Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда — по Волге, по Каме...»

Телешов послушал Чехова, поехал в Западную Сибирь, и в 1897 году вышла одна из его первых книг: «За Урал. Из скитаний по Западной Сибири». В ту пору переселенчество, бегство крестьян, теснимых безземельем, в поисках земли и куска хлеба, который можно из земли добыть,— тема эта была одной из самых горьких и самых острых не только в передовой русской литературе, но и в живописи. Картина Сергея Иванова «В дороге. Смерть переселенца» в свое время прозвучала, как обличающий голос передового художника. Нашел свою тему и внявший голосу Чехова Николай Дмитриевич Телешов:

«Что такое переселенец?.. Бежит он с родины потому, что ему там тесно, потому что мал надел, потому что на родине нечего есть... И вот такие крестьяне оставляют на родине свои наделы, дома, постройки, хозяйство — или продавши их, или заложив, или, наконец, оставив за недоимки, едут семьями искать новую «родину». Если для многих это новое место является «родною матерью», то путь до него для большинства бывает «злою мачехой» и, кроме полного разорения, продолжительного страдания, а иногда и потери целой семьи, ничего не приносит».

Так писал Телешов, вдохновленный Чеховым на кровное познание жизни. Я всегда подбираю книги такого рода: они дают представление о жизни русского народа во времена минувшие и по-особому ощущаешь масштабы сегодняшнего нашего дня.

Судьба русского крестьянства глубоко волновала лучших писателей прошлого — Льва Толстого, Глеба Успенского, Чехова, Бунина, есть хорошие книги и у писателей С. Т. Семенова или Ф. Крюкова, ныне позабытые. Нашел свою тему и молодой в ту пору Телешов и не только нашел, но и сделал именно книгой своих очерков «За Урал» заявку на доброе место в нашей литературе.

Свыше полувека спустя после выхода этой книжки я приобрел ее как-то в одном из букинистических магазинов вплетенной почему-то вместе с какой-то незначительной книжкой в один переплет. Я книгу Телешова отъединил, отдал ее переплести и в день рождения Телешова, когда ему исполнилось 88 лет, принес эту книгу в подарок, полагая что она, возможно, не сохранилась у него и это воспоминание о его молодости будет ему приятно.

Николай Дмитриевич до глубокой старости сохранил осанку, сохранил и красоту лица, ставшего уже несколько

иконописным, но — если можно так выразиться—в самых лучших традициях древней русской живописи.

— Где же вы достали эту книжку? — спросил Телешов грустно и растроганно.— Ведь сколько времени прошло, сколько воды утекло с тех пор!

Телешов был уже глуховат, и я сказал ему в самое ухо:

— Я и рассчитывал, Николай Дмитриевич, что это, может быть, будет вам приятно.

Телешов поблагодарил меня, унес книгу в свою рабочую комнату, некоторое время не появлялся, а потом вернулся с этой же книгой в руках.

— Вы сделали мне приятное,— сказал он,— и мне захотелось сделать вам приятное. Поставьте эту книжку на свою полку на память от меня.

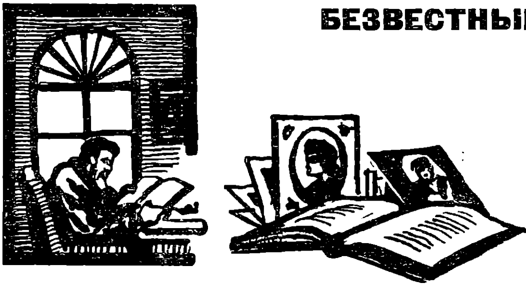
Своим строгим, прямым, не изменившимся с годами почерком Николай Дмитриевич написал на первой странице книги: «Дорогому товарищу», далее следовало мое имя с добрым эпитетом «случайно доставшему эту книгу, изданную 58 лет тому назад...»

Но у книги этой была еще одна особенность: на ней стояла печать бывшего владельца Михаила Александровича Корнилова, которого Телешов знал лично, а затем подпись последующего владельца книги — М. Северского, певца и славного гусляра, воскресившего не одну старинную песню, вплоть до стихов Кирши Данилова. Северского знал и я, слышал не раз густой перелив его печальных струн, вспомнил, что привелось мне побывать на поминках его библиотеки, распродаваемой после смерти владельца.

Книг с надписью Николая Дмитриевича у меня несколько, мы много лет дружили с ним и он дарил меня своим вниманием. Но книга «За Урал» имеет особую судьбу, она косвенно связана и с Чеховым, и со всем тем добрым, что было в передовой нашей литературе конца прошлого века, когда звучали голоса Чехова и Короленко, и молодого Горького, и еще звучал, подобно вечевому колоколу, голос Льва Толстого.

Я вложил в книгу Телешова репродукцию с картины Сергея Иванова «Смерть переселенца» — и всё вместе: и репродукция эта, и надпись Телешова, и отзвук гуслей Северского сплелись вместе, напоминая о том, что судьбы некоторых книг особые, если к судьбам этим прислушаться и задуматься над ними.

Подзаголовок книги Телешова «Из скитаний» хорошо подходит для названия этой главы о книге, найденной мной 58 лет спустя после ее выхода и с авторской надписью попавшей, в конце концов, в писательскую библиотеку.



БЕЗВЕСТНЫЕ КНИЖЕЧКИ

На самой заветной полочке, нередко завернутые в бумагу и перевязанные, хранились у старых книжников те особые редкости, о которых зачастую, кроме искушенных книголюбов, никто на свете не знал и которые по своему внешнему виду ничего из себя не представляли.

С величайшим трудом расставались старые книжники с этими приметами их потаенного собирательства, с этими приметами книжной их страсти, возвышенной по своему смыслу и достойной уважения. Чаще же всего лишь семья книжника, осиротев, продавала эти брошюрки любителям, руководствуясь проставленной бывшим владельцем ценой: он знал, что придет время — и книги эти уйдут из его дома, и не хотел, чтобы по неведению близких книжки эти так и ушли глухонемыми.

Случалось и мне, и притом всегда с душевной болью, приобретать такие книжки, повествующие о том, что долгие годы их хранили и оберегали и долгие годы служили они утешением старому книжнику; случалось, однако, что книжки такого рода я получал в подарок, всегда при этом оставаясь должником.

Известный собиратель книг, составитель редчайшего ныне издания «Похвала книге», профессор Илья Александрович Шляпкин отмечал 23 апреля 1907 года двадцатипятилетие своей литературной деятельности. Наверно, много добрых слов было сказано книжниками И. А. Шляпкину

и, наверно, выпито немало в его честь. Большим другом Шляпкина был Федор Григорьевич Шилов, автор книги «Записки старого книжника». Шилов был и издателем «Похвалы книге» — сборника изречений о книге, с большим искусством составленного Шляпкиным.

В честь Шляпкина, когда отмечалось двадцатипятилетие его литературной деятельности, была выпущена его автобиографическая заметка под названием «Для немногих». Книжечка эта, конечно, не только редкая, но ненаходимая. В своих воспоминаниях Ф. Г. Шилов упоминает только о 35-летнем юбилее Шляпкина, праздновавшемся в 1917 году.

Не знаю, за чей счет и во скольких экземплярах была выпущена эта автобиографическая заметка, на которой нет цензурного разрешения и лишь на обложке значится: «Спб. Типогр. Мартынова».

«В 1897 году выстроил себе на родине дом, куда перевез разбитое сердце и все свои книги и коллекции. Природа и время утишили горе, а хорошее питание и деревенский воздух распространили мою поэтическую фигуру до исполинских размеров (отсюда — товарищеское прозвище «Белый Слон»)... Считаю себя вообще счастливо прожившим свою молодость и зрелые годы и спокойно, хотя и грустно, встречаю одинокую старость»,— так писал в своей автобиографической заметке Шляпкин. Далее он перечисляет свои работы, которых «наберется до сотни» и заключает четверостишием: «Да возрастает благое семя, чья ни посей его рука; бог помочь вам, младое племя, и вам, грядущие века!»

Автобиографическая заметка Шляпкина столь же редка, как и «Автобиография Семена Афанасьевича Венгерова», выпущенная уже много позднее в 1920 году. Брошюра эта не имеет не только цензурной пометы, но даже не указана типография, где она напечатана. На обороте титульного листа значится лишь: «Напечатано ко дню 65-летия С. А. Венгерова 18(5) апреля 1920 г., в Петербурге, в количестве 50 экземпляров».

Отличный знаток, познавший немало удивительных судеб книг, Павел Наумович Берков, обратил особое мое внимание на то, что вышла она, как сокол вылетает из рук охотника, без гнезда и с несоответствующим времени «Петербургом» на обложке, давно в ту пору именовавшимся Петроградом. По существующему закону каждая типо-

графия, выпускающая книги, должна обязательное число экземпляров доставить основным нашим библиотекам. Но если книжка вышла столь глухо, что и следов отпечатавшей ее типографии не отыщешь, попала ли она в наши хранилища и значится ли вообще в реестре вышедших русских книг?

Книголюбы обычно дарят что-либо один другому: это неписанный закон содружества. Покойный Н. П. Смирнов-Сокольский никогда не приходил ко мне без какой-либо книжечки, неизменно тревожился: нет ли ее у меня? и радовался, если попадал в цель; не оставался перед ним в долгу и я. Павел Наумович Берков, уже давно утонувший в книгах, постепенно змееобразно выползших в коридор и переднюю его квартиры на 13-й линии Васильевского острова, тоже по заведенному обычаю подарил мне несколько книжечек, среди них брошюру, которая на первый взгляд не представляется редкостью; однако, это самая настоящая редкость.

В 1925 году к двухсотлетию Всесоюзной Академии наук Государственное издательство в Ленинграде выпустило книжечку, представляющую собой краткую историю Академии наук и перечень изданных Ленгизом трудов академиков. Особенность этой книжечки может быть пояснена следующей справкой после текста: «Книга набрана без переноса слов под наблюдением проф. Л. К. Ильинского и под технической редакцией И. Д. Галактионова». Далее следуют фамилии набиравших книгу, причем набиравших так гармонично, что если бы не специальное указание, можно было бы и не заметить особенности набора: на 17 страничках книжки ни одно слово не имеет переноса.

Книголюб П. Н. Берков знал, что́ подарить мне в воспоминание о доброй встрече среди его книг, притаившихся во всех углах, чтобы послушать, о чем мы беседуем; во всяком случае, так мне казалось.

Есть у меня одна и совсем уникальная книжечка, дорогая мне по особому чувству. Много лет я дружил с большим знатоком истории декабристов, автором таких превосходных книг, как «Первый друг Пушкина», или «Роман Медокс», или «Алексей Николаевич Крылов» — Соломоном Яковлевичем Штрайхом. Удивительных знаний и удивительной трудоспособности был этот одаренный и до мнительности скромный человек. Говорить с ним было

всегда не только интересно; он знал так много, что, в сущности, основным своим сведениям о первой русской женщине-математике Софье Ковалевской или о знаменитом хирурге — основателе полевой хирургии Н. И. Пирогове, или о ряде декабристов я обязан именно Соломону Яковлевичу. Его книгам в истории нашей литературы, несомненно, суждена долгая жизнь, и почти не было случая встретить на улице Соломона Яковлевича без его тяжелого портфеля, в котором лежала очередная рукопись.

Наступила, однако, в жизни Штрайха та пора, когда тревога вдруг заползла в его душу, тревога безотчетная, но роковая; иногда она выражается в поступках, смысл которых не сразу угадаешь, а если и угадаешь, нет способа отстранить это, чтобы глубоко не обидеть человека.

Соломон Яковлевич пришел ко мне как-то с целой грудой редких фотографий, оставшихся после издания его книг: это были оригиналы фотографий Софьи Ковалевской и другой женщины-математика Ю. В. Лермонтовой, и хирурга Н. И. Пирогова.

— Пусть они поживут у вас,— сказал Штрайх,— вы ведь собираете фотографии писателей. Мне они сейчас ни к чему, а у вас они будут к месту.

Фотографии были редкие, они, действительно, могли пополнить мои альбомы, которых уже накопилось порядочно, и я не стал отнекиваться, чтобы не обидеть Соломона Яковлевича с его щедрым сердцем.

— Да,— сказал он небрежно,— у меня для вас есть еще одна вещичка... киньте куда-нибудь эту книжечку на память обо мне.

Книжечка эта оказалась печатным библиографическим списком книг и статей С. Я. Штрайха с 1901 по 1946 год, но дополненная вклейками с написанным от руки текстом, продолжающим список работ до 1956 года. Это был, конечно, его личный, заветный экземпляр, выходные его данные заключали лишь справку: «Список составлен Н. В. Юрьевой», а отпечатана была книжечка в 1-й типолитографии УВМИ НКВМФ в 1946 году — иначе в типографии Военно-Морского издательства, с которым Штрайх был связан: в этом издательстве вышла его книга о замечательном судостроителе А. Н. Крылове.

Книжечка эта с авторской надписью осталась у меня: Соломон Яковлевич Штрайх подарил мне свою книжечку в марте 1956 года, а год спустя он умер. Я не могу относиться к этой книжечке иначе, как к своего рода маленькому завещанию беречь память о работах писателя, скрупулезно дополнившего список трудов своих. Я храню эту книжку С. Я. Штрайха в особой папке с вытисненной на ее корешке надписью: «Раритеты». Книжечка Штрайха закономерно соседствует с теми книжками, о которых я написал в этой же главе.

Не по признаку сходства, а по признаку противоположности присоединил я к этим несомненным книжным редкостям еще одну брошюрку: ее автором является некий протоиерей И. Бухарев, а брошюрка представляет собой извлечение из черносотенной газеты «Московские ведомости», парадоксально печатавшейся в университетской типографии в Москве.

Брошюрка протоиерея называется «К вопросу об общественной нравственности», а посвящена она тому, что на здании гостиницы «Метрополь» в Москве помещены «барельефы, изображающие в разных положениях фигуры людей, по большей части женщин в обнаженном виде». Как известно, фрески на здании «Метрополя» были сделаны по эскизам замечательного художника М. А. Врубеля. Не знаю, имел ли протоиерей в виду именно эти фрески, или им предшествовали барельефы, но это не меняет дела. «Вразумитесь, господа строители,— взывает протоиерей,— поберегите человеческие души: они дороги, очень дороги для господа творца и спасителя их! Неужели нельзя найти украшений для дома других, помимо обнаженных людей!»

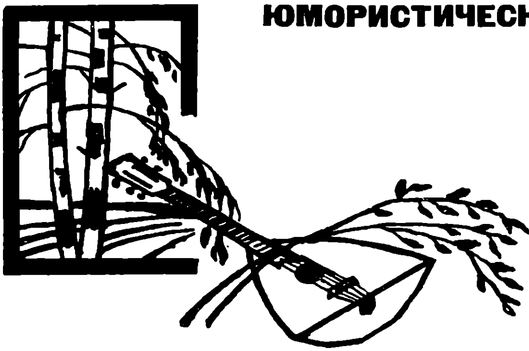
Несомненно, брошюрке этой место в музее истории Москвы, где наряду с великими планами преобразования социалистического города хранятся и образцы невежества прошлого, вплоть до комплектов черносотенной газеты, издававшейся В. А. Грингмутом и печатавшей наряду с погромными призывами протоиерейские воздыхания о греховных соблазнах.

Полагаю, что к своего рода раритету можно отнести и книжечку «Думы, мысли, изречения и воспоминания о прошлом в стихах и прозе» сочинения Л. Е. Белянкина, изданную в Москве в 1862 году. К книжке приложен портрет автора, похожего на прасола, с тараканьими усами и

прямым кучерским пробором в волосах. Стихи Белянкина весьма коротки. Так, стихотворение «Природа» состоит всего из трех строк: «Всеобъемлющее время своей одеждой все это облекло и вечно-зеленым ковром покрыло», столь же кратко и стихотворение «Суета»: «Как легко облако, с востока к западу склонясь, на крыльях ветра улетает, так все проходит в мире сем и безвозвратно исчезает! Все тленно под луной и ничего нет вечного под ней!..»

По уровню своего понимания искусства протоиерей Бухарев, наверно, отнес бы стихотворения Белянкина к образцам истинной поэзии.

Я и соединил обе книжечки вместе в папке с надписью «Раритеты», хранящей затерянные книжечки, о которых знают лишь те, для кого — чем книга безвестнее, тем больше она привлекает своей неразгаданностью, а нередко и тем, что на языке библиофилов называется «idiotica». Невежество тоже имеет своих классиков.



ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Известный собиратель русских народных песен и частушек Василий Иванович Симаков был и книжником, и притом страстным и неудержимым. В деревне Челагино близ города Кашина, в сарае, обитом кровельным железом, долгие годы хранилась его удивительная библиотека, в которой едва ли не полностью представлен был русский лубок, то есть, именно то, что бесследно зачитывалось и исчезло. Даже в годы для него трудные или просто мучительные по состоянию его здоровья, да и денег на книги не хватало, Симаков все же припадал к прилавкам книжных магазинов, где торгуют старой книгой, и хоть одну

или две книжечки увозил из Москвы, трудолюбиво — прутик за прутиком — слепляя свое книжное гнездо.

Я много лет дружил с этим тихим и скромнейшим человеком, и всегда, приходя ко мне, Василий Иванович допытывался, что́ я хотел бы из книг, с полной готовностью подарить что-либо из своего собрания, и огорчался, когда я отказывался. Однажды по собственному почину он все же принес мне одну книжечку.

— Книжечка курьезная,— сказал он,— а для вашей библиотеки вполне в пору.

Он не без торжества достал из подобия сидора книжку, оказавшуюся «Юмористическим словарем для светских людей», составленным «по разным источникам» Г. Подъясенским, как было сказано на титуле, и выпущенном в 1902 году в Москве.

Я полистал книгу, а Симаков наблюдал за тем, как я листаю.

— Штука, видите ли, вот какая,— сказал он наставительно. — Словарь этот в полном виде редкость, потому что цензура в свое время задержала его и потребовала изъятия некоторых слов. Вот попробуйте отыскать, например, слово «Городовой на посту». Он нашел это слово и его словарное пояснение: «Единственная, так сказать, «тумба», за которую не дерзают задевать извозчики и хвататься пьяные». Ясно вам? Поищем, например, слово «Урядник»: «Кулак, одетый в ежовую рукавицу. Очень любим мужиками».

Василий Иванович снял очки и повторил:

— Очень любим мужиками. Запомнили? Посмотрим слово «Важность»,— предложил он, видимо, хорошо изучивший этот «легонький курс философии и морали», как было сказано в подзаголовке названия книги.— «Важность (политическая). Иногда бывает синонимом ничтожности нравственной». Понятно теперь, что это за книжица и почему ей самое место в вашей библиотеке?

Василий Иванович знал, что я подбираю и книги такого рода, какие называют «курьезами», и был доволен, что сделал для книжника что-то приятное.

Позднее в газете «Известия», в одном из номеров за 1935 год, я натолкнулся на сообщение И. Н. Розанова об этой книге. В заметке было сказано, что Главное управление по делам печати задержало выпуск словаря в свет и потребовало изъятия в нем ряда слов. Экземпляра с изъя-

тыми словами я не видел, а этот полный экземпляр храню, и на его титульном листе есть печать: «Василий Иванович Симаков. Д. Челагино Потапов. вол. Кашинского уезда Тверской губ.»

Мне дорого имя Симакова. Я был у него в доме в деревне Челагино, был и в сарае, обитом кровельным железом и доверху наполненном книгами, в этом своего рода улье, куда Симаков, собирая пыльцу, многие десятилетия приводил книгу за книгой.

— Книжник был превосходный,— сказал мне о нем ярославский издатель Константин Федорович Некрасов, у которого Симаков одно время служил.— А по лубку другого такого знатока и не найдешь.

Много лет прошло с той поры, когда Василий Иванович принес мне этот дар своей сердечности, и я радуюсь, что в Калининском книжном издательстве вышла книга о нем «Друг народной песни», которая медленно шла сначала, а потом исчезла и стала библиографической редкостью.

Замечательный человек и замечательный ученый академик Евгений Никанорович Павловский заинтересовался Симаковым, и я послал ему эту книгу. Евгений Никанорович давно затеял написать исследование о русском фольклоре, связанном с его, Павловского, наукой — паразитологией, даже написал об этом интереснейшую брошюру, и я порадовался за Симакова, что его труды по собиранию русских присловиц и прозвищ заинтересовали большого ученого: наверно, упомянул бы скончавшийся недавно Е. Н. Павловский имя скромного кашинского крестьянина-самоучку, книжника и составителя словаря «прозвищ и близких к тому выражений, как-то: шутливых, насмешливых, коварных, иронических, хулящих, злых и бранных», машинописный экземпляр которого подарил мне сын Василия Ивановича — Алексей Васильевич, наследственный книжник и человек такой же скромной души и чистого сердца, каким был и его отец.

Рассказ о «Юмористическом словаре для светских людей» невольно разросся, и я рад, что смог сказать попутно и от тех, кто косвенно связан с этой книгой и кого я бережно храню в своей памяти.

КИЕВСКИЕ ТИПЫ



«Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона» выпустило немало книг. Каталог издательства, вероятно, сам мог бы представить собой целую книгу. Иогансон выпускал и собрания сочинений Гауптмана или Шницлера, и миниатюрные книжечки, текст которых можно было прочесть лишь сквозь прилагаемую лупу, и «Историю малой России» Бантыш-Каменского, и еще множество огромных многотомных изданий. Местопребыванием издательства значились на его книгах: Киев — Харьков — Петербург.

А. И. Куприн не раз вспоминал о том, как плохо и трудно он жил в начале своей литературной деятельности, как в Киеве ему приходилось пробавляться фельетонами и жанровыми картинками, за которые редакции платили гроши, да и гроши эти нередко приходилось вымаливать. Правда, тяжкий опыт жизни обогатил писателя, а много профессий, которые он познал — в том числе и военное дело, и работа землемером, и цирк — стали поистине копилкой тех сведений, которые столь пригодились ему впоследствии: без этих сведений он не написал бы ни «Поединка», ни «Изумруда», ни «Олесю»...

Фельетоны и жанровые картинки той поры, когда Куприн только входил в литературу, давно забыты, и лишь составители его книг включают некоторые из них в тома сочинений, чтобы представить полную картину развития таланта писателя. Здравствующая ныне Мария Карловна Куприна-Иорданская, человек удивительной свежести памяти и удивительной любви к литературе, рассказывала мне немало о днях молодости Куприна и написала о них отличную книгу «Годы молодости», которая несомненно останется в нашей мемуарной литературе.



Встреча А. Куприна в Москве после возвращения из эмиграции

Но если фельетоны в газетах исчезают вместе с газетами, и лишь какой-нибудь искатель литературных руд доберется до них в пожелтевших комплектах газет того времени — да и газеты эти найдешь, пожалуй, лишь в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве или в Публичной библиотеке в Ленинграде — то наперекор мотыльковому существованию напечатанного в газетах, книги, сколь бы малы они ни были и сколь бы в свое время ни были зачитаны, все же остаются и так или иначе совершают свой дальнейший путь.

В 1902 году книгоиздательство Ф. А. Иогансона выпустило и первую книжечку Куприна под названием «Киевские типы». Библиографы несомненно смогут с точностью рассказать, где и когда печатались в Киеве эти картинки с натуры. Автор в своем введении, именуемом «Вроде предисловия», пишет: «Под этим общим заголовком я думаю дать читателю несколько очерков, изображающие со-

бирательные черты той группы индивидуумов, на которых известная профессия и местные условия имели то или другое влияние. Считаю своим долгом предупредить, что в предлагаемых очерках читатель не найдет ни одной фотографии, несмотря на то, что каждая черта тщательно срисована с натуры».

Названия очерков: «Студент-драгун», «Днепровский мореход», «Будущая Патти», «Квартирная хозяйка», «Босяк», «Художник» или «Стрелки», да и само содержание очерков заставляет, однако, предполагать, что «вроде предисловия» понадобилось Куприну не случайно: изображенные в очерках были далеко не обобщены, и автор опасался, что многие узнают себя. Так, по крайней мере, показалось мне, когда я прочитал эти ранние очерки Куприна, умевшего зло и остро видеть жизнь: его позднейшие отличные рассказы уходили корнями в эти первые наблюдения.

На обложке этой узенькой, по формату похожей на прейскурант книжке изображен хромолитографическим способом студент — хлыщ, в белых перчатках, со шпагой и розой в петлице. Впрочем, обложка «Киевских типов» была в духе не одного киевского издания того времени. Примерно, в ту пору, когда вышла эта книжка Куприна, в Киеве существовало издательство «Рассвет», выпускавшее главным образом репродукции с картин и открытки. В его каталоге серии издаваемых открыток выходили под рубриками: «Быт студентов и курсисток», «Глянцевые любовные парочки», «Учащаяся молодежь» (бородатый студент и престарелая курсистка), ковыряющий в носу швейцар с подписью: «От безделья рукоделье»,— по существу, те же купринские киевские типы, только в иллюстрированном виде.

У меня особое чувство к этой первой книжечке Куприна, представляющей собой некую заявку на литературное будущее превосходного писателя. Даже в этих начальных набросках ощущаешь остроту зрения автора, притом остроту социальную, определившую в дальнейшем и социальность большинства произведений Куприна: может быть, и типажей своего замечательного рассказа «Река жизни» он подсмотрел именно в Киеве и именно в эту пору.



АЛЬМАНАХ ВЕРБНОГО БАЗАРА

В так называемый «московский сезон» 1913—1914 года, Москва накануне первой мировой войны жила странной и фантастической жизнью. Война, обрушившая монолит династии, опрокинувшая прошлое России, была на пороге, а четыре года спустя произошла и Великая Октябрьская революция.

Но Москва хотела жить не только так, как привыкла, но и как бы наверстывая то, что до сих пор не успела сделать. «Сезон» — это тот круговорот городской жизни, который захватывает и область столичных развлечений самого высшего порядка и «Кузнецкий мост» с его экскурсиями в область аргентинской хореографии сомнительной репутации... «Сезон» имеет свои законы, спорить с этим трудно: итоги сезона — это его сенсации»,— так писалось в то время.

В залах Благородного собрания, ныне Дома Союзов, происходил для избранных вербный базар. В киосках и павильонах, выстроенных то в виде русской избы, то в виде стародворянской беседки с ампирными колоннами, московские дамы — из рода преимущественно купеческого или жены крупных фабрикантов и преуспевающих присяжных поверенных — продавали с благотворительной целью шампанское. Золотая монета или даже несколько золотых монет, кинутых на поднос, определяли и степень ответной улыбки, иногда обещающей больше, чем бокал шампанского марки «Мум» или «Гордон вер». В лотерею можно было выиграть кузнецовский столовый сервиз, хрустальную вазу завода графа Гарраха, счастливцу мог достаться и главный выигрыш — живая корова. Выигрыш этот служил неистощимым материалом для юмористических журналов того времени.

«Аргентинской хореографией» именовалось танго, в котором чувственно кружились и припадали друг к другу пары: пока это демонстрировалось на эстрадах в ресторанах вроде Яра, а потом эпидемия танго распространилась, и некие госпожа Кригер и г. Валли служили классическим образцом, которому следовали московские неофиты. В Москву приехал вождь футуристов Маринетти; его, нахального и самодовольного, в котелке, с папироской в зубах, торжественно встречали в Москве, и московские футуристы вылезали из кожи, чтобы быть как-нибудь похожими на своего духовного вождя, прославлявшего впоследствии в своем романе «Футурист Мафарка» оголтелый милитаризм, а позднее — и фашизм. В живом виде появился в Москве герой кинематографа Макс Линдер со своими элегантными черными усиками, и за ним по улицам следовали толпы. В «Кинемо-театре» Ханжонкова, «Кино-Паласе», «Модерн», «Ампире», «Мефистофеле» шли кинокартины «В омуте Парижа», «Пляска любви... пляска смерти», «Ключи счастья», «Миг счастья — годы страданья», «Тихо замер последний аккорд», а в судах шли уголовные процессы, вроде сенсационного процесса Прасолова, убившего в ресторане «Стрельна» свою бывшую жену и оправданного, или процессы проворовавшихся интендантов — полковников Зиновьева и Безобразова, или процесс подпоручика Хмелевского, зарубившего шашкой свою жену: процессы были вроде театральных премьер или вернисажей...

Ежегодно, в дни вербного базара выходил в недельных выпусках, вероятно, ненаходимый ныне «Вестник вербного базара». Но в «сезон 1913—1914 года» его преобразовали в «Альманах вербного базара», ныне также весьма редкий, вряд ли оставшийся в библиотеке какого-либо собирателя из-за временности своего содержания. Однако мы познаём эпоху нередко по тем исчезнувшим из обращения листкам, летучим изданиям или афишам, которые говорят иногда больше самых достоверных документов. Пожар Москвы не представишь себе без ростопчинских листков и афиш, испепеленных не столько огнем, сколько временем.

Понять, чем жила Москва,— разумеется, не рабочая, трудовая Москва,— а Москва так называемых «верхов», и вместе с тем театральная и литературная, в ту внешне нетревожимую, но полную грозных предчувствий зиму

1913—1914 года, вслед за «сезоном», которой началась первая мировая война,— понять это можно в огромной степени и из того, тоже в своем роде летучего, издания, каким был этот «Альманах вербного базара». Даже одних фотографий, помещенных в нем, достаточно, чтобы представить себе картину московской предвоенной жизни и тревожную беспечность, но в то же время и нервную напряженность того круга людей, большинству из которых пришлось вскоре распрощаться со всеми своими привилегиями и поглядеть в глаза Революции, ворвавшейся в их устоявшийся быт.

Говорит и «Альманах вербного базара» больше того, что напечатано в нем: мы видим Москву той поры с ее бытом и нравами и невольно задумываемся над трагическими противоречиями происходившего в ней с мыслями и чувствами миллионов людей, живших совсем иной жизнью... а всего полгода спустя миллионы этих людей отправились в маршевых ротах на долгую, бесцельную и кровавую войну.

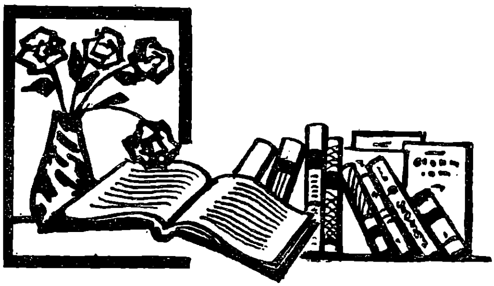
В книгах такого рода дышит история, в них нет домыслов, в них никого не выгораживают; они простодушны по своей откровенности, увлеченно рассказывают о том, как приезжали в Москву Маринетти и Макс Линдер, как адвокат Бобрищев-Пушкин выгораживал подлого убийцу беззащитной женщины — Прасолова, и как на лекциях в Большой аудитории Политехнического музея «преобладают значительно женщины, молодые девушки из тех, что ищут смысла жизни, из тех, что в глуши России, в Тамбове, Ветлуге, Качинске с тихой тоской мечтают о Москве... У них наивные лица. Глаза сверкающие, любопытные. Это они заполняют все проходы аудитории и все ступени и в великом множестве пребывают на верхнем ярусе».

В 1903 году вышла книга П. Иванова «Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы». Книга эта давно забыта и вряд ли найдешь ее. Н. Некрасов, хорошо понимавший, что́ значит социальная жизнь большого города и как важно, чтобы след этой жизни остался в литературе, выпустил в 1844 году сборник «Физиология Петербурга», составленный из трудов русских литераторов. Он счел нужным, чтобы книга эта была украшена политипажами, и над ними потрудились лучшие художники того времени В. Тимм, Е. Ковригин, Е. Бернардский, а В. И. Луганский, известный более как В. Даль, написал очерк «Петербург-

ские дворники», Д. Григорович — «Петербургские шарманщики», Н. Некрасов — «Петербургские углы» и «Чиновник», И. Панаев — «Петербургский фельетонист», а за скромными инициалами В. В. под очерком «Петербургская литература» стоял В. Белинский.

«Физиология Петербурга» — своего рода энциклопедия жизни Петербурга той поры, и, читая книгу П. Иванова «Студенты в Москве» с ее разделами «Квартирный вопрос», «Татьянин день», «Пивная «Седан» или «Студенческая свадьба», я думал о том, что книгам такого рода дано сыграть бо̀льшую роль, чем предполагали их авторы.

Вряд ли составители и авторы «Альманаха вербного базара» рассчитывали на то, что кто-нибудь поставит на полку эту книгу, как своего рода документ времени. Но книги иногда перерастают по своему действию начальные замыслы тех, кто сочинял или составлял их, у книг свои законы, и они радуют или печалят, или уходят в небытие тоже по своим законам.



НЕГАТИВЫ

Звездное небо литературы не походит на звездное небо астрономов. У астрономов даже мельчайшие звезды имеют название, и открытие каждой новой звезды является событием. В литературе не только звездные осыпи и туманности, но нередко и целые созвездия и даже отдельные звезды исчезают из поля зрения, и подчас нужен телескоп историка литературы, чтобы разглядеть эти звезды и напомнить о том, что они были, блистали или сияли, или просто едва просвечивали на бурном и изменчивом небе литературы. Но картины литературной жизни, а следовательно, соответственно и жизни общества, были бы неполны, если не вспомнить о малых величинах, без кото-

рых, возможно, не было бы и больших. Ранние рассказы Чехова приветствовал Лейкин, которого ныне забыли, а Лейкина печатали Некрасов и Салтыков-Щедрин.

Николай Георгиевич Шебуев прославился в 1905 году, как редактор-издатель сатирического журнала «Пулемет». Первый номер журнала, в котором был напечатан манифест Николая II, украшенный кровавой пятерней с надписью: «Трепов руку приложил», продавался по пяти рублей за экземпляр и был не только сенсацией, но в некоторой степени и гвоздем, забитым в самодержавие.

Шебуев был хорошим, хлестким фельетонистом, дарованием поменьше Дорошевича или Амфитеатрова, но из их рода и племени. После спада первой русской революции, когда стали уже забывать сатирические журналы 1905 года, в том числе и «Пулемет», Шебуев начал издавать журнал молодых «Весна». Это был странный журнал, похожий на Ноев ковчег, и многие из особей, которые нашли в нем приют, давно бесследно вымерли. Эмблемой журнала была обнаженная женщина, наподобие Венеры, но с букетом в руках, а девизом журнала было: «В политике вне партий. В литературе вне кружков. В искусстве вне направлений».

Принцип этой беспринципности заключался в том, что стихи, рассказики, бытовые картинки и очерки ссыпались в ковчег, чередуясь с виньетками и зарисовками художников, с «конкурсами рассказов в 80 строк», и «почтовым ящиком» редакции, представляющим и поныне некоторый интерес: кое-какие имена все же остались в литературе. Кроме журнала, Шебуев издавал еще и сборники стихов и прозы, причем не он платил авторам, а платили авторы в зависимости от места, какое занимал в сборнике их материал, с наивным расчетом, что при распродаже сборника они получат свои деньги обратно, а приварком останется приобретенная слава.

Сборники эти были пухлые, и если «Весну» можно уподобить ковчегу, то сборники эти можно уподобить подсобным баркасам, на которые пересаживали с перегруженного и явно тонущего судна.

Однажды я получил от редакции журнала «Весна» приглашение прийти на собрание сотрудников. Я был еще учеником, печатался до этого только в ученическом журнале, а в «Весне» на конкурсе рассказов в 80 строк были напечатаны без имени автора две моих «миниатюры».

Я представлял себе величественное здание редакции, книжные шкафы до потолка и гул типографских машин под полом. Комната, в которой редактор принимал сотрудников, была, правда, большая, но почти лишенная мебели, а редактор, которого я представлял себе бородатым, похожим на Короленко или Михайловского, оказался по-актерски бритым, грустным человеком в золотом пенсне.

— Я пригласил вас, господа,— сказал Шебуев,— чтобы сообща обсудить, как помочь существованию нашего журнала. Дела очень плохи, мне пришлось даже заложить шубу в ломбарде, чтобы заплатить типографии.

Журнал «Весна», действительно, переживал глубокую осень; что и как решили мы, «сотрудники», я не помню, но журнал вскоре умер, а потом началась первая мировая война.

В начале революции я встретил как-то Шебуева, он был моим первым редактором, и писателю не положено забывать это. Я напомнил ему о «Весне», о собрании сотрудников у него и о том, что первый свой шаг в литературе я сделал именно при его участии, хотя и безымянно. Шебуев задумался.

— Не помню, голубчик,— сказал он искренно.— Многие у меня начинали, начинал и Игорь Северянин. Значит, вы все-таки не забыли Шебуева, а я полагал, что меня все давно забыли.

Шебуева, действительно, забыли, хотя всегда думаешь о том, что в литературе даже самое малое деяние не проходит бесследно, и не будучи само по себе причиной, рождает, однако, следствия.

— А мне ведь вся эта возня с молодыми ничего, кроме забот да денежных затруднений не приносила... просто хотелось всегда думать, что, может быть, и поможешь кому-нибудь, ведь в молодости трудно пробиваться. Мне очень приятно, что вы не забыли «Весну»,— и я, к его удовольствию напомнил ему еще о том, что в «Весне» первые свои стихи печатал и Николай Асеев.

Страсть к литературе и вера в молодые силы всегда достойны самой глубокой признательности. А если эта страсть к тому же не только бескорыстна, но ее следствием являются собственные заботы, денежные затруднения, и даже нужда, то слово «страстотерпец» само собой напрашивается.

Примерно в те же годы мне привелось узнать одного такого страстотерпца, которого любовь к литературе привела на больничную койку, и с нее он уже не поднялся. Михаил Григорьевич Добролюбов редактировал «журнал молодых» под названием «Хмель». Не долго суждено было виться этому «хмелю», вышло всего восемь номеров, причем четыре из них сдвоенные, но отлично напечатанные в хорошей типографии. Журнал этот не только обескровил Добролюбова. Спасаясь от типографии, которой не мог своевременно заплатить за бумагу и печатание, Добролюбов чуть ли не еженедельно менял адреса, терзался, изыскивал средства, а его подтачивал туберкулез, на который он махнул рукой и который все же сжег его.

Печатая первые мои повестушки в своем журнале, Добролюбов говорил, словно прислушиваясь к чему-то, пока только одному ему внятному: — Что-то есть все-таки,— и его детские голубые глаза глядели в окно квартирки в первом этаже где-то в деревянном домике по Грохольскому переулку.— Что-то есть... не собьетесь, будете писателем. Ведь в начинающем важно угадать именно это «что-то».

«Начинания, отчасти подобные нашему, были, но они погибали, может быть, потому, что у них было знамя, без древка. Месячник «Хмель» пусть будет то древко, к которому молодежь должна прибить свое знамя». Так было сказано в редакционной статье первого номера этого месячника. Но ни древка для знамени, ни даже просто существования журнала хотя бы в течение года,— ничего этого не получилось. Столь популярная среди литераторов того времени болезнь — чахотка все-таки доконала этого неудачливого издателя, и когда я навестил в одной из больниц умирающего Добролюбова, он задержал в своей слабой, худой руке мою руку.

— Ничего не удалось мне свершить,— сказал он,— а я хотел... думал, создать журнал для молодых, печатать первые их вещи, искать, находить.

Может быть, он видел перед собой примеры прославленных редакторов, вроде Миролюбова, Короленко или Горького, открывавших молодые таланты.

«Спасибо, что не забыли, разыскали меня, всеми забытого»,— написал он мне на своей визитной карточке, этой респектабельной в ту пору этикетке, которая, вероятно, нужна была Добролюбову для весомости, когда он уговари-

вал владельцев типографий печатать в кредит свой журнал.

— «Вот и Белоусов, я слыхал, собирается издавать журнал,— написал мне Добролюбов в одном из своих последних писем,— и тоже будет печатать только молодых. Видите, как разрастается это дело. А я лежу, прикованный к больничной койке, и даже не знаю, сколько мне придется пробыть здесь. Хорошо было, конечно, поехать в Ялту, но... близок локоть, да не укусишь, денег у меня никаких нет, а тут еще неоплаченные счета из типографии и угрожают судом, а что с меня взять, только посадить в долговую яму. Конечно, в первых книжках журнала было еще много несовершенного, но мы бы развернулись в хороший, честный журнал. Мне бы только попоправиться».

Добролюбов не знал, что он обречен и умирает. Журнал Белоусова, о котором писал он с завистью, назывался «Путь», но выходил уже не первый год, и я не знаю, о каком новом начинании Белоусова прослышал Добролюбов.

Иван Алексеевич Белоусов был, конечно, опытнее в издательских делах, чем Добролюбов: с ним дружил Чехов, он был участником телешовских «сред», похаживал в Литературно-художественный кружок, у него был свой дом на Соколиной улице, правда, маленький, деревянный, было у него и умение жить. Журнал «Путь» приносил ему, однако, больше всего беспокойства и денежных затруднений, но у Белоусова тоже была страстная привязанность к литературе, и так хотелось к тому же быть редактором журнала, переписываться с авторами, находить молодые таланты и побуждать к участию своих именитых сверстников, вроде Леонида Андреева.

«Путь» был ежемесячным журналом, почти «толстым». В литературе сохранился рассказ не одного писателя о его «первом гонораре»: в большинстве эти рассказы более комические, чем трогательные. Поехал и я за своим первым гонораром, и именно в журнал «Путь» к Белоусову.

Белоусов, с круглым миловидным личиком, с коричневыми усами и шершавой бородкой, в бархатной художнической курточке, с белым фуляровым бантом, с причесанными на косой пробор, по-гоголевски, волосами, принял меня — не в пример добролюбовскому берложьему жилью — в писательском кабинете, с американским бюро,

во множестве отделений и ящичков которого лежали рукописи и письма.

— Номер журнала могу вам дать,— сказал Белоусов грустно.— Дела идут плохо, журнал совсем не расходится. Писатели обещают поддержать, давать пока материал бесплатно, вот и Леонид Андреев обещал поддержать.

Мой первый литературный гонорар не состоялся, я не получил «3 копейки за строку», как пообещала редакция, и увез с Соколиной улицы только номер журнала. Впоследствии, много лет дружа с Иваном Алексеевичем Белоусовым, я напомнил ему как-то о первом своем посещении и несостоявшемся гонораре.

— Не судите меня,— сказал Иван Алексеевич,— но первую свою вещь начинающий писатель должен обязательно напечатать бесплатно, это такое наивысшее чувство, его не нужно оплачивать. Я свои первые стихи печатал бесплатно, Иван Алексеевич Бунин тоже печатал бесплатно, а на вопрос одной из анкет о первой своей напечатанной вещи ответил: «Чудесный весенний день!». Кстати, дела журнала были тогда очень плохи, я не обманывал вас.

Последние годы своей жизни Белоусов жил трудно, однако он целомудренно не написал ничего о них в своей книге воспоминаний «Литературная среда», словно в жизни у него все шло гладко. Но в письмах он писал об этом:

«...Здоровье мое неважно: я даже не могу сойти с горки к реке, чтобы половить рыбу,— до того плохо сердце... Очень бы мне хотелось пристроить свои воспоминания о Чехове. Живем мы в том же положении, как и жили — тяжело! Пора бы и отдохнуть,— ведь в феврале будущего года будет 40 лет, как я печатаюсь... Мне 59 год; работать усиленно не могу; кое-как перебиваюсь, читаю лекции, но с трудом,— хожу, задыхаясь».

— А знаете, почему я стал издавать журнал? — спросил он меня как-то.— Уж, конечно, не ради доходов. Чтобы журнал давал доход, для этого нужен немалый капитал, нужно привлечь известных писателей. Капитала у меня не было, а побираться даже у друзей дело нелегкое, да и неприятное. Но ведь это такая радость, когда найдешь что-нибудь хорошее, отыщешь молодой талант, вот и появится новое имя, а если еще рядом с Леонидом Андреевым, скажем, то и сразу заблестит от одного соседства. Меня в отношении нюха мой Ваня обнадеживает.

Сын Белоусова, Иван Иванович, рано умерший, действительно наделен был редакторским чутьем, этим особым качеством, которое не знает вкусов или пристрастий, а тем более — побочных мотивов, когда речь идет о литературе и достоинстве редактора. «Путь» Белоусова был недолго в пути, времена требовали не дилетантизма в деле издания журнала, а деловитости, хватки, и Белоусов не раз дивился деловым качествам только недавно перекочевавшего из Петрограда в Москву редактора «Нового ежемесячного журнала для всех» и журнала «Новая жизнь» Николая Архиповича Архипова.

Архипов был человеком хватким и оборотистым, но одними этими свойствами журнала не сделаешь: он был, кроме этого, ищущим и изобретательным редактором. Во дворе дома на Большой Дмитровке, ныне Пушкинской улице, где помещался в наше время магазин велосипедных частей, находилась контора газеты «Копейка», а в глубине двора, в маленьком флигеле, редакция обоих редактируемых Архиповым журналов, первых «толстых» журналов для многих из нас.

Архипов не ждал, когда писатели завернут к нему, он искал их, находил, печатал на свой риск и редко ошибался. Архипов умел находить не только писателей, но и издателей, что было значительно труднее. Я вспоминаю, как за столиком ресторана «Мартьяныч», с половыми в белых полотняных рубахах, подпоясанных красным кушаком, Архипов уговаривал тощую, старомодную купчиху из Рыбинска стать издательницей журнала. Он сулил ей не столько доходы, сколько общение с писателями, литературный салон, который будет она возглавлять наподобие Зинаиды Волконской, и не помню что еще наобещал он ей, высокий, представительный, с полудужками усов, элегантный и медоточивый. Но впоследствии я увидел во флигеле, где помещалась редакция «Новой жизни», эту купчиху и понял, что Архипов уговорил все-таки рыбинскую госпожу Бовари стать издательницей столичного журнала.

Как-то во дворе дома Герцена я встретил шедшего с Архиповым Василия Александровича Регинина, прославленного своей находчивостью редактора журнала «Аргус» и «Синий журнал», а в дальнейшем «30 дней». Василий Александрович, человек иронический, неутомимый рассказчик, нередко придумывавший на ходу литературные

истории, обычно оживленный и разговорчивый, был на этот раз, однако, невесел.

— Что-нибудь случилось, Василий Александрович? — осторожно осведомился я.

— Случилось,— ответил он мрачно.— Случилось, что не состоялась наша с Архиповым жизнь. Вот мы и размышляем с ним о том, почему же она не состоялась? А потому, что был журнал — был и редактор, а не стало журнала — и редактора как не было. Писателю хорошо, у него остаются книги.

— П-позвольте, Василий Александрович,— сказал Архипов, как обычно, чуть заикаясь,— я ведь тоже как-никак писатель, есть и у меня книги.

— Нет, мы с вами только бывшие редакторы,— ответил Регинин безжалостно.— А книги вы написали лишь потому, что и другие их пишут, просто соблазнились. А я вот не соблазнился, ни одной книжки не написал, а наверно мог бы. Так что мы с вами не писатели, а спиральная туманность. Идемте-ка лучше в Клуб писателей обедать.

Конечно, в глубине души Регинин думал все же иначе: он думал, что труд редактора — это не дым и что будущий историк литературы, определяя те или иные всходы, вспомнит и того, кто эти всходы растил... пусть садовник и не оставляет своего имени, но все же эти деревья посадил он, и если Регинин грустил, то лишь потому, что любимое дело было для него уже далеко позади.

Они пошли обедать в Клуб писателей, Архипов сохранял независимый вид, а Регинин был скептик и любил называть вещи их именами.

— Если вы действительно писатель, то закажите омлет, это легкое блюдо, как раз для писателя,— сказал он Архипову.— А я закажу окрошку и бифштекс, я только редактор, мне можно.

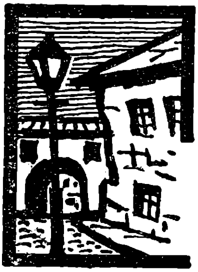
Писатель Александр Степанович Яковлев, хорошо знавший звездный мир, сказал мне как-то, глядя на темное, полное звезд, осеннее небо:

— Когда смотришь на звездное небо, всегда знаешь, какая звезда первой величины, а какие составляют лишь созвездия... а в литературе взглянешь иногда на небо и не найдешь звезды, которая еще вчера считалась первой величины. Зато где-то так остро, так блестяще просвечивает новая звездочка и на глазах разгорается.

Яковлев много испытал в своей жизни и хорошо знал, что истинный звездный свет никогда не создать искусственно, знал он и какую роль в жизни писателя играют добрый совет и добрая рука в нужную пору и как эти незримые свойства способствуют образованию духовного мира, а следовательно, и действию писателя.

— Ничего, Николай Архипович,— утешил раз Архипова тот же иронический Регинин,— сегодня мы с вами только негативы, а завтра нас проявят и мы станем фотографиями.

БРОДЯЧАЯ СОБАКА





В подвале одного из домов по Нижне-Кисловскому переулку, подвале в свое время винном, а ныне служащем складом Москниготорга,— в ту пору, которая носит название «нэп», помещалось некое странное учреждение. Именовалось оно «Подвал друзей театра», а его директором и идейным вдохновителем был человек неистовой фантазии и неукротимого деятельного темперамента, артист и театральный работник Борис Пронин. Ныне это имя забыто. Но была пора, когда Борис Пронин слеплял, так сказать, литературно-артистические гнезда, и слеплял с хорошим воображением, шумно и несомненно талантливо.

В «Подвале друзей театра», членский билет которого у меня сохранился, после 11 часов вечера, когда кончались спектакли, было непроглядно от табачного дыма, длинные доски на пустых бочонках, оставшихся от винного прошлого подвала, служили сиденьями, и наряду с известными деятелями литературно-театрального мира появлялись расслабленные снобы нэповской поры, непризнанные балерины бесчисленного количества московских балетных студий, возглавлявшихся студией Нелидовой-Собещанской, и наркоманы провинциальной формации, с присыпанными



Марка подвала «Бродячая собака»

порошком кокаина лацканами купленных по случаю смокингов. Один из московских цветоводов-любителей специально поставлял в подвал хризантемы, которые украшали петлицы пиджаков или смокингов золотушных юношей.

Борис Пронин был изобретателен и особенно развил эту изобретательность в прославленном петроградском подвале «Бродячая собака», о котором сохранилось немало литературных воспоминаний. Бывали время от времени в этом подвале и литературные скандалы, и об одном из них рассказывает в письме, случайно попавшем мне в руки, критик Д. Л. Тальников Ивану Бунину: «О петербургских скандалах футуристов и истории с Бальмонтом Вы, Иван Алексеевич, вероятно, читали. Бальмонта после его лекции чествовали в подвале «Бродячей собаки» Сологуб, Потемкин, Ремизов, Е. Аничков и др. «Поэта, окруженного цветами», как описывает «Биржевка», чествовали рядом экспромтов. Первым прочитал Сологуб следующее: «Мы все лаем, лаем, лаем, мы Бальмонта величаем. И не чаем, чаем, чаем, угощаем его чаем и «Собаку» кажем раем». Бальмонт ответил: «Всегда я думал, что собака не совместима с тем, кто кошка. Теперь я думаю инако и полюбил уже немножко». Дальше было еще нелепее и глупее. Сологуб сочинил новое: «Не все на свете вой и драка, не вечно в тучах горизонт, залает ласково собака, лишь приласкай ее Бальмонт»... Говорил проф. Аничков и еще многие. Но закончился вечер печально для Бальмонта. Оче-

видно, собака не всегда «ласково лает, лишь приласкай ее Бальмонт»: к поэту подошел какой-то футурист, плеснул в него вином и дал ему сильную пощечину. «Я хотел дерзнуть»! — кричал футурист при этом.

В «Речи» вчера Сологуб и др. выражают негодование правлению «Бродячей собаки», которая не оградила чествуемого знаменитого поэта от оскорблений; а Сергей Городецкий вызывает к третейскому суду Сологуба и всех, подписавших протест, за легкомысленное и неправильное обвинение «Бродячей собаки».

Таковы нравы... подробно сообщаю Вам, Иван Алексеевич, так как знаю, что Вас интересуют эти «документы современности».

Конечно, скандал, возможно, и был: угощали не чаем, кстати, и Бальмонт был не из тихонь, но от «Бродячей собаки» остались не только воспоминания подобного рода. Осталась и книжечка, отлично отпечатанная, ныне весьма редкая. В «Бродячей собаке» чествовали в 1914 году знаменитую балерину Тамару Платоновну Карсавину. Имя Карсавиной, пожалуй, не менее легендарно в истории русского балета, чем имя Анны Павловой. Красота Карсавиной пленяла не одного художника, в том числе и взыскательного В. Серова: его рисунок Карсавиной со спины является шедевром русского рисовального искусства.

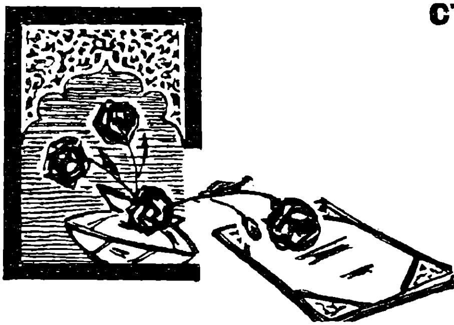
В память об этом вечере в честь Карсавиной — за три месяца до начала первой мировой войны — и был выпущен сборничек-памятка, вероятно, продававшийся при входе, а может быть, его стоимость входила в цену входного билета. Сборничек был напечатан на лиловатой меловой бумаге с посвящением на титуле: «Тамаре Платоновне Карсавиной». «Бродячая собака». 26 марта 1914». Н. Евреинов посвятил ей вступительную статью, напечатанную золотом, а на других страницах факсимильно воспроизведены стихи поэтов М. Кузмина, Н. Гумилева, Анны Ахматовой, М. Лозинского, Георгия Иванова и Потемкина, посвященные Карсавиной. Воспроизведены в сборничке некоторые в красках с золотом, портреты Карсавиной работы В. Серова, С. Судейкина, С. Сорина...

«Как песню слагаешь ты легкий танец — о славе он нам сказал — на бледных щеках розовеет румянец, темней и темней глаза. И с каждой минутой все больше пленных, забывших свое бытие, и клонится снова в звуках блаженных гибкое тело твое».

Я не нашел этого стихотворения в книгах Ахматовой: может быть, автор считал его проходным; но это хорошее стихотворение и вспомнить о нем все же следует.

Проходя иногда по Нижне-Кисловскому переулку и глядя на очередной грузовик, с которого сгружают в подвал книги, я вспоминаю шумный и бестолковый подвал, облюбованный Борисом Прониным для единения муз... только музы оказались не те, и способ их объединения был устаревший: времена «Бродячей собаки» давно миновали.

Но памятка об одном из вечеров в ней, памятка почтительная, с обложкой и заставками, выполненными несомненно лучшими художниками-графиками той поры,— памятка эта лишний раз подтверждает истину, что ничто напечатанное не исчезает, а нередко как бы наводит фокус на многое, уже стертое временем. Извлеченное из глубины, оно неизменно поднимает вместе с собой и то, что окружало его, и совокупность этих разорванных линий и создает картины литературной жизни той или иной поры.



СТРАНИЦЫ ЦИРКА

Несколько лет назад вдова одного певца предложила мне приобрести у нее вместе с книгами некий орга́н-оркестрион, массивный ящик с огромными зубчатыми дисками. Я положил на круглую плоскость органа один из дисков, стал крутить ручку, похожую на заводную ручку автомашины, из утробы органа тягуче, меланхолически и почему-то необычайно грустно полились звуки старинной русской песни «Не брани меня, родная...», и я вспомнил многое, что было связано с детством, и понял, почему звуки органа показались мне столь пронзительными по своей печали.

Во двор нашего дома — полутемный и похожий на глубокий колодец, пристанище детских игр вроде лапты или «чижика» — приходил серб с шарманкой через плечо и печальной обезьянкой в красных шароварах и цветной распашонке из ситца. Мы хорошо знали гугнивые и тягучие звуки шарманки серба, у нее всегда что-то скрипело и всхлипывало в больной груди. Серб, грустный с беловатыми оспинами на смуглом лице, крутил ручку шарманки, уныло тянувшей «Шум на Марице...», а обезьянка с близко поставленными серьезными глазами, словно знающая заранее свою судьбу, сидела на шарманке, ее тонкие ручки с пепельными ладонями высовывались из полурукавов распашонки, за «Шумом на Марице» следовала «Любила меня мать, обожала», серб крутил ручку, из окон верхних этажей падали завернутые в бумажку медяки, и серб поднимал голову, смотрел наверх и кивал головой, благодаря, а потом обезьянка забиралась к нему за пазуху, обнимала его шею тонкой ручкой чахнущего от туберкулеза существа, и серб уходил со своей шарманкой, оставив во дворе печаль и раздумье, и уже нельзя было безмятежно играть в «чижика»...

Мы, дети, думали наверно о Марице, о Сербии, где видимо, бедно и голодно живется, думали о тропических странах, откуда привезли в холодную Россию умирать обезьянку,— кто знает, какие мысли пробуждаются в раннюю пору, когда подросток только узнает первые радости и печали жизни, и как из этих первых впечатлений рождается то, что создает впоследствии писателя, художника, артиста или музыканта?

Иногда во двор приходили акробаты. Они быстро сбрасывали с себя пальто, оставались в белом грубом трико, раскатывали посреди двора коврик, и руки двух рослых и сильных подхватывали обязательно маленького худенького мальчика, или бескостную девочку-танцорку, с глазами, в которых не было детства; на пружинящих мускулах двое взрослых поднимали один другого, перекидывали мальчика или девочку, и мы дома с замирающим сердцем читали трогательный рассказ Григоровича «Гуттаперчевый мальчик», живой прообраз которого видели только что.

Но все это были лишь первые наброски впечатлений,— истинное волшебство открылось нам в цирке. Сиреневые дуговые фонари феерически горели возле цирка Саломон-

ского или Никитина на Цветном бульваре. В свету фонарей серо порхали снежинки, свет побеждал их, как и зиму; внутри цирка, в его округлом фойе, стоял неповторимый острый запах арены с ее пушистым ковром из песка и опилок, запах конского аммиака, помета диких зверей, запах клеевых красок от вызолоченных колесниц и гигантских, в царапинах от когтей, табуретов, стоявших в глубине фойе, в рабочей его части.

А под куполом дрожал тот же сиреневый свет дуговых фонарей, наверху, в клеточке для оркестра, настраивались скрипки, мы вступали в мир ловкости, коротких выкриков, трагических пауз, когда в оркестре начиналась вдруг тревожная дробь барабана, а где-то, под самыми конструкциями купола, трепыхалась серебряная бабочка-акробатка для опасного сальто-мортале... Рывок, полет, короткий торжествующий выкрик и мгновенный, возвещающий благополучный исход, туш в оркестре.

Когда-то, уже много лет спустя, я встретил в одном из московских кафе пожилого, утомленного человека. Он читал газету на палке, отпивал из чашки кофе, а потом к нему подсел полный, красивый, элегантно одетый хозяин кафе, и мне сказали, что это Бим и Бом, знаменитые музыкальные клоуны. Бом, настоящая фамилия которого была Станевский, бросил в эту пору цирк и стал владельцем кафе «Бом» на Тверской, а Бим, фамилия которого была Радунский и книгу которого «Записки старого клоуна» прочел я впоследствии, просто пришел выпить кофе к своему бывшему партнеру. Знаменитые музыкальные клоуны сидели и беседовали, я смотрел на них издали и думал, что они и не узнают никогда, как для того, чтобы увидеть их на арене цирка, подросток копил деньги на билет. И вот, живо болтая на ходу, с нарочитыми нелепыми голосами, выходили два клоуна: один в классическом, сверкающем блестками, клоунском костюме, другой — в широчайшем пиджаке и полуаршинных лакированных туфлях, вынимали из кармана крошечные, как табакерки, гармоники или приносили полешки, превращая их затем в деревянный ксилофон, или раскачиваемая пила напевала рапсодии...

Музыкальные клоуны словно убеждали, что музыка заключена всюду, нужно только уметь ее извлечь,— наверно, они полагали, что лишь забавляют, не думая о том, что побуждают к рвению не одно музыкальное дитя.

Я смотрел в кафе «Бом» на этих двух непримечательных в обычной жизни людей, и думал о том, что не удивился бы, если бы один из них сыграл что-нибудь на кофейной чашке, а другой стал бы извлекать звуки из сахарницы: это было несомненно в их возможностях. Тогда я не знал, что Бим тяжело переживал уход Бома из цирка в коммерцию...

Во время антрактов можно было пройти в цирковую конюшню. У входа служители продавали на подносах сахар и морковку, а с морковкой и сахаром в руках можно было делать чудеса. Маленькие, игрушечные, но злые шотландские пони, с их гривкой бобриком, понимали, что морковка в руке — это доброе начало и не позволяли себе прихватить зубами детскую руку. Старые испытанные лошади, которые в неспешном галопе несли на широком плоском седле наездницу, пробивающую на ходу прыжком в воздухе обручи с тонкой бумагой, или более молодые — с шахматно-расчесанными боками, умевшие раскланиваться и становиться на колени, или буйные степные коньки, привыкшие к бешеной вольтижировке,— они стояли сейчас в два ряда, головами к проходу, вытягивали шеи, подбирали мягкими замшевыми губами хлеб или морковку, благодарно трясли головами, расшаркивались: они были воспитанные, знали вальсы Штрауса, знали, что пистолетный щелчок шамберьера — это только для блеска и шика, но и из уважения к шталмейстеру делали вид, что без него ни на что неспособны, по его знаку становились на задние ноги или падали на колени и раскланивались с эгретами на точеных головках красавиц, с блестящими по-восточному карими глазами и тонкими горячими ноздрями, красновато просвечивающими после бега на арене или вольтижировки.

В одном из стойл тряс головой козел с длинной бородой пророка, его бесцветные глаза были ко всему равнодушны, а горбатая верхняя губа над выпяченной нижней шевелилась из стороны в сторону: он всегда что-то жевал и считал себя, по-видимому, покровителем конюшни. А дальше, но туда уже нельзя было проникнуть, лаяли на все голоса собаки, маленькие, с потеками под глазами, болонки, умевшие ходить на одних задних, будто из слоновой кости, ножках, отважные боксеры, отбивающие головой легкий мяч, и всезнающие умнейшие фокстерьеры, легкие и бесстрашные, с литыми, из одних мус-

кулов, телами... Мы слышали в голосах собак голос чеховской Каштанки и ждали каждый раз во время представления, что мальчишеский голос крикнет вдруг с галерки: «Тузик!» или «Шарик!», и одна из собак скачками ринется по лестнице в проходе наверх, к единственному существующему для нее в мире голосу...

Но вот, заглушая голоса собак, раздастся низкий рык, похожий на приближение грозы, перед третьим отделением обнесут железными решетками арену, тревожно зажгутся полным светом после антракта шипящие фонари, и ослепленные, мстительные, ненавидящие человека львы, тигры и пантеры, нехотя, жмурясь, выбегут на арену, появится укротитель в ковбойской шляпе и мокасинах, бесстрашный, с пистолетами в обеих руках, сразу выстрел-другой, львиный рык, шест, которым тычут в морду зверя, чтобы он огрызнулся, игра со смертью, запах пороха, щелканье бича... Ночью нам снятся страшные сны, но мы все-таки понимаем, что если не стрелять в упор в тигра, не обжигать кончиком бича льва, не тыкать шестом в морду львицу,— звери наверно мирно выполнили бы все, что умеют, потому что властелином мира является все же добро, а не зло, и укротителю в мокасинах нужно было лишь внушить, что он играет со смертью, но наше сочувствие было все же на стороне львов... отчего бы им, если их хорошо кормят и хорошо обходятся с ними, не попрыгать через обручи с табурета на табурет и не побалансировать на перекладине? Много лет встречал я в переулке, в котором живу, пожилого полного, с мясистым добрым лицом человека. Он шел неспеша, наверно откуда-нибудь из овощного магазина, или с рынка, нес в сетке овощи и бутылки с молоком, и рядом с ним шел старый шнуровой пудель, который знал все на свете, знал и понимал: он был уже очень старый, иногда он нес в зубах газету, и они уходили — хозяин и его пудель — оба уже много испытавшие в жизни, знавшие, несомненно, иные, более веселые времена. А потом я стал встречать этого человека уже без собаки — пудель наверно умер — и человек шел один, с сеткой в руке, в сетке были картофель или морковь, или бутылки с молоком.

Как-то мы оба остановились одновременно возле одной из расклеенных афиш, и я спросил у человека:

— Я вас часто встречал с пуделем. Что с ним стало?

— Погиб,— сказал человек.— Он был уже старый, и

у него произошел удар, сначала отнялись ноги, помучился и погиб. Верный был у меня друг, такой верный, да и кровей хороших, его бабка еще у Владимира Леонидовича Дурова работала. Я ведь тоже циркач,— сказал человек еще.— Был коверным, вы наверно такой специальности и не знаете.

— Почему же? — ответил я.— Отлично знаю такую специальность... наверно, очень многие обязаны добрым расположением духа коверному, если они накануне побывали в цирке, только сами не сознают это.

— Вы что же — любитель цирка? — спросил меня человек.— А занимаетесь чем? Что ж,— задумался он после моего ответа,— Куприн о цирке хорошо писал. Была у меня книжка Куприна, да зачитал кто-то.

Я пообещал достать ему книгу Куприна с рассказами «В цирке» и «Allez», записал его адрес — Андрея Ивановича Мосолова — и занес ему как-то Куприна и в придачу жизнеописание семьи знаменитых клоунов Фрателлини. Андрея Ивановича дома я не застал, и девочка, впустившая меня, провела к его соседке. Старая больная женщина, лежавшая укрытая пледом на диване, взяла у меня книги.

— Андрей Иванович за молоком для меня пошел,— сказала она.— Вы давно его знаете?

— Нет, не очень,— ответил я.

— Таких людей только поискать... и обеды для меня из столовой носит, а кто я для него, собственно... просто больная старуха.

Я оставил книги и ушел, а потом я уехал и встретил Андрея Ивановича только полгода спустя, вернувшись осенью в Москву.

— Что же, занесли книжки, а адреса вашего не написали,— сказал он с упреком.— Я поэтому и не смог вернуть их вовремя.

— Оставьте эти книжки себе. Все-таки история трио Фрателлини наверно заинтересовала вас.

— Что ж, спасибо,— сказал он в раздумье.— Теперь только читать и осталось... умерла моя подшефная Анна Акимовна, она вдовой известного в свою пору борца была, он с самим Поддубным работал, так что мне теперь заботиться не о ком. Вы все-таки дайте мне свой адрес.

Я записал ему в книжечку адрес и получил как-то, год спустя, коротенькое письмо из Прилук:

«Пишет вам бывший коверный, если помните меня. Я Москву бросил, уехал в свой родной город к сестре, она уже старая, и нам легче быть в старости вместе. Фрателлини и Куприн со мной, храню на память; если что-нибудь еще попадется о цирке, пришлите, пожалуйста. А то скоро придется, наверно, объявить на вечные времена антракт».

Я ничего подходящего не нашел, а потом нашел все-таки и послал «Мои питомцы» Бориса Эдера, но ответа не получил, и на письмо, которое послал позднее, ответа тоже не получил, и понял, что Андрей Иванович объявил антракт на вечные времена...

Как-то журнал «Советский цирк» просил меня написать что-нибудь о цирке. Художник Даниил Борисович Даран, недавно умерший, страстный почитатель циркового искусства и создатель целой галереи цирковых образов, тоже побуждал меня не раз написать о цирке. Я написал для журнала то, что составляет эту главу, и с рисунками Дарана это было напечатано в одном из номеров журнала.

— Видите,— сказал мне Даран,— а вы говорили, что ничего не можете написать про цирк.

Я ответил, что написал о цирке, помятуя о рассказах Куприна, об истории братьев Фрателлини и воспоминаниях Бориса Эдера и И. С. Радунского «Записки старого клоуна», и без этих книг мне вряд ли удалось бы написать о цирке.

— Книги книгами,— сказал Даран, но потом признался, что именно книга «Братья Земгано» Гонкуров обратила его к цирковой теме и, по существу, подтвердил то, что я не раз писал о книгах: что им дана власть над человеческим сознанием, и нередко именно они определяют жизненный путь человека.

Вскоре после того, как написанное мною о цирке, было напечатано в журнале, я получил по почте заказную бандероль, заключавшую книгу, и сопроводительное письмо к ней. Почтовый штемпель на бандероли был «Прилуки».

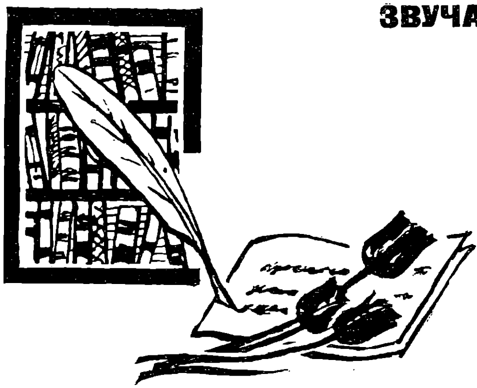
«Пусть вас не удивит это письмо»,— писал мне незнакомый человек,— «но я прочел в журнале «Советский цирк» ваш рассказ о бывшем коверном Мосолове. Я Мосолова не знал и жалею, что мы, может быть, были соседями в Прилуках, только незнакомыми. Вы написали в вашем рассказе или очерке, не знаю как его назвать, что

послали Мосолову книгу Бориса Эдера «Мои питомцы». Так вот недавно в Прилуках на базаре я нашел у одной женщины, продававшей всякое барахлишко, эту книгу и подумал: а может быть, это и есть та самая, которую вы послали Мосолову, но ответа не получили; наверно, она и не дошла до него. Я спросил у женщины, как попала к ней эта книга, но она сказала, что это книга ее сына и она ему не нужна. Я книгу купил и посылаю ее вам, считайте, что Мосолов прочел ее с пользой для себя и возвращает вам ее с благодарностью. Сообщите мне, какой у Мосолова был адрес, может быть, я разыщу кого-нибудь из его близких».

Адреса Мосолова я сообщить не сумел, он затерялся у меня, а книга Бориса Эдера, прибывшая из Прилук, стоит на моей книжной полке. В этой книге есть строка: «Я прожил нелегкую жизнь, но она была счастливой, ибо это была творческая жизнь». Все же именно книга позволила старому цирковому артисту выразить то, что было делом его жизни, а соединенная ныне с памятью о коверном Мосолове, о рассказах Куприна «В цирке» и «Allez!», возвращенная из Прилук книга Эдера обрела и особую жизнь.

Когда пишешь о книгах, всегда вступаешь в круг событий, связанных с ними, и может быть, самое прекрасное в том, что события эти беспредельны и неповторимы по своему разнообразию.





ЗВУЧАЛЬ ВЕСНЕЯНКИ

У поэта Василия Каменского была необычная судьба. Этот человек, рослый, с нимбом золотых волос и открытым красивым лицом, всегда представлялся мне как бы в полете. В известной степени это соответствовало и его биографии: он был одним из первых русских летчиков, и на страницах «Синего журнала» или «Всемирной панорамы» печатались портреты авиаторов рядом с их самолетом из дощечек и проволок, по образцу тех, на которых летали и удивляли в свою пору зрителей Дорнье и Уточкин. Каменский даже одному из своих стихотворений «Приехал в Ялту» предпослал посвящение «А. Кусикову — с полётностью».

Но если начало жизни Каменского представлялось в полете, то долгий и мучительный закат, когда Каменский лишился обеих ног, был жестоким и сумрачным, не угасившим, однако, жизнелюбия этого словотворца, начинавшего свою поэтическую песню вместе с Маяковским.

Василий Каменский написал ряд книг; две наиболее известные — это прозаическая книга «Землянка» и книга стихов «Звучаль веснеянки», вышедшая в 1918 году в Москве в издательстве с весьма странным названием «Китоврас». Поэта Василия Каменского любили молодые актеры того театра, который впоследствии стал называться «Театром Вахтангова», любил его, видимо, и сам Евгений Багратионович Вахтангов. Во всяком случае, желая сделать что-либо приятное актеру и режиссеру Борису Ильичу Вершилову, он подарил ему именно «Звучаль веснян-

ки» с такой надписью: «Дорогому Борису Ильичу на воспоминание о 50-ти разии «Дверей».

Вершилов хранил подарок Вахтангова, но около десяти лет спустя, в 1927 году, подарил в свою очередь эту книгу режиссеру и актрисе 2-й студии Московского Художественного театра Елизавете Сергеевне Телешовой, сделав своего рода передаточную надпись: «Одну из моих небольших «реликвий» милой Елизавете Сергеевне, товарищу и другу в искусстве, в память прошлых, настоящих и будущих совместных работ».

Так книга Каменского переходила из одних актерских рук в другие, и автор, конечно, не мог и предполагать подобной ее судьбы. Но что вообще может предполагать писатель, когда уподобленная судну выходит его книга в океан: где и когда она разобьется и потонет, а где ее выбросит на берег и она станет другом какого-то совсем неизвестного человека, о котором автор никогда не узнает?

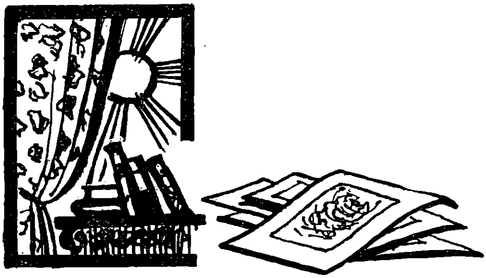
От той поры, когда Каменский на своей книге «Землянка», тоже хранящейся у меня, сделал весьма выспренную надпись: «Анне Ясносветной Александровне от осеннего сердца автора — всегда близкого к чутким девушкам»,— от этой далекой поры 1911 года до дней, когда отмечалось 25-летие его литературной работы, прошла, по существу, целая жизнь. «Я прожил 50 лет, но только сейчас начинаю понимать, что такое жизнь»,— сказал тогда в Оргкомитете Союза советских писателей Василий Каменский. «Я с гордостью заявляю, что первую свою жизненную 50-летку кончаю начинающим социалистическим поэтом».

«В декабре 1921 года в 3-й студии Художественного театра состоялись закрытые вечера Маяковского, Пастернака и Василия Каменского» сообщалось в журнале «Театральное обозрение» той поры.

Словотворчество Василия Каменского, вероятно, осталось в памяти Евгения Багратионовича Вахтангова, тонко чувствовавшего слово: это можно предположить потому, что книгу Каменского он, видимо, ценил, если именно ее подарил Вершилову в память о пятидесятом представлении одной из пьес, быть может, совместно поставленной.

Так из надписи на книге возникает иногда широкий мир прошлого, и если не ленишься и полистаешь страницы этого прошлого, нередко поиск порадует и находка: жалеть на этот счет усилий никогда не следует.

ЛАДА



Первый живой литератор, которого привелось мне увидеть в моей жизни, была поэтесса Любовь Столица: мне было поручено привезти ее на школьный вечер Лазаревского института восточных языков, в котором я учился.

Я бережно привез на извозчике пышную даму, весьма напомнившую мне впоследствии кустодиевских, красивых славянской изобильной красотой купчих. Да и ротонда на поэтессе была плюшевая, а розовое ее лицо тонуло в мехах. Моя юность навсегда запомнила этот образ, запомнил я и то, что поэтесса на обратном пути пожелала покататься на лихаче по морозным аллеям Петровского парка, читала мне под обледенелой луной стихи: «Юнош бледный, юнош стройный, ты совсем меня пленил», а «юнош» мучительно высчитывал хватит ли у него денег на лихача и мерзнул в своей шинелишке рядом с теплой ротондой. Заиндевелый извозчик, который привез нас, наконец, на какую-то глухую улицу возле путей Курской железной дороги, сказал мне сочувственно: «Пойди, погрейся у вдовы» и удивился, когда я отпустил его и поплелся домой пешком: денег на дорогу домой у меня не осталось.

Думаю, что ничего обидного для памяти первой встреченной мной поэтессы в этих воспоминаниях нет. Стихи Любовь Столица писала совсем неплохие, и среди русских поэтесс была отмечена в свою пору вниманием. Ее дальнейшей судьбы я не знаю: кажется, она умерла в эмиграции; но дело не в этом.

Как всегда, первые впечатления остаются на всю жизнь, а тем более, если о них вспоминает писатель и если это так или иначе связано и с некоторыми подробностями литературной жизни, хотя бы и давно ушедшей.

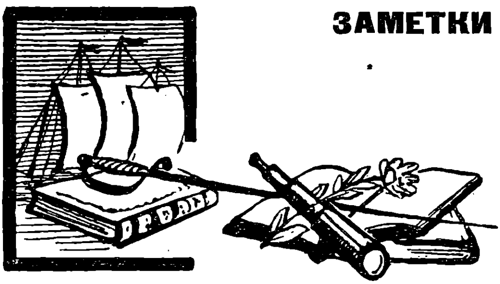
Много лет, однако, или даже десятилетий, у меня не было повода вспомнить о Любови Столице, а школьные воспоминания все же нечто вроде дымка, который лишь изредка провеет в памяти, и то на далеком ее горизонте. Года два назад, перебирая книги на так называемом развале, куда в книжных магазинах ценных книг не кладут, я нашел «роман в стихах» Любови Столицы «Елена Деева» в самом плачевном состоянии: еще полгодика, и истерзанную книжку можно было списать за изношенностью. На титульном листе этой книжки оказалось, однако, авторская, надпись, трогательная потому, что обращена она была к матери: «Дорогой, горячо любимой матери, в которой есть кровь Деевых, всегда ее Люба. 1915. Декабрь Рождество».

Можно легко представить себе, как мать хранит книги сына-писателя или дочери-писательницы, даже если на них и нет надписи. Тем более, можно было представить себе, как хранила эту книгу мать поэтессы, и, конечно, лишь смерть разлучила ее с нею, а дальше книга стала никому не нужна и отправилась в букинистическое странствие.

Я купил эту книгу, отдал переплести ее, и «роман в стихах» встал на мою книжную полку. Некоторое время спустя в другом книжном магазине, и тоже на развале, я нашел еще одну книгу Любови Столицы, вышедшую в 1912 году в издательстве «Альциона» с обложкой работы С. Т. Коненкова и книжными украшениями А. А. Арапова, весьма привеченную в свое время. На этой книге «Лада» в подзаголовке названной «песенник», тоже на выходном листе была авторская надпись и тоже матери: «Неизменно любимой матери от ея Любви. 13.IV.1912».

Книга эта, весьма буйная и хмельная, чем-то приближалась к ранним книгам Сергея Городецкого «Ярь» и «Перун». И я опять поступил так же с этой истерзанной книгой: отдал ее переплести и поставил на полку с чувством, что спас от гибели то, что было, вероятно, так дорого сердцу матери поэтессы. А потом я набрел и на третью книгу Любови Столицы «Раиня», на этот раз с авторской надписью известному артисту, прославившемуся в раннем кино В. В. Максимову: «Многоуважаемому Владимиру Васильевичу Максимову произведения своей юной Музы с некоторым смущением дарит Любовь Столица.»

Я поставил все три томика рядом и задумался не столько о судьбе их автора, сколько о судьбах матерей, и не следует полагать, что я слишком обобщил случайные находки: они появились почти в одно время, эти книги,— следовательно, хранились у кого-то, кто разом расстался с ними, а когда расстаются разом, значит, течение жизни было не совсем ровным, и нельзя быть лишь равнодушным собирателем, хватающим книги без всякого размышления о их судьбе. На задней обложке книги «Раиня» есть надпись: «Склад издания у автора. Москва. Владимирка. № 36». Владимиркой и называлась, видимо, та окраинная, в ту пору глухая, с деревянными домишками, улица возле путей Курской железной дороги, куда я отвозил на московском извозчике, в скрипучий мороз, розовую и пышную поэтессу, первого увиденного в моей жизни живого писателя: как же было не вспомнить об этом, ставя на полку книги стихов поэтессы с надписями на них, обращенными к матери, и конечно, лишь смерть разлучила мать с этими книгами.



ЗАМЕТКИ ФЛОТОВОДЦА

Знаменитый русский флотоводец Василий Михайлович Головнин был в то же время отличным писателем. Словом он владел острым и точным. Его «Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, и жизнеописание автора» (1851) если и не могут быть поставлены в один ряд с «Фрегатом «Паллада» Гончарова, то, во всяком случае, это увлекательная, отлично написанная книга.

За плечами знаменитого флотоводца лежали не одно морское плавание и изыскание; знал он много. Книги он любил и читал их вдумчиво и критически, делая на полях

карандашные отметки, то гневные и обличительные, то деловые и саркастические.

У меня хранятся два томика, некогда принадлежавшие Головнину, с надписью владельца и исписанные на полях его пометками. Томики эти под названием «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» отпечатаны в Санкт-Петербурге в Морской типографии в 1810 году. Пометки Головнина на полях этих книг свидетельствуют о внутренней прямоте прославленного моряка.

Описывая свое путешествие, Давыдов отмечает, что, несмотря на крайнюю бедность жителей, поселенных к низу Лены, между Олекминском и Якутском, бывают такие проезжие, которые, считая себя по отдаленности края вне опасности от жалоб, не только не платят жителям их прогонных денег, но еще и с них собирают.

«Ужасно! — отмечает головнинская рука на полях книги.— Но, к несчастию, справедливо. Штатные чиновники дерут с них кожу. В 1813 году почтмейстер из Якутска ехал в Иркутск, брал по 9 и 11 лошадей, а прогоны платил по подорожной за пару!»

В другом месте, где Давыдов отмечает, что тунгусы приучены русскими купцами к водке, справедливая головнинская рука приписывает сбоку: «Да и чиновниками тоже». Головнин возмущен тем, как русские чиновники притесняют чукчей (чугачей), учат их притворяться и лгать.

«Да и как же быть сему иначе? — гневно восклицает он.— Какой народ может говорить искренно со своими притеснителями?»

Царская политика на Крайнем Севере России отличалась колонизаторской жестокостью. Так называемых островитян заставляли присягать в верности государю. Резкая отметка Головнина стоит на полях книги против соответственного текста: «Однако ж это дело! Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!»

«Тяжела жизнь островитян, страдают они болью в груди от усиленной и продолжительной гребли в байдарке, впадают в чахотку и лишаются сил»,— отмечает в своем описании Давыдов.

«Везде видны следы христиан, озаряющих светом истины народы непросвещенные... для пополнения

своих карманов»,— отмечает Головнин. «Поступки человека к человеку поневоле заставляют сомневаться в бытии божием. Провидение! открой истину непросвещенным обитателям земного шара и избавь от трудов и хлопот библейские общества приготовлять им на многих типографических станках ц а р с т в о н е б е с н о е!» — пишет со страстью Головнин, имея в виду библейские и миссионерские общества, насаждавшие во всем мире колониализм.

Головнин с величайшим сочувствием относится к малым северным народам.

«Сколько открытий имеют дикие, могущих быть для нас полезными, но пользоваться ими несовместно с нашим честолюбием!» — отмечает он по поводу сообщения Давыдова об умелости и сноровке островитян. В главе о распространении среди островитян христианской веры Давыдов отмечает, что прибывшие на Кадьяк архимандрит и монахи встретили много препятствий в исполнении своих намерений и что препятствия эти были и от незнания священниками языка. Головнин добавляет на полях: «и дурного их поведения и от нелепости преподаваемого, но более от того, что примеры отнюдь не способствовали учению»,— имея в виду невежество и распутство духовных лиц, «самых мерзких людей!» — определяет Головнин.

Во множестве карандашных пометок, подчеркнутых строчках, восклицательных и вопросительных знаках можно ощутить твердый характер знаменитого мореплавателя, патриота и оберегателя русской чести. В пометках этих во всей полноте проявляется благородство просвещенного деятеля, непримиримого к взяточничеству, поборам и угнетению человека.

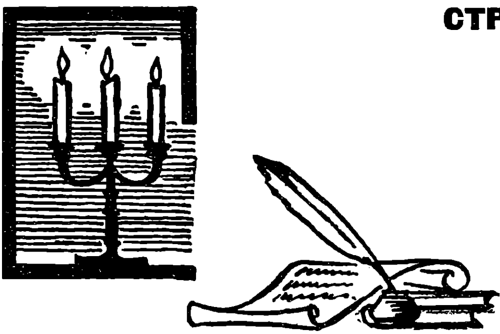
«Убей, да поделись, эпиграф русского законодательства на опыте»,— пишет Головнин по поводу царской политики, осуществлявшейся чиновниками среди малых разоряемых народов Севера.

В двух томиках Хвостова и Давыдова с пометками Головнина запечатлен целый исторический период России, когда ее просвещенные и отважные люди проникали в далекие моря, открывали новые земли, с сочувствием описывали малые, дотоле незнаемые народности, а следом хищно шли чиновники и полицейские, порабощая, грабя и спаивая целые народы.

С годами у человека меняются вкусы и пристрастия; я сожалею ныне, что давно расстался с большим собранием

книг русских мореходов, причем в первых изданиях, нередко с раскрашенными от руки атласами: Сарычева, Коцебу, Крузенштерна, Врангеля, Лисянского, Беллинсгаузена... Огромные волюмы с географическими картами и рисунками напугали меня, они были слишком громоздки для домашнего собирательства.

Теперь, когда в Антарктиде существует советский поселок «Мирный», названный в честь одного из кораблей, на которых Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду; когда Северный полюс давно нами обжит, а Северный морской путь стал обычной дорогой, и на ней среди других судов плавает атомоход «Ленин», к первым изданиям путешествий русских мореходов относишься так же, как к прижизненным изданиям классиков... Но книг этих у меня давно уже нет, осталось всего несколько, и среди них одна, о которой стоит сказать особо.

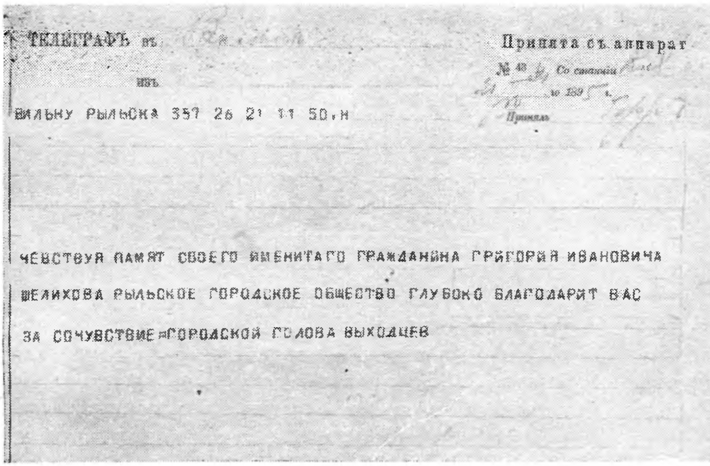


СТРАНСТВОВАНИЕ ШЕЛЕХОВА

В Иркутске, на кладбище бывшего Знаменского монастыря, сохранился и поныне памятник на могиле Григория Ивановича Шелехова. На памятнике выбита такая эпитафия:

Колумб здесь Росский погребен!
Преплыл моря, открыл страны безвестны.
И зря, что все на свете тлен,
Направил парус свой
Во океан небесный
Искать сокровищ горних, неземных.
Сокровище благих!
Его ты, боже, душу упокой!

Гавриил Державин


ТЕЛЕГРАФЪ въ

Принята съ аппарат

изъ

ВИЛЬНУ РЫЛЬСКА 357 26 21 11 50,Н

ЧЕВСТВУЯ ПАМЯТ СВОЕГО ИМЕНИТАГО ГРАЖДАНИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА ШЕЛИХОВА РЫЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУБОКО БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА СОЧУВСТВИЕ=ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ВЫХОДЦЕВ

Оригинал телеграммы внучке Шелехова,
вклеенный в его книгу

С именем Шелехова связаны первые исследования Алеутских островов и острова Кадьяк, где им основаны были в 1784 году русские поселения. С именем Шелехова связана также широко известная деятельность Русско-Американской компании и просветительная работа: на далеких Алеутских островах Шелехов научил местных жителей земледелию и ремеслам. Он, как и Головнин, глубоко ценил нравственные качества этих обездоленных, способных людей, в дальнейшем жертв произвола и лихоимства духовенства и царских чиновников.

В 1793 году вышла книга «Российского купца Именитого Рыльского гражданина Григорья Шелехова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному Океану к Американским берегам, и возвращение его в Россию».

Книжка эта давно стала библиографической редкостью; один из ее экземпляров хранился в роду Шелехова, у правнучки Шелехова, жены генерал-майора, Надежды Сергеевны Соколовой, рожденной Шелеховой. В экземпляр этот вплетен ряд материалов о Шелехове, в том числе и подлинник телеграммы, посланной Рыльским городским

головой правнучке Шелехова по поводу следующего события.

21 июля 1895 года Рыльск чествовал память Шелехова в столетие со дня его смерти. Во вклеенной в книгу вырезке из «Нового времени» сказано: «Местная городская дума постановила соорудить памятник Шелехову, на что ассигновала 3000 рублей. Город был разукрашен с утра флагами, вечером состоялось гулянье в саду, где были показаны туманные картины, изображающие географические и этнографические особенности той местности, в которой сосредоточивалась деятельность Шелехова». Далее, в книгу вклеена вырезка из газеты «Русский инвалид» от 20 августа 1903 года: «Из Рыльска. 24 августа 1903 г. состоится торжество открытия памятника почетному гражданину г. Рыльска, известному моряку времен Екатерины Великой, Григ. Ив. Шелехову. Средства на сооружение памятника собраны подпиской по Курской губернии. Памятник представляет собой мореплавателя во весь рост; в правой руке статуи — подзорная труба, левая покоится на рукояти шпаги».

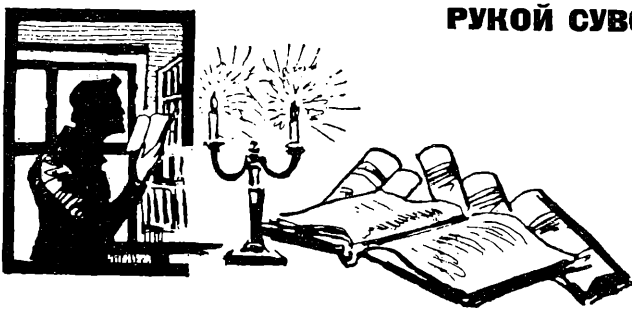
В книжку вплетена телеграмма, посланная 20 июля 1895 года из Вильно: «Как правнучка мужской линии Григория Ивановича Шелехова, присоединяюсь мыслью достойному делу чествования достойной памяти моего прадеда. Жена Генерал-майора Надежда Сергеевна Соколова, рожденная Шелехова». Вплетена в книжку и ответная телеграмма: «Вильну жене генерал-майора Надежде Сергеевне Соколовой. Чествуя память своего именитого гражданина Григория Ивановича Шелехова рыльское городское общество глубоко благодарит вас за сочувствие. Городской голова Выходцев».

Приложена к книжке и генеалогическая справка:

Григорий Иванович Шелехов.
Василий Григорьев. (К-р Гусарского полка)
женат на Дарье Герасимовне.

Сергей Васильевич.
Надежда Сергеевна
(замужем за А. А. Соколовым).

Так первое издание странствования Шелехова пополнилось последующими материалами и несомненно стало в свою пору семейной реликвией.



РУКОЙ СУВОРОВА

Великий полководец Александр Васильевич Суворов был страстным читателем книг; особенно влекли его книги по истории. Познание истории и исторические параллели нередко помогают современнику при решении тех или иных государственных, политических и военных задач.

Впав при Павле I в немилость и удалившись в свое поместье Кончанское близ города Боровичи ныне Новгородской области, Суворов проводил время за чтением книг. Можно представить себе старый помещичий дом, со скудным убранством, с потрескивающими в тишине зимнего вечера половицами и дрожащим от порывов ветра за окном пламенем восковой или сальной свечи. Можно представить себе и то, как отстраненный от дел легендарный старик бродит с медным шандалом в руке по глухим комнатам своего обветшавшего дома, и к его шагам тревожно прислушивается верный и преданный ему всей душой денщик Прошка...

Может быть, в один из таких одиноких вечеров, всклокоченный и небритый, кутаясь в халат на заячьем меху, читал Суворов книгу, которую разыскал я как-то среди подлежавших списанию книг, был сразу ослеплен ею, и она стоит у меня на полке теперь, как истинная по своей славной истории драгоценность.

Книга эта по содержанию вряд ли может быть интересна ныне, ее титул: «Луция Аннея Флора четыре книги римской истории от времен царя Ромула до цесаря Августа. С латинского на Российский язык перевел Регистратор Лев Прохоров. С указного дозволения. В Москве. В типографии Исаака Н. Зедербана. 1792 года». Но на титуле есть одна волшебная надпись: «Библ. А. В. Суворо-

ва», а в тексте мельчайшим почерком Суворова ряд его поправок.

Так, в главе о Туллии Гостиллии Суворов исправляет фразу: «...силою одного человека приобретена победа, которую однако же он обесчестил отцеубийством», заменяя слово «отцеубийство» на «сестроубийство». В главе о Второй Пунической войне Суворов особо подчеркивает строку: «Капуа для Аннибала тоже что и для Римлян Канны».

Мы памятуем из военной истории, что сражение при Канных и доныне является образцом охвата обоих флангов противника с последующим разгромом, помним и то, что на вопрос Ростопчина, кого Суворов считает лучшими полководцами, тот назвал Цезаря и Ганнибала.

Есть и другие подчеркнутые места и уточнения, и видно, что Суворов не только читал эту книгу, но и вносил критические поправки, и невольно размышляешь о том, что будучи сам творцом истории, он не терпел исторических искажений. «Смотри, как в ясный день, как в буре Суворов тверд, велик всегда! Ступай за ним — небес в лазури еще горит его звезда»,— писал Державин в 1797 году, именно в том году, когда Суворов подвергся опале и был сослан в свое имение — село Кончанское.

Есть у этой книги из библиотеки Суворова еще одна примета: на ее переплете из телячьей кожи выцарапана острием ножа или иглой надпись «Платов». Кто же этот Платов? Может быть, именно атаману Донского казачьего войска, одному из героев Бородинского сражения, может быть, именно ему принадлежала, как своего рода реликвия, эта книга из библиотеки Суворова?

Этого мы не узнаем, это лишь догадки, которые сопровождают некоторые книги, догадки поэтические по своей сути, в основе которых лежит прославление книги.

В позднейшей записи карандашом на одной из страничек принадлежавшей Суворову книги сказано: «У Геннади значится, что эта книга была переведена и в цензурный комитет представлена анонимно»; есть запись о том, что автор книги Анней Флор жил при императоре Траяне и его современниками были Плутарх, Тацит, Марциал, Плиний младший, Светоний...

Больше в этой книге ничего нет. Есть история, есть образ Суворова, есть неразгаданная тайна прошлого, придающая книге почти чувственную прелесть, словно глухой

зимней ночью, при дрожащем пламени свечи, в обветшавшем доме в Кончанском пожимаешь старческую, но вместе с тем как бы отлитую из стали руку Суворова.

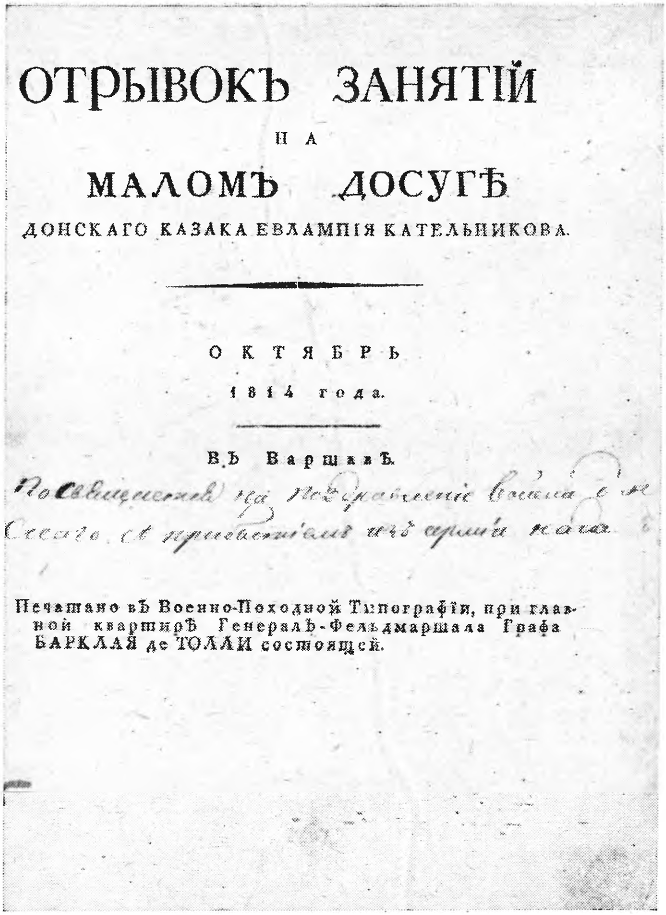
КНИГА ДОНСКОГО КАЗАКА



Существуют так называемые «летучие» издания; не все они имеются даже в основных наших книгохранилищах. По правилам каждая типография должна представлять по отпечатании любой книги обязательный экземпляр в основные библиотеки. Но летучие издания, может быть, именно потому и назывались летучими, что они исчезали иногда, нигде не оседая.

На редчайшей цветной гравюре художника-баталиста Зауервейда изображен бивуак донских казаков на фоне голубоватых Елисейских полей в Париже. Наполеон разгромлен в Отечественной войне 1812 года. Союзные войска вошли в Париж. Великий героический путь проделали в седле донские казаки. На Елисейских полях у коновязей стоят они в своих длинных синих мундирах-полукафтаньях, рослые представители могучего племени, колыбелью которого была Придонщина; другие сидят на земле возле походного костра, над которым подвешен котелок; третьи беседуют с француженками-маркитантками, сидя на конях, с пикой у ноги. Под гравюрой стоит подпись: «Бивуак казаков на Елисейских полях. 14 марта 1814 года».

В прямой перекличке с этой гравюрой находится и редчайшая книжка под названием «Отрывок занятий на малом досуге донского казака Евлампия Котельникова. Октябрь 1814 года. В Варшаве».



ОТРЫВОКЪ ЗАНЯТІЙ

НА

МАЛОМЪ ДОСУГѢ

ДОНСКАГО КАЗАКА ЕВЛАМПІЯ КАТЕЛЬНИКОВА.

ОКТЯБРЬ

1814 года.

ВЪ Варшавѣ.

Печатано въ Военно-Походной Типографіи, при главной квартирѣ Генералъ-Фельдмаршала Графа БАРКЛАЯ де ТОЛЛИ состоящей.

Титульный лист книги с авторской надписью

Книжка отпечатана в военно-походной типографии при главной квартире генерал-фельдмаршала Барклая де Толли, на пути возвращения русских казаков из Парижа после разгрома наполеоновских войск и изгнания Наполеона на остров Эльбу.

Сведения о есауле Евлампии Котельникове до чрезвычайности скудны. Известно только, что в 1817 году он был предан суду, в 1825 году посажен в Шлиссельбург-

скую крепость, а в 1826 году сослан в Соловецкий монастырь, где сошел с ума и умер. Его книжка, напечатанная в походе, состоит из двух частей. Вторая часть — «Продолжение занятий на малом досуге» — посвящена генералу от кавалерии, войска Донского войсковому атаману Матвею Ивановичу Платову, славному своими партизанскими делами. О нем писали многие и по-разному. Несколько гротескно изображает Платова Н. С. Лесков в своей повести «Левша». Образ Платова вдохновлял не одного художника. В издании 1894 года повесть Лескова под названием «Стальная блоха» вышла с рисунками художника Н. Н. Каразина, а в наше время, в 1955 году, с рисунками Н. Кузьмина; в обоих случаях Платов изображен как личность по-своему необыкновенная. Необычность этой личности отмечает в своих стихах и Котельников:

С Оки, за Днепр, за Неман, Вислу,
Чрез Одр, чрез Ельбу и чрез Рейн
Преплыть вперед, противу смыслу
Свирепого Врага за Сейн,
Верьхом в доспехах с казаками,
Без суден целыми Полками;
В ночи без звезд и без дорог
Скакать чрез твани, горы, скалы,
Сквозь лес, стремнины, чрез каналы,
Признайтеся! — никто б не мог.

Начинается же книжечка прославлением Тихого Дона:

. . . .
Преславный тихий Дон Иванов,
Во время грозного царя,
Душей младцов и атаманов
Изтек на реки и моря.
Противны бури презирая,
Волнами горы покрывая,
Занял Сибирь, страшил Кавказ.
И лаврами тогда венчался,
Вселенной царством он казался
И изумленным был Парнас!

Вторая часть книжки состоит из прозаического текста в виде диалога «между двумя донскими задушевными Односумами, на бреге Рейна, в прекрасный день мая сидевшими под ореховым деревом». Односумов звали Воинов и Победов.

«В о и н о в: Одни путешественники видали тебя, Рейн! а нам и во сне не снилось!

Победов: Правда, любезный друг! бывало донскова духу здесь слухом не слыхано, а ныне и в очи видать; бывало, ворон костей не занашивал, а ныне весь тихой Дон Иванович на Рейне».

Тоненькая книжечка эта, конечно, навеки зачитана и утеряна в походах; но один из экземпляров сохранился, притом с авторской надписью: «Посвящается на поздравление войска донского с прибытием из армии на Дон», и приятно, что почти 150 лет спустя можно напомнить о донском казаке Евлампии Котельникове, участнике похода на Париж, занимавшемся на «малом досуге» писанием стихов...

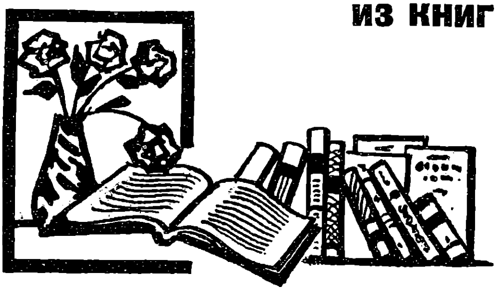
Как-то по просьбе газеты «Вечерний Ростов» я написал об этой книжечке, и вскоре та же газета напечатала отклик заместителя директора Ростовского областного музея С. Маркова; оказалось, что в музее хранится еще одна книга Котельникова, написанная в конце 1818 года,— «Историческое сведение войска Донского о Верхне-Курмоярской станице, составленное из сказаний старожилов и собственных примечаний».

Книга эта вышла уже после смерти автора в издании областного войска Донского статистического комитета в Новочеркасске в 1886 году. В книге есть некоторые сведения о жизни Котельникова, в частности примерная дата его смерти (1855 год) в Соловецком монастыре, куда его сослало царское правительство, несмотря на то, что он был одним из героев войны 1812 года...

Можно ли не задуматься о судьбе автора, держа в руках книжечку его стихов, отпечатанную по пути победоносного возвращения русской армии в военно-походной типографии при главной квартире Барклая де Толли, в Варшаве.



ИЗ КНИГ А. И. УРУСОВА



Александр Иванович Урусов был прославленным московским адвокатом. Имя его значится в одном ряду с именами Плевако, Карабчевского или Спасовича. Но его блестящие способности не ограничивались речами защитника, хотя речи Урусова и поныне считаются образцовыми.

Урусов был влюблен в театр и литературу, кроме того, он был книжным собирателем высокого толка: он знал, что̀ собирать и как переплетать книги; был он отличнейшим человеком и по своим нравственным качествам, как об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях современники. В 1907 году были выпущены два тома его статей об искусстве, писем и воспоминаний о нем.

Как и его ближайший друг, тоже известный адвокат по уголовным делам и тоже литератор С. А. Андреевский, Урусов был страстным пропагандистом литературы: если Андреевский в своих «Литературных чтениях» прославлял Лермонтова, Толстого, Достоевского, то Урусов был в большой степени поклонником поэзии Запада и одним из первых возвестил о поэзии Бодлера. Урусова и Андреевского роднила и общая их страсть к книге; но если для Андреевского книга была лишь источником познания, то для библиофила Урусова книги имели еще и иные свойства и качества. Буковки А. У. на корешках переплетов книг, принадлежавших Урусову, неизменно свидетельствуют, что это книги особые: или с автографом автора, или пополненные самим Урусовым, и притом всегда изобретательно и поучительно.

Как-то в мои руки попала превосходно переплетенная в полный марокен книга, принадлежавшая Урусову:

«С. А. Андреевский. Стихотворения 1878—1885. С.-Петербург. 1886», с авторской надписью: «Кровному эстетику слова А. И. Урусову на снисходительный суд и добрую память. С. Андреевский. 24 Дек. 1885».

Урусов вплел в книгу портрет Андреевского, оригиналы неопубликованных его стихотворений «Голоса» и «Поэт», а также письмо Андреевского, которым тот сопроводил посылаемые стихи:

«Посылаю тебе, мой друг, портрет, автограф и вырезку из газеты. Ты меня совсем конфузишь таким приемом книги, на который у нее нет никакого права. Одно помни — что грех издания отчасти лежит на тебе...

Портрет плох, т. е. подкрашен, приглажен и мало меня передает — какой-то полнощекий франт. За автограф извиняюсь — даю отрывок, который никогда не помещался в печати — из моих старых набросков. Новое, что есть в зачатке — совсем сырое. Если портрет найдешь окончательно дрянным, то для такой роскошной затеи готов сняться. Чудак ты! — Твой С. Андреевский».

Затея Урусова была действительно роскошной: он создал уникальный экземпляр стихотворений Андреевского, заботливо пометив на нем рукой библиофила: «Один из десяти экземпляров на слоновой бумаге. Прим. А. Урусова».

К А. И. Урусову с большим уважением относились многие писатели, и на книгах из его библиотеки можно увидеть самые сердечные надписи авторов.

Вплетенное в книгу стихотворение «Поэт» раскрывает отношение к поэзии С. А. Андреевского.

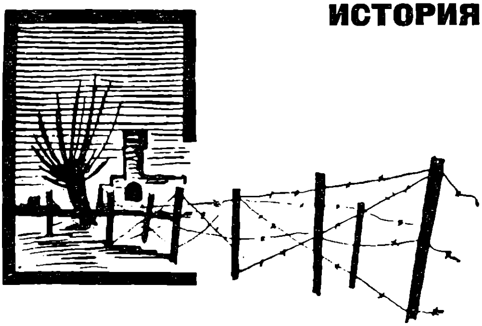
Поэт

Из непроглядного тумана,
Как шум далекий океана,
Наш гимн звучит иным векам
О всем, что близко было нам.
Как вы — я сын своей эпохи,
Моих трудов сметутся крохи
С трудами прочими в архив:
Рассудит нас, кто будет жив.
В тот хор невольных песнопений
Я также лепту приношу;
Хвалы от вас я не прошу
И не желаю поощрений,
Но для грядущих поколений
Я ваши стоны заношу.

С. Андреевский

Об Андреевском следует добавить, что за отказ выступить обвинителем по делу В. И. Засулич он вынужден был выйти в отставку: был он в ту пору товарищем прокурора Петербургского окружного суда.

Глядя на томик Андреевского, столь любовно переплетенный Урусовым, я думаю о том, что это не библиофильская причуда, не изысканная страсть книжника — это целый слиток литературы, история отношений двух выдающихся деятелей, запечатленная в изобретательной выдумке одного из них, и как же не быть благодарным книжнику и собирателю Александру Ивановичу Урусову за то, что он обогатил не только свою библиотеку, но и тех, кто в интересах сегодняшнего дня ставит на службу читателям страницы прошлого.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕЧТЫ

На моем столе лежит книга в переплете из черного коленкора. Она заключает в себе историю одной мечты и судьбу целого поколения.

В 1918 году из Сибири на родину, в Венгрию, пробирались трое бывших военнопленных. В ту пору было так далеко от Красноярска до Будапешта, что венгерская столица, казалось, находится на другом конце света. В России шла гражданская война, железные дороги были разрушены. Со случайными поездами, а иногда, может быть, многие километры и пешком группа венгров пробиралась по городам и весям необъятной страны, пока не оказалась в Симбирске. Здесь в поисках пристанища венгры познакомились с Надеждой Васильевной Коротневой — певицей-любительницей, впоследствии много лет дружившей с С. В. Рахманиновым.

В семье, где поселились венгры, хорошо понимали, что эти трое бывших военнопленных — люди с высшим образованием: один из них был врачом, другой преподавателем литературы — жертвы первой мировой войны. В самом деле, на своей личной судьбе венгры познали все несчастья, какие приносит война.

Почти целый год прожили трое венгров в Симбирске, пока смогли двинуться дальше. Когда, наконец, началось организованное возвращение бывших военнопленных на родину, один из венгров на прощание подарил хозяйке книгу, которая лежит ныне на моем столе.

— Книга эта — история одной мечты,—сказал венгр,— и когда ваши дети вырастут и вы расскажете им о нас и о трагической войне, которая забросила нас сюда, они поймут, почему эта книга представляет собой историю одной мечты.

Прошли годы, много лет, и теперь, перелистывая эту книгу, я размышлял не раз о судьбе целого поколения.

В 1915 году в далеком сибирском городе Красноярске в офицерские бараки для военнопленных была заключена большая группа венгров. Как бы свидетельствуя о том, что никакая война не может убить творческий дух человека, они общим трудом, работая, видимо, многие месяцы, создали поразительную рукописную книгу: перевод «Евгения Онегина» А. С. Пушкина на венгерский язык. Главу за главой чья-то старательная рука переписывала бисерным почерком бессмертный роман в стихах. Художники, а их среди военнопленных оказалось немало, снабдили текст рисунками.

На титульном листе книги акварелью изображены бараки, в которых военнопленные жили в Красноярске. Под акварелью и датой «Красноярск. 1916. Декабря 31» следует около пятидесяти подписей. Дата 31 декабря свидетельствует о том, что военнопленные встречали новогоднюю ночь. Надпись на следующей странице разъясняет глубокий смысл этой необычной книги:

«Во время моего пребывания в плену переписка этого произведения доставляла мне очень много радости. Плен сковывал только мое тело в холодную зиму в Сибири, ибо душа моя свободна, как ветер, как порыв сердца,— и на быстрых крыльях летит по направлению к Венгрии!

Ноябрь. 1916. Красноярск».



Титульный лист
книги — перевод «Евгения Онегина» А. С. Пушкина
на венгерский язык

Надпись эту, написанную по-венгерски, мне только недавно перевели. История одной мечты — это, конечно, история мечты о свободе. Свободолюбивый поэт великой страны стоял перед внутренним взором венгров; имя Пушкина было им так же дорого, как и имя Петефи передовым русским людям. Много рисунков и акварелей имеют непосредственное отношение к пушкинскому тексту, но есть в книге и рисунки, отображающие трагическую судьбу людей, заброшенных в неведомую им дотоле Сибирь.

На одном рисунке — две одинокие могилы в сибирской тайге (вероятно, память о тех, кто не дождался освобождения), на другом — русская церковь тоже где-то в Сибири.

Давно нет на свете той, которая подарила мне эту книгу. Нет на свете, наверно, и многих из ее создателей. Но, может быть, некоторые из тех, имена которых запечатлены в подписях под заглавным рисунком, стали известными художниками, музыкантами или учеными современной народной Венгрии... Мне кажется, что в пору, когда в наиболее сложных испытаниях проверена дружба, которая связывает русский и венгерский народы, этот памятник далеких лет обретает особый смысл и особое выражение.

Перелистывая рукописные страницы книги в черном, уже ветшающем переплете, я вижу перед собой новогоднюю ночь 1916 года, когда, может быть, читали вслух великое творение Пушкина те, кто был насильственно оторван от своей родины. Они понимали, что русский народ не повинен в их испытаниях. Иначе они не венчали бы Пушкиным новогоднюю встречу, которая всегда несет в себе надежду на лучшее, более счастливое будущее.

НАРОД НА ВОЙНЕ



Софья Захаровна Федорченко была человеком необычайной творческой конструкции. В нашей литературе она и до сих пор недооценена. А судьба ее творческих поисков — особая, и об одной из книг Федорченко стоит тоже сказать особо.

Есть писатели, умеющие хорошо видеть; про них говорят: писатель с хорошим глазом. Есть писатели с отлич-

ным воображением. Но существуют и писатели с особенным слухом: они слышат народную речь и ее оттенки, и не просто слышат, а творчески, по-своему впитывая эту речь и по-своему преобразуя ее в писательское слово. Судьба в этом отношении у Федорченко превосходная и горестная и несправедливая в то же время.

Однажды, будучи в издательстве М. и С. Сабашниковых, я обратил внимание на одну из книг, лежавших штабелями на подоконнике. Дом, в котором помещалось у Никитских ворот издательство Сабашниковых, сгорел во время Октябрьских боев в Москве, и издательство находилось теперь в первом этаже небольшого дома по Никитскому, ныне Суворовскому бульвару. Остатки уцелевших от пожара книг были сложены на полу, а Михаил Васильевич Сабашников, сдержанный и молчаливый, продолжал свое дело, как будто ничто не потрясло основ его издательства.

— Что это за книжка? — спросил я заинтересованно, полистав ее и подивившись несколько странному издательству: «Издание Издательского Подотдела Комитета Юго-Зап. Фронта Всерос. Земского Союза. Киев. 1917».

— Возьмите и почитайте,— предложил Михаил Васильевич,— вообще возьмите эту книжку, а то еще она затеряется здесь, а книжка, между прочим, отличная.

Я взял эту книжку с собой и прочел фронтовые записи некоей бывшей сестры милосердия Софьи Федорченко, сделанные в 1915—1916 годах на фронте, как было указано в предисловии автором: «Была я все время среди солдат, записывала просто, не стесняясь, часто за работой, и во всякую свободную минуту».

Таким народным языком, такой твердой рукой истинного писателя были сделаны эти записи, что я почувствовал себя среди народа, притом в минуты полной душевной откровенности каждого, слово которого было услышано и записано, услышано чутко и записано талантливо.

Книга фронтовых записей Федорченко открыла много нового, совсем незнакомого: тот безымянный русский солдат, который в ржавой шинелишке и драных сапогах, а то и совсем без сапог, коченел в Мазурских болотах, взбирался высоко на Карпаты, совершал подвиги,— солдат этот открылся в сокровенной сути своей натуры, со своим словом и своими чувствами.

Но когда книга Федорченко стала широко известна, однако, лишь как запись услышанного, автор счел нужным сообщить, что книга — разумеется, на основе всего услышанного — сочинена все же им самим. Сообщая это, автор предполагал, что тем более будет оценена его работа. Однако нашлись критики, жестоко и несправедливо обвинившие его в мистификации и грубой подделке. Софья Федорченко была натурой легко ранимой, и след незаслуженного удара остался на всю ее жизнь.

Эта, ныне редчайшая книга хранится у меня с авторской надписью: «...старую, многострадальную свою книгу дарит автор и старый друг С. Федорченко. Будьте счастливы по возможности!»

После этой книги у Федорченко вышло много других книг, но судьба писательницы связана все же именно с этим изданием, на первой странице которого есть горькие предваряющие строки: «Что хорошего ты видишь здесь?.. Оно правда, что замужняя, да чего на войну-то пошла? Разве не жаль тебе глаз да ушей?..»

Михаил Васильевич Сабашников в пору минувшей войны жил некоторое время в одном доме со мной. Как-то я напомнил ему о книге Софьи Федорченко.

— А ведь наше издательство хотело в свою пору переиздать эту книгу, мы были ею просто очарованы,— сказал Сабашников, не добавив при этом, что далеко не всякую книгу выпускало его строгое издательство.

«Интересны записи солдатских бесед, подслушанные каким-то Федорченко» — записал в своем дневнике в 1917 году Александр Блок: «Это самое интересное».

Велико, значит, было искусство писателя, если глубоко чувствовавший природу слова поэт принял авторскую речь за народную.

„ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ“





В книге «Москва и москвичи», давно ставшей популярной, писатель Владимир Алексеевич Гиляровский подробно рассказывает о своей первой книге — «Трущобные люди», сожженной в 1887 году московской цензурой. Книга была сожжена в Сущевской пожарной части, и Гиляровский горестно вспоминает, что уцелело всего два экземпляра: один, полученный им в несброшюрованном виде, и второй, посланный в цензурный комитет. Правда, он вспоминает еще, что ему удалось добыть у пожарных восемь страничек книги, отложенных на цигарки.

Судьбы книг показывают, что счет уцелевшим экземплярам бывает обычно не точным. Так, даже канонический счет сохранившимся экземплярам «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева испытывает время от времени колебание: появляются еще экземпляры.

Книга Гиляровского уцелела, несомненно, не в двух экземплярах, а, может быть, в нескольких, но суть не в этом.

Однажды старейший московский книжник, милейший и благороднейший человек, Степан Степанович Романов, просматривая в Книжной лавке писателей присланные из Ленинграда книги, отвел меня в сторону:

— Вот вам на память о Романове,— сказал он так же, как сказал в свое время А. С. Молчанов, вручая мне «Письмо к другу» Радищева.

В руках у Романова был аккуратно переплетенный томик с красным сафьяновым корешком и золотым обрезом, так называемым «золотой головкой»: переплет, достойный только очень хорошей книги.

— Второй экземпляр описанной Гиляровским книги «Трущобные люди», и именно тот самый, который был

послан в цензурный комитет,— сказал Романов.— Пусть у вас будет от меня хорошая память.

Я приобрел этот экземпляр и храню память о Романове, погибшем в Отечественную войну, конечно, не только благодаря этой книге. Романов был отличным книжником, много работал в «Международной книге» и по своим душевным качествам был исключительно располагающим к себе человеком. Но томик «Трущобных людей» навсегда связан для меня прежде всего с памятью о Степане Степановиче Романове. Я очень берегу его подарок.

Первая книга Гиляровского был написана в духе той горькой, обличительной литературы, которую создавали передовые писатели семидесятых и восьмидесятых годов.

Гиляровский описывал обитателей Хитровки и других московских трущоб, а также каторжный труд на белильном заводе в Ярославле, на котором он сам в свое время работал. Цензурный экземпляр «Трущобных людей» весь в пометках синим и красным карандашами цензора, позволяющих точнейше проследить ту крамолу, с какой боролась цензура и какая определила судьбу сожженной книги.

Синим цензорским карандашом подчеркнуты в рассказе «Человек и собака» абзацы: «Но бродяга не договорил,— вдали показался городовой. («Фараон» триклятущий, и побалакать не даст,— того и гляди, «под шары» угодишь, а там и к «дяде»!)... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (уж и вещши! Рваная шинелишка — рупь цена — да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил, да по колено в крови ходил!)...».

Карандаш цензора становится все более жирным, и чувствуешь цензорский гнев: «Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!.. Хуже собаки!.. Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет:

— Ишь ты, житье-то, лучше человечьего!

Лучше человечьего!»

В рассказе «Без возврата» цензор подчеркивает синим и красным карандашами одновременно — очевидно, для



Вл. Гиляровскій.

ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ.

ЭТЮДЫ СЪ НАТУРЫ.

Человѣкъ и собака. — Безъ возврата. — Обреченные. — Одинъ изъ многихъ. — Спирька. — Въ балаганѣ. — Колесовъ. — „Въ глуши...“ — „Каторга“. — Послѣдній ударъ. — Неудачникъ. — Потерявшій почву. — Въ каретѣ [illegible]. — Въ бою. — [illegible].

МОСКВА.
Типографія бр. Вернеръ, Арбатъ, домъ Каринской.
1887 г.

Титульный лист сожженной книги В. Гиляровского

усиления чувства — места, где говорится о тяжелой солдатской жизни и о солдатской учебе; эти страницы перекликаются с купринскими сценами солдатского обучения в его рассказе «Ночная смена». Почти весь рассказ Гиляровского, направленный против глумления над солдатом, против тупого, бессмысленного обучения грубыми, берущими взятки взводными,— весь рассказ испещрен безоговорочными пометками цензора. И следующий рассказ «Обреченные», тоже о солдатском житье, вызывает такой же гневный росчерк цензора. «Эх, каторга — жисть...» — раздраженный росчерк синим карандашом. «Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина» — двойной росчерк цензора.

Так через всю книгу, с такой очевидностью являя ход мышления цензора, что по цензурному экземпляру «Трущобных людей» можно проследить всю реакционную сущность цензуры, сущность злобную, почти социологически вскрывающую естество охранителей царского порядка.

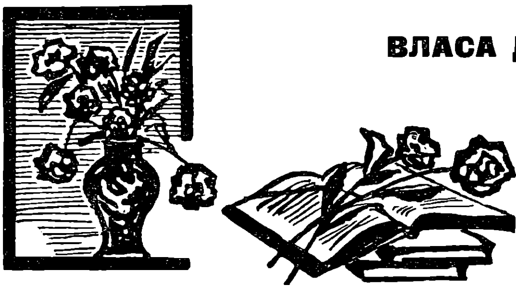
«— Н-ну их, подлецов! Кланяться за свой труд... Не хочу, подлецы! Эксплуататоры! Десять рублей в месяц...», «В юности, не кончив курса гимназии, он поступил в пехотный полк, в юнкера. Началась разгульная казарменная жизнь, с ея ленью, с ея монотонным шаганьем «справа по одному», с ея «нап-пле-чо»! и «шай, нак-кра-ул!» и пьянством при каждом удобном случае...», «Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу» — все эти абзацы подчеркнуты красным и синим карандашами цензора.

Степан Степанович Романов не знал, конечно, что цензурный экземпляр «Трущобных людей» не только библиографическая редкость, но и как бы наглядное пособие, показывающее условия существования передовой литературы конца прошлого века и реакционность цензуры, призванной убивать все живое, все протестующее против угнетения человека. Это почти энциклопедия, разъясняющая, о чем можно было писать и чего нельзя было затрагивать.

Я сожалею, что этот экземпляр попал в мои руки, когда Владимира Алексеевича Гиляровского, которого

я хорошо знал и с которым дружил, уже не стало. Он бы порадовался этой находке и перечел бы страницы своей молодости, о которых подробно, вероятно, не знал: цензура без всяких пояснений распорядилась сжечь первую книгу молодого автора, и один несброшюрованный экземпляр да еще несколько страничек, уцелевших от казни, остались в архиве писателя для его будущих воспоминаний. Цензурный экземпляр несомненно обогатил бы и расширил их.

ЖИЗНЬ ВЛАСА ДОРОШЕВИЧА



Наталья Власьевна Дорошевич была тяжело больна. Я никогда не видел ее; я знал о ней только, что она дочь Власа Дорошевича, что она журналистка, работала в газете «Труд» и других изданиях.

Имя Власа Дорошевича у нас забыли. Когда-то его считали «королем фельетона». В области фельетона у него была слава шаляпинская. В пору моего детства номер газеты «Русское слово» с очередным фельетоном Дорошевича был событием. Кроме того, Дорошевич написал ряд книг, в том числе талантливые воспоминания «Литераторы и общественные деятели», «Старая театральная Москва», переизданная в наше время. Его фельетоны были напечатаны как образцовые рядом с фельетонами А. П. Чехова и А. М. Горького в книге «Газета в старой России», выпущенной в 1939 году Государственным издательством политической литературы; а в 1962 году вышел большой том его рассказов и очерков.

Я решил повидать дочь Дорошевича с тем чтобы, может быть, помочь ей чем-нибудь. Я застал истомленную



Н. В. Дорошевич

смертельным недугом женщину в постели: она была уже осуждена. Мы познакомились с ней, хотя она меня сразу узнала, едва я вошел в комнату.

— Как хорошо, что вы пришли,— сказала она сильным голосом, поразившим в этом истерзанном болезнью существе.— Я думала, что уже никому не нужна.

Я успокоил ее, сел рядом, и мы за час беседы уплотнили время; мы как бы наверстали пропущенное за тот срок, что не были знакомы, и расширили то короткое время, что нам предстояло видеться. Наталья Власьевна стала рассказывать о своем отце. Она говорила умно, образно, талантливо; она словно вслух произносила страницы ненаписанной книги, и притом книги интересной и поучительной.

— А что, Наталья Власьевна, если бы записать то, что вы рассказали... писать лежа вам трудно, но, может быть, вы сумели бы продиктовать? Я постарался бы устроить, чтобы к вам приходила стенографистка.

Она задумалась, и ее лицо просветлело.

— Что ж,— сказала она,— диктовать я смогла бы... ведь, правда, было бы обидно, если бы я так и не рассказала все, а, кроме меня, этого никто не знает.

Мне удалось устроить так, что к ней стали приходить две стенографистки по очереди. Она диктовала каждой из них два-три часа в день, претерпевая нестерпимые боли и отказавшись от морфия, чтобы он не затемнял ее сознания. Это был пример силы воли и мужества. Она диктовала торопливо, страстно, спеша успеть все выговорить.

Стенографистки, уходя от неё, плакали: она потрясла их.

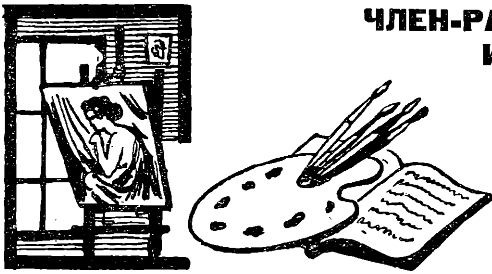
Наталья Власьевна диктовала две недели подряд, две последние недели своей жизни. Потом боли одолели ее, и в дело пошел морфий. Она договорила свою книгу едва ли не за два дня до смерти — и вот тетрадки со стенографическими записями остались у меня. Литературный фонд, следуя старым традициям, помог расшифровать эти записи, они стали экземплярами на машинке. Страницы этой книги о Власе Дорошевиче воскрешают не только его образ, но и целую эпоху: в записках говорится о Рахманинове, Собинове, Шаляпине...

Это страстная книга, по временам пристрастная: Наталья Власьевна любила своего отца и была в тяжелом разрыве с матерью — артисткой К. В. Кручининой, работавшей под конец жизни в театре Ленинского комсомола.

Стенографическая запись обычно бывает несовершенна и требует литературной обработки; но большинство страниц книги Дорошевич в такой обработке не нуждалось: так они совершенны по стилю и образности.

Два экземпляра этой книги — оба в виде машинописи — хранятся в Отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина и в Государственном центральном архиве литературы и искусства; в Библиотеке имени В. И. Ленина хранятся и оригиналы тетрадок со стенографическими записями.

Я переплел в один большой том эти страницы на машинке: это третий экземпляр рукописи, который я оставил себе. Но экземпляр этот все же особый: в него вплетены материалы о Дорошевиче, афиша о его выступлении с лекцией «Великая французская революция», шаржи на Дорошевича художников В. Каррика и Ре-ми и некролог, написанный Михаилом Кольцовым. Я радуюсь, что сумел побудить Наталью Власьевну Дорошевич продиктовать свои воспоминания,— может быть, это всколыхнуло ее, дало ей последние силы, и она ушла с сознанием, что оставила нечто, чему дано пережить её...



ЧЛЕН-РАСПОРЯДИТЕЛЬ И. Ф. ГОРБУНОВ

После смерти Ивана Федоровича Горбунова его друзья решили издать необыкновенно роскошное собрание его сочинений, с тем чтобы весь доход был обращен в пользу семьи Горбунова. Горбунов был талантливый актер и талантливый писатель. Из актеров-писателей в русской литературе получили в свое время известность А. С. Яковлев («Сочинения Алексея Яковлева, Придворного Российского Актера», изданные в 1827 году), П. А. Плавильщиков, Петр Андреевич Каратыгин, брат знаменитого трагика, тоже актер («Сочинения Петра Каратыгина», изданные в 1854 году), М. П. Садовский и, конечно, авторы водевилей Д. Т. Ленский и П. И. Григорьев...

Три тома сочинений И. Ф. Горбунова, большого формата, были напечатаны на особой бумаге в количестве 500 нумерованных экземпляров, с превосходными рисунками ряда художников. Образца более роскошного издания сочинений, пожалуй, не существует в истории нашего книгопечатания.

С. П. Б. Собраніе Художниковъ
23^го Ноября
1873 г.

Общіи Ужины въ 12, 1½, 2½ час.
по 2 руб. сер.

Консоме съ гренками и пирожками
Осетрина по русски
Рябчики съ салатами
Мороженое сливочное съ фруктами

Покорнѣйше просятъ Гг. Посѣтителей по окончаніи ужина уступать свои мѣста другимъ желающимъ ихъ занять для той же цѣли

Члены Распорядители И. Горбуновъ

Меню ужина, вклеенное в 1-й том сочинений И. Ф. Горбунова

Но есть у меня, однако, ничем не примечательное собрание сочинений Горбунова, изданное в двух томах А. Ф. Марксом, которое все же не совсем обычно. В первый том этого издания вплетено цветное, отлично выполненное приглашение на «Праздник художников» в С.П.Б. Собрании Художников 23 ноября 1873 года. На обороте приглашения напечатан такой текст:

С. П. Б. Собрание Художников
23-го Ноября 1873 г.
Общии Ужины в 12, $1^1/_2$, $2^1/_2$ час.
По 2 руб. сер.
Консоме с гренками и пирожками
Осетрина по русски
Рябчики с салатом
Мороженое сливочное с фруктами

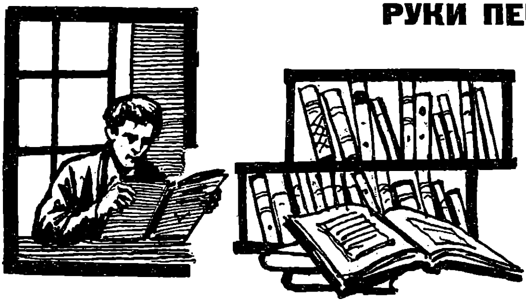
Покорнейше просят Гг. Посетителей по окончании ужина уступать свои места другим желающим их занять для той же цели. Член Распорядитель И. Горбунов».

И. Ф. Горбунов был другом художников, как другом художников был В. М. Гаршин, оба они продолжали традиции дружбы писателей с художниками, венчаемой дружбой Пушкина с Карлом Брюлловым. Пригласительные билеты обычно никем не хранятся, однако в них есть неоценимые приметы времени, по ним можно читать некоторые страницы нашей литературной и общественной жизни. Ведь даже конверты писем и почтовые штемпеля на них помогают зачастую воссоздать историю взаимоотношений между тем или другим деятелем, помимо того, что дают особый отсвет заключенному в конверт письму; так, почтовый штемпель «Sorrento» и итальянские марки на конверте воссоздают в материальном приближении целый период в жизни А. М. Горького, а, скажем, письмо Теодора Драйзера на бланке «The American Spectator, a literary newspaper», издававшегося в 1933 году Драйзером в Нью-Йорке, сразу переносит нас в особый мир, все более волнующий по мере того, как он отдаляется: таковы законы движения литературы и ее изучения по документам.

Пригласительный билет на праздник художников с подписью И. Ф. Горбунова в качестве члена-распорядителя тоже не коллекционная памятка, а своего рода лите-

ратурный документ: может быть, у будущего исследователя он пробудит интерес не только к этой стороне деятельности Горбунова, но и к деятельности и значению почти нигде не освещенного «С.-Петербургского Собрания художников».

РУКИ ПЕРЕПЛЕТЧИКА



За несколько лет до войны Академия архитектуры в Москве решила реставрировать редкие и наиболее ценные издания своей библиотеки.

Огромные волюмы Витрувия или Палладио, источенные червями или обветшавшие от времени, требовали тончайшего мастерства переплетчика, который должен был вернуть им начальный вид.

Такие золотые руки нашлись в Москве. Это был старый переплетчик Ш. З. Эльяшев, родом из Николаева, человек, тонко чувствовавший эпоху, бескорыстно влюбленный в свое дело, превосходный переплетчик и футлярщик. Среди книг моей библиотеки есть ряд книг, переплетенных Эльяшевым и вполне достойных выставки переплетного искусства.

Его пригласили в библиотеку Академии архитектуры, и Эльяшев реставрировал там или, вернее, воссоздал ряд замечательных книг, так что даже самый опытный взгляд не обнаружил бы изъянов.

Я всегда с уважением смотрел на руки Эльяшева. Они обращались с книгой так, словно разговаривали с ней, а сам Эльяшев принадлежал к тому поколению передовых переплетчиков, которые уважали книгу и несомненно сыграли просветительную роль в темные времена перед Октябрьской революцией в России.

В 1941 году, во время эвакуации, Эльяшев был заброшен куда-то в далекие лесные пространства, я потерял его из виду в сложных событиях войны и считал, что старик не вынес, вероятно, тяжелых потрясений. Но однажды, года через два после окончания войны, я узнал, что Эльяшев жив и даже работает продавцом в книжном киоске издательства Академии наук на одной из станций московского метро. Я поехал на эту станцию и отыскал Эльяшева.

— Как я рад что вы живы,— сказал я ему.— Я часто вспоминал ваши руки.

— Жив-то я жив,— ответил он,— но с руками мне пришлось проститься.

Он показал мне свои руки, на которых были ампутированы все пальцы, за исключением двух — большого и указательного на правой руке, которыми он и действовал.

— Как же это случилось... при каких обстоятельствах вы потеряли ваши руки? — спросил я озадаченно.

— Я отморозил их на лесозаготовках. Ноги у меня были тоже обморожены, но не в такой степени.

— Неужели вас послали на лесозаготовки? Ведь вам больше шестидесяти лет,— сказал я, готовый предположить чье-то равнодушие к чужой старости.

— Нет, я пошел добровольно,— ответил он с твердостью.— Разве мог я остаться без дела, когда вся страна воюет? Нет, я не вправе был поступить иначе.

Я вспомнил о своих книгах, которые переплел Эльяшев, вспомнил редчайшие издания в библиотеке Академии архитектуры, которым этот старик дал вторую жизнь.

— Как же мне жалко ваши руки, Эльяшев,— сказал я, искренне скорбя за него.— Они у вас были как у скрипача.

— Конечно, руки мои пропали... но если я принес ими хоть сколько-нибудь пользы в войну, что сейчас говорить о них.

Он сказал это, нисколько не рисуясь, и я подумал о том, что, может быть, спиленное его шестидесятилетними руками дерево послужило топливом для двигателя или станка, на котором изготовляли оружие.

Неделю спустя Эльяшев неожиданно пришел ко мне.

— Вот что,— сказал он,— дайте мне какую-нибудь

вашу самую любимую книгу... я постараюсь переплести ее, и это будет в последний раз в моей жизни.

Я дал ему редкость — сборник высоких мыслей о книге «Похвала книге», и он переплел его, орудуя двумя уцелевшими пальцами; вероятно, это стоило ему многих усилий, но он переплел книгу, и она стоит у меня на полке и поныне. Она напоминает мне о том, что истинное существо человека проверяется в самых трудных испытаниях.



НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОГРАФЫ ЧЕХОВА

Много лет назад, перебирая книги на книжном развале в глубоких воротах одного из домов на Кузнецком мосту, я нашел истрепанную, в самом бедственном состоянии книжку. На ее титуле с загнутыми углами была мелкая надпись знакомым, волновавшим меня еще с детства почерком. Надпись была сделана рукой А. П. Чехова, а книжкой оказался «Остров Сахалин».

«Николаю Владимировичу Алтухову на добрую память от автора. Антон Чехов. 30 апреля. 1902. Ялта».

Алтухов был прозектором Московского университета, однокурсником Чехова по медицинскому факультету.

Я принес эту пострадавшую от времени и судьбы книжку домой, отдал ее старому переплетчику — именно Эльяшеву, всегда близко принимавшему к сердцу судьбу книг, — и он вернул книге жизнь: в отличном переплете блистает она ныне золотом надписи.

Эта первая книга с автографом Чехова пробудила во мне желание найти еще какие-либо чеховские автографы, и, как известно, горячее желание всегда находит отклик.

С артистом Александринского театра Павлом Матвеевичем Свободиным Чехов нежно дружил. Свободин играл в пьесах Чехова роли Шабельского в «Иванове», Светловидова в «Калхасе», Ломова в «Предложении». «Давыдов и Свободин очень и очень интересны,— писал Чехов А. С. Суворину.— Оба талантливы, умны, нервны, и оба несомненно новы». Драматургу Ивану Щеглову, человеку мнительному и болезненному, но привлекательных душевных качеств, Чехов неизменно сочувствовал и всегда ободрял его на трудном литературном пути; Чехов писал Щеглову о Свободине: «А Свободин-то каков! Этим летом приезжал ко мне два раза и жил по нескольку дней. Он всегда был мил, но в последние полтора года своей жизни он производил какое-то необыкновенное, трогательное впечатление...»

Свободин умер за кулисами театра во время спектакля, и его смерть тяжело поразила Чехова. Мне привелось как-то купить книгу Чехова «Дуэль» с его нежнейшей надписью Свободину: «Павлу Матвеевичу Свободину (Полю Матиас) от преданного ему автора. А. Чехов. 92. 4.11». Так дружески называл Чехов Свободина.

Чеховские автографы всегда так или иначе связаны с его перепиской, отражают его отношение к людям и пополняют биографические сведения о нем. Так, надпись на книжке Чехова «Каштанка» расшифровывает скупые строки одного из его писем. В 1898 году тяжело больной писатель провел некоторое время в Ницце; жил он уединенно, мало писал и томился. В письме А. А. Хотяинцевой из Ниццы Чехов, описывая свое житье и окружение, упоминает некое семейство Бессеров, знакомое ему по Русскому пансиону, в котором он жил: «У m-me Бессер пестрая рубашечка с палевым воротничком, а у m-r Бессер — лысина и лысина, и больше ничего».

Но вот однажды я приобрел маленькую книжку «Каштанка», изданную А. С. Сувориным в 1897 году, с рисунками в тексте. На выходном листе книжки есть такая надпись: «Леле Бессер на память о докторе, лечившем у нее ухо. Ницца. 98.12.III. А. Чехов». Леля Бессер была, по-видимому, маленькой дочкой Бессеров, и надпись Чехова подтверждает, что к нему обращались за медицинской помощью некоторые из русских, живших в то время в Ницце.

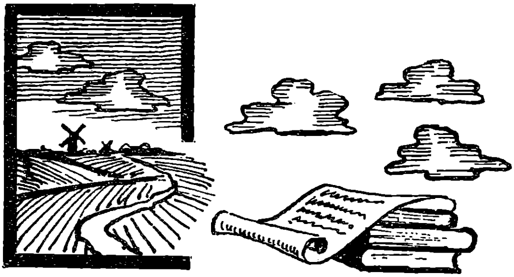
Хороший знаток и ценитель книг, автор многих статей по книжному делу, душевный и тишайший Валентин Иванович Вольпин, ныне покойный, принес мне как-то книгу Чехова «В сумерках» (1898) с автографом Чехова и вплетенным в книгу его письмом. Надпись на книге: «Пантелеймону Николаевичу Боярову на добрую память от автора-земляка. А. Чехов. 1901, II, 20.», а вот текст вплетенного в книгу письма: «20 февраля. 1901 г. Ялта. Многоуважаемый Пантелеймон Николаевич! Простите, без вины виноват перед Вами. Не отвечал так долго на Ваши письма, потому что только вчера вернулся из-за границы. Не сердитесь, пожалуйста. Спасибо Вам большое, что меня не забываете — я плачу́ Вам тем же, т. е. и я помню Вас очень хорошо. Желаю Вам всего хорошего и крепко жму руку. Преданный А. Чехов».

Письмо это опубликовано в двадцатитомном собрании сочинений Чехова (1944—1951), как единственное письмо Чехова к Боярову. Бояров был одноклассником Чехова по гимназии; работал впоследствии бухгалтером-секретарем Керченской таможни. Письмом Чехова он, видимо, дорожил в такой степени, что вплел его в книгу «В сумерках»; авторская надпись Чехова была у него несомненно тоже единственной. Книги с автографами Чехова стоят у меня в одном ряду с первыми изданиями его произведений. Кое-каких из первых изданий у меня не хватает; но есть и такие, о которых ничего не сказано в библиографии. Не знаю, во скольких экземплярах, видимо, только для того, чтобы порадовать Чехова, А. С. Суворин издал в 1897 году его «Мужики» большим форматом, с широкими полями, на самой дорогой бумаге. Набор этой книги дублирует набор обычного издания, вышедшего в том же году, но на обычном издании нет цензорской пометки, а на издании большого формата есть пометка: «Дозволено цензурою 23-го августа 1897 г. С-Петербург»; издание это было нумерованное. В наше время появилась книжечка, отпечатанная в количестве 200 экземпляров, тоже ставшая уже библиографической редкостью. В 1944 году Ленинградская книжная лавка писателей выпустила миниатюрную памятку «А. П. Чехов. Библиография». В книжечке этой перечислены по годам все собрания сочинений Чехова, отдельные издания и сборники его писем; упомянуты в этой памятке и автографы Чехова, приобретенные Ленин-

градской книжной лавкой в 1943—1944 годах и переданные Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Так рождаются редкости, и книгам иногда совсем не обязательно пройти большой путь во времени, чтобы стать редкостью.

СТЕПЬ



К столетию со дня рождения А. П. Чехова вышел очередной, шестьдесят восьмой том «Литературного наследства», целиком посвященный Чехову. В этом томе опубликованы, между прочим, письма поэта А. Н. Плещеева, который одним из первых приветил молодого Чехова, дружил с ним, и в переписке А. П. Чехова есть немало обращенных к Плещееву дружественных и сердечных писем.

Плещеев, опубликовавший в 1888 году в журнале «Северный вестник» пленившую его повесть Чехова «Степь», с радостью сообщает, что повесть эта понравилась и В. Г. Короленко. В частности, повесть эта понравилась и критику-дилетанту, инженеру по профессии, Петру Николаевичу Островскому, сводному брату великого драматурга А. Н. Островского.

В одном из писем Плещеев сообщает Чехову:

«Островский тоже намерен, кажется, написать рецензийку (но, впрочем, вероятно, не для печати) в форме письма к вам и нетерпеливо ждет оттиска».

Письмо от Островского Чехов действительно получил и в письме от 6 марта 1888 года написал об этом Плещееву:

«Сегодня, дорогой Алексей Николаевич, я прочел 2 критики, касающиеся моей «Степи»: фельетон Буренина и письмо П. Н. Островского. Последнее в высшей степени симпатично, доброжелательно и умно. Помимо теплого участия, составляющего сущность его и цель, оно имеет много достоинств, даже чисто внешних...»

Читая письма Плещеева, напечатанные в «Литературном наследстве», я мысленно перенесся в ту далекую пору, когда только начиналась слава Чехова и когда напечатанная в «Северном вестнике» повесть «Степь» заставила многих увериться в его растущем таланте.

Именно в те часы, когда читал я письма Плещеева к Чехову, у меня на столике зазвонил телефон. Как и у многих писателей, давно сложилась у меня дружба с целым рядом молодых литераторов, первые вещи которых я читал; отведена у меня в одном из моих книжных шкафов и полочка, ныне уже до отказа заполненная первыми книгами молодых писателей, которых я знал еще студентами Литературного института.

— Не могу ли я зайти к вам на минутку,— сказал позвонивший мне по телефону молодой литератор, еще недавно летчик по профессии.— Я хочу вручить вам на память одну вещичку. А нахожусь я от вас совсем поблизости.

Мы договорились, и действительно через четверть часа литератор этот был у меня.

— Вы ведь любите Чехова,— сказал он, протягивая завернутую в газету книгу.— Может быть, вам это будет интересно.

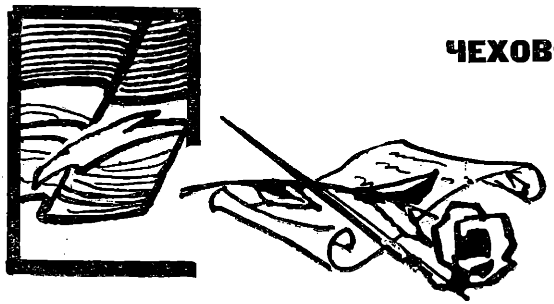
В книге, достаточно потрепанной, оказались переплетенными вместе со статьей «Мильон терзаний» о Грибоедове из журнала «Вестник Европы» и ряд статей о французской литературе — Фонтенеле, Вольтере, Дидро, а первым был вплетен в эту книгу оттиск «Степи» А. Чехова, именно тот, который А. Плещеев торопил Чехова послать П. Н. Островскому, притом с надписью Чехова: «Петру Николаевичу Островскому. А. Чехов. 1888». Книга эта, по словам подарившего ее мне литератора В. И. Погребного, принадлежала какому-то парикмахеру, любителю чтения, нашедшему ее среди хлама в сарае.

Конечно, это только случайность, что оттиск «Степи» попал мне в руки именно в те минуты, когда я читал о

нем в «Литературном наследстве», но ведь собирательство книг не всегда бывает планомерным, оно зависит нередко от случаев, однако совокупность случаев создает своего рода планомерность, по старой русской пословице, что «на ловца и зверь бежит».

Так или иначе, мне дорог подарок молодого литератора, я отделил «Степь» от случайных статей, с которыми она была переплетена, отдал оттиск переплетчику, он переплел его, и приплывшая ко мне из безвестных далей повесть «Степь» встала в один ряд с книгами Чехова в первых изданиях и начала свыше полувека спустя свою новую жизнь.

ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ



В конце девятисотых годов и в начале нашего века, когда росла и укреплялась слава А. П. Чехова, было немало писателей, с которыми Чехов дружил, находился в переписке, многих из них он одобрял и поддерживал, некоторых нежно любил. Разных масштабов были эти писатели, и когда перечитываешь письма Чехова к ним, то невольно задумываешься: что же, так и суждено им остаться только адресатами великого писателя, или это были тоже одаренные люди, со своей судьбой, со своими книгами, со своим вкладом, пусть скромным, в литературу? В библиотеках, где ведется строгий счет тому, чтó читается, многие из этих книг, может быть, покажутся библиотекарям лишь ненужным балластом. Но так ли это? Имеют ли право на жизнь эти авторы, которых затмил Чехов своим талантом? Чехов никогда не делил писателей на больших и малых. В одном из своих писем к писателю Ивану Щеглову он писал:

«Чтобы помочь своему коллеге, уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним,— для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком... Будем обыкновенными людьми, будем относиться одинаково ко всем...»

Анатоль Франс всегда испытывал особенное сочувствие к книгам потрепанным и забытым. В 1926 году в издании «Русского общества друзей книги» вышла книжечка, ныне чрезвычайно редкая,— «Господин Бержере у Старицына». Автор книги Абрам Эфрос описывает свою случайную встречу с Анатолем Франсом в Москве. В Леонтьевском переулке, в лавочке букиниста А. Старицына, Анатоль Франс нашел одну из своих книг. «Но в каком виде,— бог мой, в каком виде был этот злополучный томик «Иокасты»! Я потупился, как будто отвечал за лавчонку Старицына. Однако на лице Франса это его зачитанное, истерзанное дитя вызвало черту оживления». Эфрос приводит дальше фразу Франса из его «Литературной жизни»: «Истинного любителя я узнаю с первого взгляда, уже по одному тому, как он касается книги...»

Собирательство книг имеет в своей основе не только непосредственную любовь к книгам, но и уважение к тем, кто написал их.

Много лет томик за томиком подбираю я забытых писателей чеховской поры. Томики эти заняли у меня свыше двух полок, наглядно представляя широкую картину чеховской эпохи. Брат А. П. Чехова — Александр, писавший под псевдонимом А. Седой, был автором ряда книг, многие из которых вызвали строгие критические замечания А. П. Чехова. Так, например, совсем слаба его повесть «Хорошо жить на свете!..», вышедшая в 1904 году, но зато блестяще написаны воспоминания «В гостях у дедушки и бабушки», изданные в 1912 году в серии «Библиотека «Всходов» и объясняющие происхождение многих страниц чеховской «Степи».

С повестями А. Седого закономерно соседствуют отлично, с мягким юмором написанные книги Ивана Щеглова, того незадачливого «Жана», мнительного и неуверенного в себе, которого Чехов в десятках писем ободрял, нередко хвалил и поддерживал в минуты неудач и сомнений. Книги Щеглова «Добродушные рассказы» (1903), «Сквозь дымку смеха» (1894), «Наивные вопросы» (1903) свидетель-

ствуют о таланте их автора и о том, что Чехов хвалил Щеглова меньше всего по дружбе.

Рядом со Щегловым нашла себе место книга В. М. Михеева «Художники» (1894). Книга эта помимо своих достоинств примечательна еще и тем, что посвящена памяти В. М. Гаршина, и вся ее тематика перекликается с такими рассказами Гаршина, как «Художники» или «Надежда Николаевна».

Не один хороший рассказ можно найти и в книге Е. Гославского «Путем-дорогою» (1902) и в книгах В. Билибина, с которым Чехов находился в переписке. Билибин был юмористом и драматургом, автором маленьких одноактных пьес-шуток. Если вспомнить эпоху, когда Чехов начинал писать, журнал «Осколки» или «Петербургскую газету» с ее фельетонами, то «Юмористические узоры» В. В. Билибина (он же Диоген, И. Грэк), так же как и его «Пьесы в одном действии», напомнят атмосферу тех лет, хотя свои рассказы и пьесы Билибин собрал и выпустил в свет несколько позднее — в 1898 и 1902 годах.

Рассказы Н. Лейкина как бы венчают произведения плеяды писателей, окружавших Чехова в пору его литературной молодости и работы в «Осколках». Лейкин был одним из первых редакторов Чехова — он хвастал даже, что «открыл» Чехова,— был он и чрезвычайно плодовитым писателем, знатоком торговой жизни Петербурга, особенно жизни и быта «апраксинцев», этих прямых наследников героев Островского. Книги Лейкина «Теплые ребята», «Голубчики», «Наши за границей», «Под орех», несмотря на то, что тема была взята Лейкиным очень мелко, все же оставили картину быта и нравов целого сословия той поры; не следует забывать, что первую повесть Лейкина — «Биржевые артельщики» — приветили М. Е. Салтыков-Щедрин и Некрасов и напечатали ее в «Современнике». Можно найти неплохие рассказы и у И. Потапенко и К. Баранцевича, и если бы выпустить антологию «Писатели чеховской поры», она была бы своего рода и памятником Чехову, помогавшему многим своим собратьям.

Я долгие годы дружил и переписывался с Марией Павловной Чеховой. У нее было много общего с братом, судя по воспоминаниям современников о нем. Но одной своей чертой Мария Павловна особенно напоминала его: она строго помнила завет Чехова, что нет писателей больших

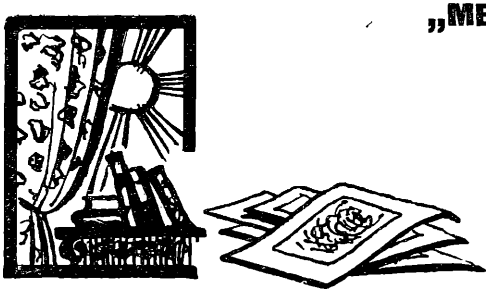
или маленьких, что в литературе каждый по мере сил делает свое дело, что все писатели — собратья по перу; именно так — пусть несколько старомодно, но старомодность эта высокого смысла — думала Мария Павловна о писателях.

«Вы приезжайте в Ялту отдыхать,— написала она мне в одном из писем,— много найдете перемен к лучшему и, кстати, побываете в музее Чехова и обновите Ваши воспоминания о собрате по перу».

Совет был добрый, но дистанции по своим душевным свойствам Мария Павловна не учла, я был в Ялте и поклонился Чехову, даже отдаленно не посмев подумать о нем как о собрате по перу. И все же, ставя время от времени на книжную полку то одну, то другую книжку современника Чехова, я представляю себе чеховскую эпоху во многих случаях как содружество собратьев по перу и радуюсь, что Чехов оставил строгий завет относиться к каждому писателю, безотносительно от размеров его дарования, как к деятелю литературы, поступившемуся именно ради нее многими радостями жизни. Для полноты представления об окружении Чехова я ставлю на эту полку книги и тех литераторов, с которыми Чехов дружил, но впоследствии резко разошелся. Собрание рассказов, фельетонов и заметок А. Суворина (Незнакомца), вышедшее в 1875 году под названием «Очерки и картинки», ныне весьма редко; это была сильная критическая пора в жизни Суворина, изолгавшегося и исподличавшегося в дальнейшем. Книга Николая Ежова «Облака» (1893), которому Чехов немало помогал и который затем недостойно оклеветал Чехова, тоже может занять место в этом ряду; дополняет круг писателей, окружавших Чехова, и Сергей Филиппов со своими «Встречами и впечатлениями», вышедшими в 1894 году под названием «Под летним небом».

Книги этих писателей, несмотря на то, что они не оставили следа в литературе, помогают, однако, глубже почувствовать чеховскую эпоху: все-таки с этими писателями Чехов был в переписке, читал их книги, высказывался о них; из биографии Чехова имена эти не выкинешь, а, взятые вместе, они дают широкую картину литературной жизни конца прошлого века.

„МЕЖДУ ПРОЧИМ"



Каталог издательства Ф. А. Куманина был пестрый, и помимо известного журнала «Артист» и бесчисленного количества пьес, всяческих «будничных драм» или «комедий-фарсов», Куманин издавал и пьесы лучших драматургов того времени — И. Шпажинского, П. М. Невежина, Вл. И. Немировича-Данченко, сборники рассказов И. А. Салова, В. М. Михеева или Ив. Щеглова, а также «миниатюрные роскошные издания с фототипиями» под названиями: «Я», «Ты», «Он», «Она», «Мы», «Вы», «Они».

К числу таких роскошных изданий причислена была и крохотная книжечка под названием «Между прочим». А. П. Чехов тоже не был чужд Куманину, в «Сборнике пьес для домашних спектаклей» рядом с пьесами Вл. И. Немировича-Данченко и И. Н. Потапенко были и водевили Чехова.

Сборник рассказов «Между прочим», вышедший в 1894 году, отличался некоторыми непривычными особенностями: все иллюстрации в нем, исключая виньеток, были фотографиями с натуры, исполненными фотографом К. А. Фишером. Фишер был широко известным театральным фотографом: в театральном музее Бахрушина, наверно, имеется в сотнях его фотографий целая плеяда актеров конца прошлого века в костюмах и ролях. Фототипии в сборнике «Между прочим» представляют собой женские головки, иначе — портреты живых людей, которых снимал в свое время Фишер и изображения которых решил уподобить иллюстрациям.

Сборнику предпослано анонимное стихотворное вступление «Читателю», скорее всего принадлежащее перу

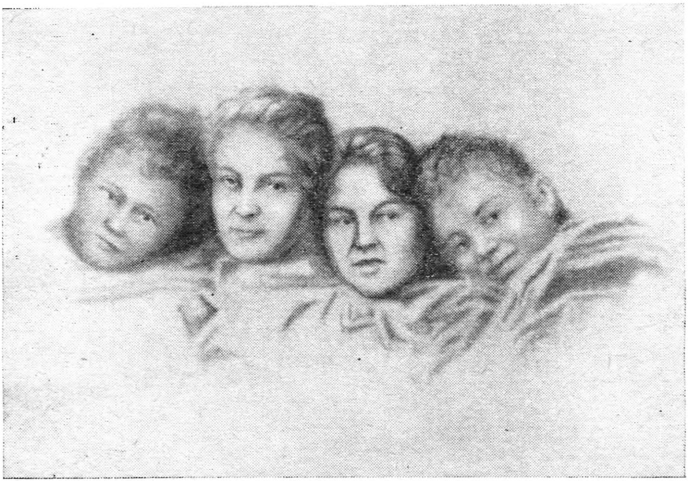


Иллюстрация к рассказу А. Чехова «Красавицы»

Т. Л. Щепкиной-Куперник, рассказ которой «Sapho» следует за этим стихотворным вступлением: «Когда близка осенняя пора, и ночь темна, и завывает вьюга,— и тихо к нам стучится в дверь хандра, давнишняя и скучная подруга; когда в висок бьет молотом мигрень и выпито двенадцать склянок брома... о, как отрадно может быть тогда с еще нетронутой тетрадкой забыть призыв серьезного труда и с музой флиртовать украдкой».

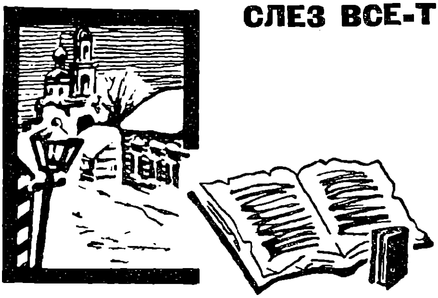
Среди рассказов П. П. Гнедича, Е. П. Гославского, И. Л. Щеглова, И. Н. Потапенко, причем к каждому приложен микроскопический, с ноготок мизинца, портретик,— есть и рассказ Чехова «Красавицы». Четыре женских головки прижались одна к другой в позе лирического содружества, и если взять лупу и разглядеть эти головки попристальнее, то узнаёшь Л. Мизинову, Т. Л. Щепкину-Куперник, а двух других красавиц бесспорно распознает чеховед. Несомненно, без ведома А. П. Чехова его рассказ был проиллюстрирован столь интимно: вряд ли строгий автор допустил бы это; да, может быть, и сами изображенные персонажи воспротивились бы. Но сборничек вышел, он существует, несколько милых сердцу Чехова женщин представлены как своего рода обоб-

щающий тип русских красавиц, и остается лишь расшифровать портреты и других женщин, которые тоже даны в виде иллюстраций. Впрочем, две прижатые друг к другу головки можно распознать над рассказом В. Михеева «Под маскою»: это та же Мизинова и артистка Л. Б. Яворская, которой и посвящен рассказ.

Михеев был несомненно одаренным писателем; в предисловии к своим «Песням о Сибири» он писал следующее: «Повеет ли на читателя глубиной тайги, нашего сибирского леса; блеснет ли ему белизна наших снегов, войдет ли он со мною в юрту инородца; спустится ли в приисковую шахту, встретит ли ссыльного, поселенца или переселенца,— верю, что во всех этих случаях читатель найдет в себе *человека*,— существо, которому доступны: природа и человек, красота и страдание, трепет души и «проклятые вопросы».

Написано это было в 1884 году, за семь лет до появления 3-х томного «Сибирь и каторга» С. Максимова; книга Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка» появилась на русском языке в 1906 году (в Англии она вышла в 1891 году), а книга В. Гартевельда «Каторга и бродяги Сибири» — в 1912 году; можно ли забыть голос поэта, писавшего об отверженных еще до В. Короленко с его прошумевшим «Соколинцем»?

Так некоторые темы разрастаются и до социальной истории, но именно в этих узлах или узелках и состоит действие книг, которые кажутся иногда совсем забытыми, безнадежно забытыми и не сыгравшими никакой роли... однако, какую-то роль они все-таки сыграли.



СЛЕЗ ВСЕ-ТАКИ ПОБОЛЬШЕ...

Грустно жил писатель Сергей Алексеевич Епифанов, так грустно, что даже жизнь Л. Пальмина, о котором со скорбным снисхождением писал А. П. Чехов,— даже она в сравнении с существованием Епифанова может показаться красочной.

В 1898 году редакция журнала «Развлечение» выпустила к 40-летию существования журнала юбилейный альбом. В предисловии от редакции было сказано, что воспитателями и сотрудниками журнала были такие корифеи литературы, как Н. Курочкин, А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Г. и Н. Успенские, А. И. Левитов, Н. Н. Златовратский... В свою пору это было так, но к сорокалетнему юбилею «Развлечение» давно превратилось в журнал для невзыскательных потребителей чтива и по своему литературному уровню было несомненно ниже «Осколков», где все-таки чувствовалась рука Н. Лейкина.

В юбилейном альбоме были помещены фотографии сотрудников: имена А. Осипова, А. Доброхотова или А. Гомолицкого ныне ничего читателю не говорят, да и тогда имена эти мало что значили; впрочем, большинство сотрудников «Развлечения» писало под псевдонимами, вроде «Горе-Богатырь», «Мечтательный рыцарь», «Тоже поэт», он же «Лохматый господин», или «Граф Нулин». Правда, имя «Дяди Гиляя» было хорошо знакомо: В. Гиляровского знали, известны были имена и И. Мясницкого, и А. Пазухина, и Н. Шебуева, и П. М. Невежина...

Однако не эти имена определяли уровень «Развлечения»: все было в нем пониже и похуже, и если и развлекательно, то на вкус весьма нетребовательного читателя.

Среди фотографий М. Лентовского с орденами и медалями во всю длину борта поддевки или молодого, с черными бакенбардами Вл. И. Немировича-Данченко, работавшего тогда как беллетрист, есть и фотография С. А. Епифанова: в очках, с большими усами, кончики которых завиты по моде того времени в ниточку, с обликом грустного интеллигента, Епифанов и писал грустные и даже трагические стихи подстать своей невеселой и несуразной жизни.

Имя А. П. Чехова осветило биографию не одного писателя той поры, и лишь благодаря письмам Чехова сохранились имена ряда действовавших в свою пору, а ныне совсем забытых литераторов.

С. А. Епифанов оставил книжку рассказов и стихотворений «Смех и слезы», изданную в 1900 году журналом «Развлечение». Трудно к разряду смеха, а тем более к области развлечения отнести, например, такие строки стихов Епифанова: «Собрат! Кто б ни был ты — дай руку, помоги: идти нет больше мочи. Куда ни оглянусь — не вижу я ни зги во мраке темной ночи. Устал я, тяжко мне. Бреду впотьмах, в глуши, претерпевая муку, один, как перст один: нет любящей души...»

Стихи эти были все же не только в духе надсоновской лирики или той гражданской поэзии, в которой под «темной ночью» подразумеваются сумерки общественной жизни; стихи Епифанова выражали главным образом его личную судьбу, и об этой судьбе больше всего узнаёшь из писем А. П. Чехова.

«Дорогой Николай Михайлович,— пишет Чехов в одном из писем к Н. М. Ежову,— большое вам спасибо за Епифанова. Вы даже сделали больше, чем я рассчитывал. В клиниках ему будет хорошо». В другом письме к тому же Ежову Чехов пишет: «Посылаю Вам письмо, полученное мной от Епифанова... В свидетельстве, о котором он пишет, говорится, что он болен хроническим воспалением легких, но, конечно, у него злющая чахотка».

Чехов хлопочет об устройстве Епифанова в одном из санаториев в Ялте, он пишет об Епифанове из письма в письмо, и по письмам этим прослеживаешь, как шел к своему концу поэт, глубоко трогавший своей судьбой Чехова. То Чехов пишет П. А. Сергеенко: «...тяжело болен чахоткой Сергей Алексеевич Епифанов, газетный сотрудник, начинавший одновременно с нами... Епифанов — это

сотрудник «Будильника», «Развлечения», давно положение его крайне тяжелое» и уполномачивает Сергеенко при переговорах с издателем А. Ф. Марксом насчет дохода с пьес «сорвать» при подписании договора что-нибудь для Епифанова. Чехов еще и еще беспокоится об Епифанове: «Теперь, когда близко лето, лучше устроить Епифанова где-нибудь под Москвой, а осенью отправить в Крым на всю зиму» пишет он Ежову, но, зная слабость Епифанова, добавляет: «Но если он дует рябиновую, то от лечения не будет никакого толку». В другом письме тому же Ежову: «Пожалуйста, пошлите Епифанову 15 р., а потом, немного погодя, еще 10 руб. Я возвращу Вам при свидании». И дальше Чехов не перестает беспокоиться:

«Дорогой Николай Михайлович, если врачи разрешают Епифанову ехать в Ялту теперь же и если он сам не против поездки, то отправьте его, пожалуйста, т. е. купите билет, посадите в вагон и проч. и напишите мне, сколько Вы истратили. Из Севастополя до Ялты он проедет на пароходе, в Ялте поместим его на все лето в приют, где за ним будет хороший уход. Но прежде чем отправлять его, посоветуйтесь с врачами, в силах ли он, чтобы доехать до Ялты...» И далее тому же Ежову через шесть дней: «Вы видите, что Еп-у не хочется в Ялту, и если Вы писали мне об «улыбке прощальной», то относились к делу, так сказать, субъективно. Итак, оставьте его в Москве. В Ялте ему будет скучно, жутко; рябиновой здесь нет, делать нечего, заработков никаких. Я в апреле уеду, и он, как истый москвич, почувствует себя заброшенным».

В Ялту Епифанов все же приехал. Страницы его жизни были дописаны. Чехов сообщает сестре Марии Павловне: «Московский поэт Епифанов умирает здесь в приюте. Одним словом, от сих бед никуда не спрячешься и прятаться грех... Будем печатать воззвание насчет чахоточных, приезжающих сюда без гроша». На другой же день он пишет М. Горькому: «Третьего дня здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт «Развлечения» Епифанов, который за 2 дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: «Вот эта самая! Она!» Точно землячку увидел». Одновременно Чехов пишет и Ежову: «Епифанов умер

третьего дня. Приехал он сюда в состоянии совершенно безнадежного больного, и было бы лучше удержать его в Москве».

Чехов всегда был сдержан в выражении чувств. Даже о глубоко потрясшей его смерти брата Николая он пишет скупо, но судьба «московского поэта», видимо, все же чрезвычайно волновала его. Алкоголь и чахотка были верными спутниками не одного литератора той поры, и Чехову привелось наблюдать закат многих, так и не развернувшихся именно в силу этих причин дарований.

Я запомнил имя Епифанова из писем Чехова, представил себе горькую судьбу литератора, приехавшего в Ялту умирать, и порадовался найденному томику Епифанова «Смех и слезы» не только потому, что подбираю книги писателей чеховской поры; мне захотелось проследить по книге Епифанова, как судьба писателя отражена в его вещах? На титуле книги Епифанова значится: «Смешные рассказы, сцены, шутки и лирические стихотворения»; если смешные рассказы и шутки на невысоком уровне, то по стихам Епифанова познаёшь горечь его жизни. «Ты найдешь ли в жизни этой пристань тихую себе? Или счастьем не согретый, пропадешь с судьбой в борьбе?» — вопрошал сам себя Епифанов, видимо, будучи уверен заранее, что сил для борьбы у него не хватит.

Прибавление к книге Епифанова носит название «Горемыки-писатели». Епифанов вспоминает о людях, которых знал когда-то, но которые опустились, спились и оказались на дне жизни. Так на Хитровке в ночлежке находит он «старинного работника на литературной ниве» Федора Федоровича Трубникова, находит поэта Павла Николаевича Дмитриева, помещавшего свои стихи в «Русском сатирическом листке» и в «Развлечении», находит и писателя Ивана Тимофеевича Соколова, «талантливого сотрудника «Современных известий», писавшего прелестные рассказы из деревенской жизни». Вспоминает Епифанов и Николая Успенского, покончившего самоубийством.

«Так покончили все расчеты с жизнью эти три писателя-горемыки: Трубников, Дмитриев и Успенский, которых я знал хорошо... Неудачно ли сложившаяся жизнь, слабость ли характера, отсутствие ли своевременной помощи были причинами их преждевременной смерти — я

не знаю и не берусь судить...» — заключает Епифанов, относя скорбные строки, в сущности, и к собственной биографии. «Подруга дней моих суровых и одинокого житья в нужде тяжелой, как в оковах,— о, Муза бедная моя!»

Я отдал переплести томик Епифанова и поставил его рядом с книгами писателей — современников Чехова. Конечно, многим из них не дано было остаться в литературе, но иногда все же сто́ит внести поправку в строгий закон забвения.



ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Есть в истории литературы сюжеты, которые кочуют, заражают собой то одного, то другого литератора, вводят в соблазн бессознательного подражания или просто заимствования, в ряде случаев добросовестного: либо по шалости памяти, либо потому, что сюжет был летучий, так сказать, эпидемический, и неизвестно, где, когда и от кого заразился?

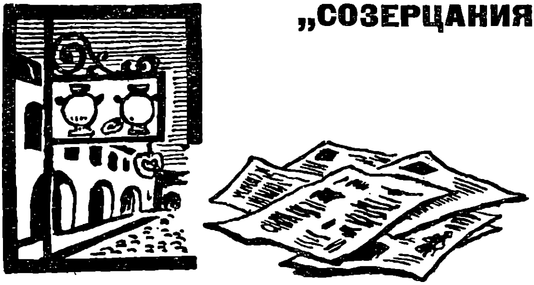
«Дуэль» А. П. Чехова была впервые напечатана в номерах газеты «Новое время» в 1891 году, а «Поединок» А. И. Куприна напечатан в 6-й книге сборников «Знание» за 1905 год. Но после появления повести Чехова и до появления повести Куприна вышла в 1900 году книга рассказов И. Миропольского, носившая чеховское же название «Дуэль» и ныне полностью позабытая.

Скромный и добросовестный литератор Миропольский сотрудничал в ряде журналов и, конечно, было очень смело или даже безрассудно дать после появления «Дуэли» Чехова такое же название своей книге. Разумеется, не для того, чтобы урвать лоскут чеховской славы, посту-

пил Миропольский так: просто он заразился литературным гриппом. Ведь никому не пришло в голову при появлении «Поединка» Куприна вспомнить о «Дуэли» Чехова с точки зрения некоторой схожести сюжетов. Кстати, действие в повести Миропольского происходит в военной среде и есть много мотивов, встретившихся позднее в повести Куприна, вряд ли читавшего когда-нибудь книгу Миропольского, добросовестно написанную, но без литературного блеска. Из истории литературы можно вспомнить, что даже у великих писателей встречалось некоторое сходство сюжетов: достаточно назвать «Выстрел» Пушкина и «Фаталиста» Лермонтова.

Однако, когда прослеживаешь дуновение времени в литературе, обращаешься и к второстепенным писателям. Литература — живой организм, а писатели — большие или малые — являются плазмой этого организма. Тема о забытых писателях менее всего походит на литературоведческие глубинные исследования: судьба писателя всегда остается живой, если даже писателя давно нет на свете и он позабыт в такой степени, словно никогда и не существовал. Что-то все же осталось от его работы, и когда берешь, например, в руки книжку тоже забытого ныне писателя И. Н. Потапенко «Записки старого студента», вышедшую в 1899 году, то находишь в ней перекличку многих мотивов с такими рассказами Чехова, как «Анюта» или «Припадок»: времени дано во всех его видах отложиться в литературе, и весь вопрос в том, кто в силу своего таланта лучше отобразит это время.

Чтобы понять закономерность прилета или отлета птиц, орнитологи обращаются не к одним лебедям или певчим птицам, но и к птицам, которые петь не умеют: однако, и они определяют законы перелетов. В литературе это тем более очевидно, и если я ставлю книгу забытого писателя И. Миропольского «Дуэль» или книгу забытого писателя И. Потапенко «Записки старого студента» рядом с книгами Чехова, то не умаляю этим для себя прекрасного величия его имени; напротив, у меня остается чувство, что Чехов попал в знакомую среду и ему есть с кем поговорить и поделиться многим, что делал он не раз в своих письмах меньшим собратьям по литературе, никогда, однако, не признавая различия между ними и собой.



„СОЗЕРЦАНИЯ КУЛЬКОВА“

О поэте Пальмине писали многие мемуаристы; писал о нем нередко в своих письмах и Чехов. Пальмин совсем забыт ныне; конечно, многие его стихи обличительного порядка сошли вместе с теми, кого стихи эти обличали: такова судьба стихов и целого ряда поэтов курочкинской «Искры». Но Пальмин был и лирическим поэтом, во всяком случае, в лучшие его времена.

По своей судьбе Пальмин мог бы служить эталоном того полунищего и полубеспризорного существования поэта, который целиком зависел от милости редактора и которому нередко приходилось «потрафлять»: издатель-редактор «Московского листка» Н. И. Пастухов в отношении эксплуатации своих сотрудников тоже мог бы служить своего рода эталоном.

В комплектах журнала «Осколки» за восьмидесятые годы можно найти немало стихов Пальмина: нередко соседствовали они рядом с фельетонами «Брата моего брата» или «Человека без селезенки», из которых впоследствии возник один из замечательнейших писателей — А. П. Чехов. Пальмин нередко досаждал Чехову своим беспутством, подверженный пороку не одного писателя того времени — склонности к алкоголю, но Чехов все же любил Пальмина: «Кстати, где теперь сей любимец богов? Где живет, или, вернее, куда переехал? Не сообщите ли Вы мне его семиэтажный адрес? Я у него уже давно не был и, вероятно, он теперь бранит меня: «Мальчишка! Чегт»,— пишет Чехов в одном из писем Н. А. Лейкину. «Следовало бы и Пальмина вернуть из его уксусного гнезда»,— пишет он в другом письме. А в письме А. С. Суворину от 30 октября 1891 года сообщает: «Вче-

ра хоронили Пальмина. Скучно хоронить». Конечно, под словом «скучно» сдержанный Чехов подразумевал: «грустно».

В 1881 году вышло второе, дополненное издание стихотворений Пальмина, а два года спустя редакция журнала «Осколки» выпустила его книгу «Цветы и змеи». Сборник шаловливых стихов и напевов». С издателем «Московского листка» Пастуховым Пальмин был связан, как один из авторов, весьма от него зависевших, и посвятил Пастухову «маленькую поэму в 9 главах «Ночь под Рождество», включенную в сборник «Цветы и змеи». Сборник этот у меня и с авторской надписью: «Глубокоуважаемому Николаю Ивановичу Пастухову в знак искреннего расположения на добрую память от автора. 14 апреля 1883. Москва».

В сборнике среди других стихов есть стихотворение под названием: «Молитва Тита Титыча»: «Молил Тит Титыч небеса в таком усердии глубоком, что пот, как будто бы роса, вставал на лбу его широком. Молил о том и о другом. Все для себя, без исключенья, молил о здравии своем, алкал карманов приращение, причем считал внутри души, невольно опуская взоры, какие будут барыши, когда помрут все кредиторы».

Об этой теме Пальмина я бы никогда не задумался, если бы в мои руки не попала одна заинтересовавшая меня книжечка. Книжечка эта носит название «Созерцания Кулькова за самоваром» и представляет собой своего рода обличительную поэму в духе стихов поэтов «Искры», вроде Минаева. Купец Кульков, изображенный на обложке книжки и на ее титуле, сидит с блюдечком чая в одной руке, другая оперлась о колено, а рядом стоит двухведерный самовар с чайником на конфорке, стоит перед купцом и поставец с графинчиком. Рисунок не то сделан художником Стариковым, не то Стариков лишь гравировал его. Автор поэмы не обозначен на титуле. Основной замысел поэмы выражен в сентенции Кулькова:

«Не отыскать на свете уголка, где-б не было ни злого, ни смешного, ни ханжества, ни грабежа дневного... Напрасен труд ревнителей добра, законников и человеколюбцев; бессилен он пред властию сребра, пред наглостью проныр и душегубцев... Но пусть о том рыдает Гераклит, пусть надо всем хохочет Демокрит,— а ты Куль-



Обложка книги

ков, великий жрец расчета — на все плюешь; одна твоя забота: мамон набить, да глотку промочить, да лишнюю копейку отложить, содрав ее хотя-б с родного брата. Не честь твоя, не совесть тебе свята, а свят закон, что «грош к грошу идет», а рыба,— рыбою живет»...

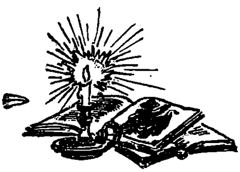
Поэма написана весьма бойко и свидетельствует о бесспорном даровании неизвестного автора. Разглядывая гравированную обложку, я заметил на ней, однако, нечто вроде своего рода шарады: на обложке есть три надписи, включая имя художника Старикова, явственно различимую. Две другие я разглядел лишь в увеличительное стекло: одна — более отчетливо — ИМРЕК, и другая, по-

чти скрытая в зачерненной части гравюры: Соч. Г. И. Кор...»

Лиодор (правильнее Илиодор) Иванович Пальмин родился в 1841 году, «Созерцания Кулькова» вышли, когда ему было всего двадцать лет, и трудно предположить, чтобы он в этом возрасте уже так свободно владел поэтическим словом. Но, обращаясь к ряду литературных псевдонимов Пальмина, находишь: «Граф Каллиостро», Гр. К-о (сокращенно Каллиостро) и, наконец: «Кор». Следовательно, надпись: Соч. Г. И. Кор можно было бы прочесть: Граф Илиодор Каллиостро.

Литературных псевдонимов «Кульков» или «Тихон Псоич Кульков», от имени которого написана поэма, в словарях литературных псевдонимов нет, и остается предположить, что автором книжки, определившей в дальнейшем все сатирически-обличительное направление его поэзии, был именно Илиодор Иванович Пальмин. Некоторые строки из поэмы находятся в прямой перекличке с такими, например, строками из его цикла «Шаловливые аккорды» в сборнике «Цветы и змеи»: «Разнообразны ордена, нашивки и медали, им всем особая цена,— петличка ли, звезда ли. В значке заслугу видит свет от века и до века, лишь одного диплома нет: на званье человека...»

Я написал обо всем этом не ради библиографических изысканий. Всегда интересен путь, по которому нередко бредешь в поисках той или иной литературной разгадки, и всегда испытываешь чувство удовлетворения, если добрался, наконец, до истины. Весьма возможно, что «Созерцания Кулькова» я неправомерно приписываю перу Пальмина, но это не меняет существо поисков, когда даже ошибки обогащают сведениями.





НАДПИСИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Леонид Андреев умел сильно чувствовать, сильно любить и горько отчаиваться — особенно в те годы, когда только складывалась его литературная судьба и он познавал и первые радости и первые огорчения. Книга рассказов Андреева, сразу пробудившая интерес к писателю, вышла в 1901 году; Андреев еще работал в гезете «Курьер»; некоторые рассказы, вошедшие в книгу, были до этого напечатаны именно в «Курьере». Редактор газеты Я. А. Фейгин помогал Андрееву и на его писательском пути. Федор Григорьевич Шилов подарил мне в один из моих приездов в Ленинград именно первую книгу рассказов Леонида Андреева. Авторская надпись на ней свидетельствует об отношении Андреева к своему первому редактору: «Многоуважаемому Якову Александровичу Фейгину от автора, искренне благодарного за постоянную дружескую поддержку».

Но есть у меня и пятое издание этой книги, вышедшее в 1902 году. Экземпляр этот переплетен в кожу разных цветов, составляющую на крышке пейзаж в виде ночных облаков и луны, просвечивающей сквозь ветку дерева. В книгу вплетен портрет Леонида Андреева той поры, когда он носил сапоги и русскую поддевку, и на первой странице есть авторская, глубоко биографическая надпись.

«Милому Сергюшу. То, что я позвал тебя, и только тебя мог позвать в такую минуту жизни, для помощи в таком деле — говорит, как я люблю тебя и верю тебе. А почему люблю, почему верю, о том напишу.

Твой Леонид».

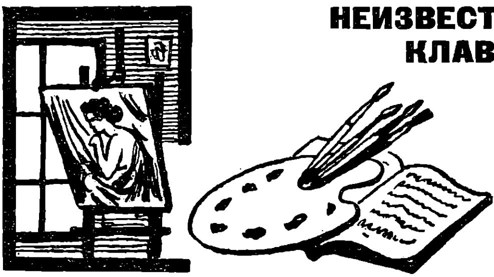
Одним из ближайших друзей Андреева был московский врач Сергей Сергеевич Голоушев, писавший литера-

турные и искусствоведческие статьи под фамилией Сергей Глаголь. О Голоушеве в своей книге «Записки писателя» с теплотой и признательностью вспоминает Н. Д. Телешов.

Вполне возможно, что в архиве С. Голоушева, которого многие друзья любовно называли Сергюшом, и сохранилось письмо Андреева, разъясняющее эту надпись на книге; даты под надписью нет, она могла быть сделана много позднее выхода книги, может быть, в тот год, когда умерла первая жена Андреева,— один из самых трагических периодов в его жизни...

Покойный писатель Николай Дмитриевич Телешов, которому я показывал эту книгу, сказал:

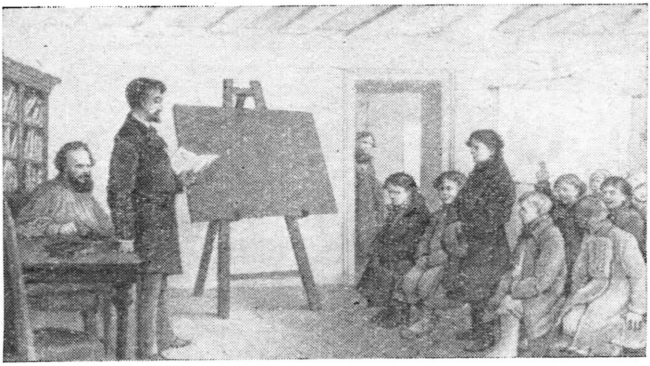
— Голоушева я тоже мог бы позвать в тяжелую минуту жизни. Человек он был достойный и верный, а Леонид Андреев всю жизнь тосковал по верным людям. В Голоушеве на этот счет он не ошибся.



НЕИЗВЕСТНЫЙ РИСУНОК КЛАВДИЯ ЛЕБЕДЕВА

Художник Клавдий Лебедев известен как автор ряда исторических и жанровых картин; в Третьяковской галерее хранятся его «Боярская свадьба», «На родине», «К сыну». Но иногда рисунок или даже набросок передают умонастроение художника больше, чем широкие его полотна. Полотна пишутся для всеобщего обозрения, они публичны; рисунки, подобно записям писателя в записной книжке, пишутся зачастую для себя.

Одна такая запись Клавдия Лебедева свидетельствует о его несомненно большом интересе к личности и деятельности Льва Толстого. Поселившись с конца пятидесятых годов в Ясной Поляне, Толстой увлекся педагогикой, основал сельскую школу, сам преподавал в ней. Не-

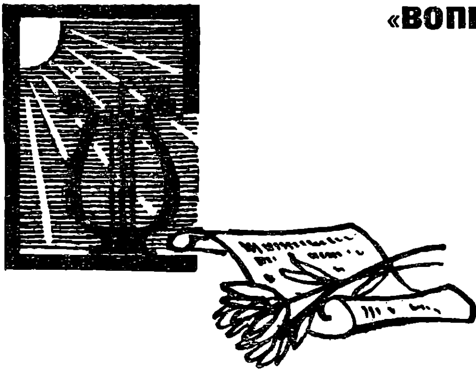


Акварель К. Лебедева «Толстой в Яснополянской школе»

мало сил он приложил и к тому, чтобы издавать педагогический журнал «Ясная Поляна», «Азбуки», «Русскую книгу для чтения».

Книг этих ныне не найдешь; в большинстве случаев они, наверно, познали судьбу учебников, были зачитаны или потеряны детьми; уцелевшие экземпляры редки. Но у меня хранится один особо примечательный экземпляр переплетенных в один том всех четырех книг «Азбук графа Л. Н. Толстого», вышедших в 1872 году. В этот том вплетен оригинал рисунка Клавдия Лебедева; на рисунке изображен Лев Толстой в яснополянской школе. Толстой еще полон сил, с черной бородой, на вид ему около пятидесяти лет. Судя по всему, рисунок Лебедева сделан с натуры: все на нем в такой степени документально, с такой точностью изображены и учитель и школьники, что можно предположить даже портретное сходство; особенно это относится к Льву Толстому.

Возможно, что в архиве Клавдия Лебедева, если архив этот уцелел, и хранятся записи о его посещении Ясной Поляны; а может быть, нашлась бы и запись о влиянии Толстого на художника. Рисунок, сделанный в яснополянской школе, не походит на случайно попавший под руку сюжет: он внутренне выношен художником; и если беглая запись в записной книжке писателя приоткрывает иногда его глубокие замыслы, то и рисунок Лебедева кажется заявкой на большое полотно.



«ВОПРОСЫ ЮНОСТИ»

В год, когда конница белогвардейского генерала Мамонтова прорывалась к Орлу и Туле, я в первый раз в своей жизни побывал в Ясной Поляне: меня просто увез в своем служебном вагоне назначенный комендантом Тульского укрепленного района писатель сложной судьбы Алексей Иванович Окулов. До этого он писал рассказы в духе Гамсуна, любил природу Сибири, из которой был родом, в издательстве «Северные дни» вышла в 1917 году первая книга его рассказов «На Амыле-реке», но этот нежный и задумчивый человек был в то же время испытанным большевиком и военным работником, членом Реввоенсовета республики, да и вся его семья была с глубокими революционными корнями. Мне приятно, вспоминая о нем, сказать, что несколько лет назад издательство «Советский писатель» выпустило книгу его рассказов «Юность», а «Правда» писала о нем, как об одном «из преданных революционеров и самоотверженных борцов за власть Советов».

В Туле, в которой уже наступила оттепель, Окулов, несколько критически взглянув на мои валенки, сказал мне вдруг:

— Вот что, съездите-ка в Ясную Поляну, посмотрите, что там делается, а потом доложите мне.

Ясная Поляна входила в Тульский укрепленный район, и вскоре на розвальнях среди необъятных снегов русской равнины я ехал к Ясной Поляне с ее тревожной и невнятной в ту пору судьбой: Софья Андреевна Толстая умерла в ноябре 1919 года, и было неизвестно, кто сей-

час в доме и что́ с ним. Лошади везли с колокольцами, звеневшими на деревенской дороге, а потом я увидел знакомые мне по фотографии яснополянские въездные столбы с куполами на них, дом с широкой террасой и летние плетеные стулья, оставленные на ней. Дом не отапливался, в комнатах стоял каляный холод, и только внизу, в одной из комнат, топилась печь, и в комнате работал знакомый мне профессор Алексей Евгеньевич Грузинский, невысокий, в очках, с женским теплым платком на плечах. В ту пору я уже познал радость общения с книгами, правда, еще очень робкую, и Грузинский, несколько знавший об этом, спросил у меня:

— А вы бывали когда-нибудь раньше в Ясной Поляне? Эх, молодой человек, вы бы хоть на библиотеку Льва Николаевича посмотрели, сколько он книг прочел на своем веку. Писатель должен много читать.

И в своем женском платке на плечах и в валенках, он повел меня за собой, чтобы показать библиотеку Толстого. Книги стояли в застекленных шкафах, уже давно отвыкшие от тепла человеческих рук, да и не до книг было в ту пору, когда Мамонтов прорывался к Туле... Но спокойная, даже несколько уютная уверенность полуголодного Грузинского, водившего меня от шкафа к шкафу, за ледяными стеклами которых стояли книги на всех языках мира, как-то наполнила и меня уверенностью, что ни Мамонтову с его конницей, ни Деникину, уже возвещавшему близкое падение Москвы, никогда не добраться даже до Ясной Поляны.

Вернувшись в Тулу, я рассказал об этом чувстве Окулову.

— И не доберутся,— сказал он, блеснув стеклами своего пенсне,— вообще, молодой мой друг, придет время, когда от всех этих Мамонтовых и Деникиных одна шкура останется,— добавил он не улыбнувшись.

Но уже и казачий генерал Шкуро, командовавший конным корпусом добровольческой армии, был накануне своего разгрома.

Окулов много лет прожил в Париже в политической эмиграции и любил вставлять в русскую речь французские слова и присловицы, вроде «ça dépend» или «voyons».

Я приехал в Ясную Поляну вторично уже много лет спустя после этого первого свидания с ней. От Деникина

и Мамонтова, действительно, уже ничего не осталось, не осталось ничего и от Шкуро. Обновленный дом Толстого стоял незыблемо, как некий страж русской земли, и я прежде всего поднялся на второй этаж, посмотрел на книги в шкафах и вспомнил ту тревожную пору, когда казалось, что и дом Толстого может быть уничтожен. Яблони, правда, несколько поредевшие, цвели, и солнце шло своим кругом, заглядывая в окна дома и тепло освещая комнаты, в которых портреты Крамского и Репина соседствовали с портретами предков Толстого. Книги в шкафах стояли так же, как и стояли, я уже был больше искушен в книголюбии и заинтересованно читал названия на их корешках, вспоминая пору своей юности, когда в ученическом журнале был напечатан первый мой рассказ и путь писателя казался мне ослепительным... Но, конечно, я и не помышлял тогда, что побываю когда-нибудь в доме Толстого и постою возле рабочего стола, на котором он писал «Войну и мир».

А дальше я уже множество раз бывал в Ясной Поляне, был в ней и несколько дней спустя после того, как из нее в минувшую войну изгнали немцев, видел десятки солдатских касок, надетых на неошкуренные, сбитые в виде крестов полешки на могилах немецких солдат, похороненных рядом с могилой Толстого, несомненно для утверждения фашистской доктрины, что любой рядовой немец равен русскому гению. Но дом Толстого стоял твердыней, правда, подожженный и едва не сгоревший, а некоторое время спустя вернулись на свои места и вывезенные книги толстовской библиотеки.

В 1958 году вышла первая часть книги «Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне» с описанием книг на русском языке. Я купил ее и поставил рядом с двумя другими книгами «Библиотека Достоевского» — работой Леонида Гроссмана и «Библиотека Некрасова» — работой Н. С. Ашукина. Книги, которые писатель читал и хранил, открывают не только мир его пристрастий, но открывают в огромной степени и то, чем он жил и что так или иначе волновало его. Книгам в этом смысле дано играть одну из первостепенных ролей для познания творческой биографии.

Просматривая описание библиотеки Л. Н. Толстого, я с изумлением прочел заглавие одной из хранящихся в этой библиотеке книг: «Вопросы юности. Сборник

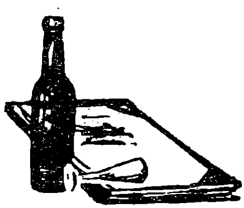
(М. типо-лит. И. Н. Кушнерева), 1910. 74 стр.; 2 л. илл. Без перепл. Не разрезана. Сохр. хор.»

Но как попал к Толстому этот наш ученический журнал, какими неведомыми путями прибрел он сюда? Может быть, его послал первый наш пестун, поэт и переводчик, фактический издатель этого сборника Генрих Тастевен, пробудивший во многих из нас, учеников, литературные склонности? Журнал наш вышел в начале зимы 1910 года, а Толстой умер в ноябре: может быть, этот сборник, оставшийся неразрезанным, пришел в Ясную Поляну, когда Толстого уже не было.

Читая описание библиотеки Л. Н. Толстого, я лишний раз задумался над неисповедимыми путями книг, задумался и о том, что подобно падающей звезде, кажется, пусть самая незаметная книга, прочерчивает все же свой след, и кто-то заметит, как она падала, кто-то все же заметит...



ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА



Рассказ А. П. Чехова «Мужики» одно из самых горьких произведений в русской литературе. Читая этот рассказ, я всегда вспоминаю удивительно написанную Львом Толстым сцену посещения Облонским и Левиным ресторана «Англия» с лакеем татарином. Думаю я и о том, что Чехову, часто приезжавшему в Москву и бывавшему в московских ресторанах то с Гольцевым, то с Сувориным, приходилось не раз наблюдать унизительное бесправие тех, кого в противовес истинному смыслу этого слова называли «человек»...

Рассказ Чехова «Мужики» с его героем лакеем при московской гостинице «Славянский Базар» Николаем Чи-

кильдеевым был написан в 1897 году, а повесть Ивана Шмелева, носившая уже прямое название «Человек из ресторана», вышла в 1911 году и как бы расширяла и развивала судьбу чеховского Чикильдеева. Конечно, лишь наблюдение за жизнью и лишь наглядное познание бесправия множества людей, которые парадоксально должны были как бы утверждать своей работой бесспорное право на роскошь и привилегии ничтожного меньшинства,— конечно, лишь это обратило Чехова к его теме, как обратила к этой же теме свыше десятилетия спустя и блистательно начинавшего свой путь Ивана Шмелева.

Но радетелями этого униженного сословия, печальниками его подлинного горя были и многие другие, менее заметные писатели, положившие, однако, немало труда, чтобы осудить беспощадную эксплуатацию. В 1905 году вышла книжка под несколько специальным названием: «Сборник писем и статей о положении официантов и половых и на каких условиях они служат у своих хозяев». Составителем книги был некий «запасный взводный унтер-офицер, а ныне официант небольшого ресторана Матвей Гордеев».

Неутомимость этого официанта, неоднократно писавшего в 1897 году письма в редакцию газеты «Московские ведомости», была поистине поразительной; письма эти послужили как бы вводным материалом к книге о положении официантов, выпущенной уже позднее и составленной из статей многих крупных литераторов того времени, как Сергей Яблоновский, В. Ермилов, А. Пазухин, В. Гиляровский и особенно Н. Шебуев.

Матвей Гордеев в пору первой русской революции стал учредителем официантского общества. А в очерке А. Пазухина «На чаек с вашей милости», напечатанном до этого в «Московском листке», целые абзацы находились в прямой перекличке с судьбой чеховского Чикильдеева: «Ногами очень, сударь, страдаем,— пояснил половой.— Ведь с раннего утра до поздней ночи на ногах... Бегаешь по комнатам, бегаешь в кухню, и сесть не смеешь даже тогда когда гостей нет. Все стоять должны, такое у нас правило... Ну, и страдаем ногами... Этакая особенная болезнь какая-то бывает: с жилами что-то делается... говорят, что под старость это крепко отзовется...»

Рассказ Чехова «Мужики» начинается строками: «Лакей при московской гостинице «Славянский Базар» Нико-

лай Чикильдеев заболел. У него онемели ноги и изменилась походка... пришлось оставить место».

Как известно, Московский цензурный комитет потребовал от редакции журнала «Русская мысль», где печатался рассказ Чехова: «исключить одну из страниц, при несогласии арестовать». Правда, речь шла о том, что Чехов слишком мрачными красками изображает положение крестьян, живущих в деревне, хотя положение крестьянина Чикильдеева, жившего в городе и работавшего официантом, было не менее печальным и горьким.

В литературе одно явление вызывает к жизни другое, этот живительный процесс подчас не может быть уловлен ни литературоведом, ни социологом. Письма Матвея Гордеева о положении официантов появились в печати в 1897 году — в том же году, когда были написаны и «Мужики»: может быть, Чехов читал эти письма и они еще больше утвердили в нем желание написать на эту тему. Может быть и то, что появлению «Сборника писем и статей о положении официантов» способствовали «Мужики» Чехова, нашедшего эту тему и открывшую ее для читателя, а чем глубже талант, тем сильнее и воздействие темы. Мы знаем, что успех «Мужиков» напомнил многим те времена, когда появлялись новые романы Тургенева и Достоевского.

А потом обнаружился и подлинный официант Большой московской гостиницы С. И. Бычков, послужившей в некоторой степени для Чехова прототипом; во всяком случае, Бычков признавал это сам, выразив признательность Чехову в стихотворной форме.

Может быть, и Ивану Шмелеву попалась в свое время книжка, собранная Матвеем Гордеевым: его первая книга «Гражданин Уклейкин», а затем и «Человек из ресторана» глубоко демократичны. Была в свое время близка эта тема о бесправном официанте и М. Горькому. В одном из своих очерков «Негативы», напечатанном в 1905 году в газете «Русь», Николай Шебуев пишет о том, что получил записку от А. М. Пешкова, который просит обратить внимание на ее подателя — официанта Морозова, уволенного из ресторана Наумова в Нижнем Новгороде за то, что он не подал спичку пьяному музыканту-румыну, и искавшего правды и защиты у Горького. «Зачем Горький прислал мне этого человека? Не захотел ли он показать фельетонисту своего Луку, ищущего «зем-

ли праведной» в официантском платье. О, тогда он прав, тысячу раз прав!» — заключает Шебуев.

Для меня «Сборник писем и статей о положении официантов и половых» не бытовая книжка, связанная с эпохой, давно ушедшей или, вернее, сметенной. Она связана для меня и со всем тем, что писалось в русской литературе о «человеке из ресторана», начиная от Чехова, связана и с именами Горького и Шмелева, и Гиляровского, и такими позабытыми ныне писателями, как А. М. Пазухин или Н. Г. Шебуев... оказывается, и безвестный «запасный взводный унтер-офицер, а ныне официант небольшого ресторана Матвей Гордеев» сыграл какую-то роль в том процессе, который называется литературным.



„ВЕНА"

Почти таким же документом эпохи может служить не слишком грамотный, изданный с целью рекламы сборник под названием «Десятилетие ресторана «Вена». Об этом «венском» периоде в жизни литераторов Петербурга в 1903—1913 годах можно было бы не говорить: российская богема не отличалась сдержанностью и несомненно сгубила не только ряд молодых дарований, но и устоявшихся литераторов. Шутки и экспромты, собранные владельцем ресторана «Вена» И. Соколовым для своего юбилейного сборника, невысокого качества: Мюрже на русской почве не процвел. Но в «Вене» бывал и прекрасный русский писатель А. И. Куприн, бывал несомненно больше и дольше, чем следовало, низко, однако, ценя случайные компании или даже попросту презирая их; несомненно

именно нравы и быт «венской» литературной богемы выведены им в «Штабс-капитане Рыбникове».

Одна из глав юбилейного сборника «Вены» посвящена А. И. Куприну, и в ней приведены стихотворные экспромты Куприна, в частности, стихотворное послание владельцу ресторана. Я вспомнил об этом сборнике, приобретя как-то второй том сочинений Куприна в издании «Московского книгоиздательства». На первой чистой странице этой книги есть пространная надпись Куприна:

«Прорицание на 1918 год.

Глубокоуважаемый Николай Петрович,

Очень может быть, что Вы будете не самым титулованным из Петербургских лорд-меров и, наверно, не самым богатым, но, конечно, одним из честных и, безусловно, самым энергичным. В чем порукой — моя давняя профессия предсказателя.

А. Куприн. Гатчина. 1915. 8 ноября. День Архистратига Михаила».

Кто же этот Николай Петрович и кому Куприн предвещал в 1915 году будущность петербургского «лорд-мера»? По одним предположениям, это писатель Николай Петрович Ашешов, с которым Куприн часто встречался в Гатчине. Но почему именно ему Куприн в шутливой форме намечал такое будущее? Впрочем, Куприн неизменно был склонен к такого рода сентенциям. Секретарь И. А. Бунина Н. Я. Рощин подарил мне как-то автограф Куприна, представляющий тоже своего рода сентенцию, несколько в восточном фаталистическом духе: «О предусмотрительности. Перед спуском с 6-го этажа обдумай путь; а то шагнешь в окно и ушибешься. А. Куприн».

Покойный Василий Александрович Регинин, о котором я уже говорил, человек живой и общительный, был на протяжении ряда лет своего рода тенью Куприна. Он знал о Куприне дореволюционной поры все или почти все и умел рассказать об этом образно и увлекательно. В сущности, и о самом Регинине можно было бы написать не одну страницу, и те, кто его знал, должны были бы сделать это.

— Куприн был изобретателен, он всегда что-нибудь изобретал,— сказал Василий Александрович как-то,— особенно он изобретал людей. Он мог заставить поверить в качества или особенности того или другого человека, и все начинали верить, что это особенный человек. Начинал ве-

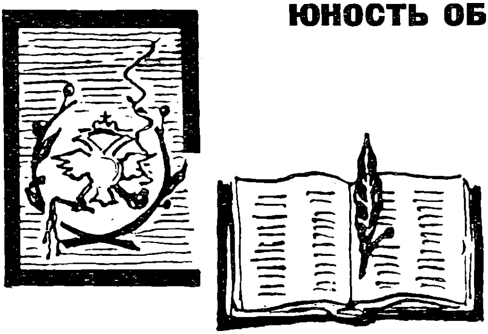
рить в это даже и тот, кого Куприн мистифицировал. Однажды в ресторане «Вена» он представил нам мрачного, взъерошенного человека, как испытанного предсказателя судеб. Тот сумрачно пил коньяк, затем брал руку того или другого из обсевших Куприна литераторов, долго смотрел на нее и наконец изрекал если не точно, то метко. На мою руку он тоже посмотрел и знаете, что предсказал? «Таланту много, а ничего не получится»... а ведь верно предсказал,— вздохнул Регинин самоуничтожительно.— Жизнь я прожил неудобную.— Но Регинин тут же согнал несвойственное ему минутное раздумье.— А знаете, кем оказался этот предсказатель? Мозольным оператором из Пушкарской бани. Куприн его так настроил, что он потом и в банях, срезая мозоли, предсказывал... говорят, даже по мозолям предсказывал. Впрочем, ничего тут хитрого нет,— добавил Регинин сентенциозно.— У каждой профессии свои мозоли... а раз знаешь профессию, нетрудно и предсказать.

Регинин тоже предположил, что надпись на книге Куприна относится к Ашешову, но тут же усомнился:

— Какой же из него мог получиться лорд-мер... если бы лорд-мерин, тогда другое дело.

Обидел он Ашешова, конечно, ради красного словца, тем более что надпись Куприна относится, может быть, вовсе не к Ашешову; кстати, Н. П. Ашешов был далеко не плохим литератором.

ЮНОСТЬ ОБЕР-ПРОКУРОРА



О К. П. Победоносцеве написано не мало: образ сановника царской России, образ мрачный и губительный, запечатлен не только в сатирической литературе

1905 года; не только в памфлете А. Амфитеатрова и Е. Аничкова «Победоносцев», выпущенном в 1905 году издательством «Шиповник». Его вывел в своем романе «Петербург» Андрей Белый под именем Аполлона Аполлоновича Аблеухова, как некоего фантома, возможного лишь в самодержавной России; а в сатирической литературе Победоносцева именовали «Лампадоносцевым» или «Бедоносцевым». Победоносцев был обер-прокурором синода, и его имя в такой степени связано с понятием «мракобес», что слово это стало едва ли не синонимом имени Победоносцева.

Случайно я приобрел весьма редкую анонимную книжечку под названием «Для немногих» с подзаголовком «отрывки из школьного дневника 1842—1845 гг.»; издана книжечка эта была в 1883 году в С.-Петербурге. В предисловии сказано: «Книжка эта печатается для немногих, которые могут узнать в ней себя и почуять свою прошедшую молодость. Подойдем, посмотримся в зеркало, улыбнемся сами себе, и скажем со вздохом: о, моя юность! о, моя свежесть!»

Чья же рука писала эти поистине тургеневские строки? В библиографической литературе книжка эта значится принадлежащей перу К. Победоносцева, а вспоминает он в ней свои школьные годы, проведенные в училище правоведения. Вспоминает с тем нежным умилением, которое — если иметь в виду фигуру Победоносцева — может быть уподоблено грустной и доброй улыбке пантеры. Когти, которыми Победоносцев душил и рвал в России все живое и прогрессивное, были хорошо отточены.

Училище правоведения выпускало в огромном большинстве будущих сановников и бюрократов: все эти царские министры Горемыкины, Щегловитовы, Коковцевы имели в большинстве за своими плечами именно училище правоведения. Правда, в нем учились и такие впоследствии выдающиеся деятели русской культуры, как академик А. Шахматов или В. Стасов, или И. С. Аксаков, но это представляло исключение для того стандарта выпускников, которые стали затем крупными чиновниками и цепко держали в своих руках бесправную и полуграмотную Россию.

Победоносцев родился в 1827 году; следовательно, в 1842—1845 годы, с которых начинаются его воспоминания, ему было всего 15—18 лет. Шалости, порка, скаб-

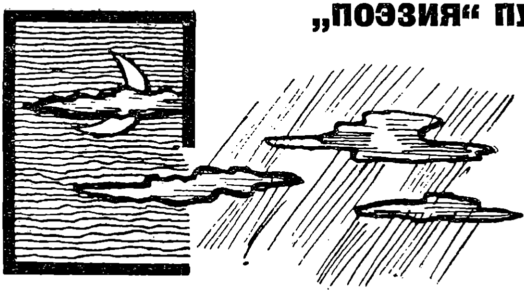
резные стишки, посещения царя, молебны, тайные страстишки, запрещенное куренье впервые появившихся в ту пору папирос, экзамены и шпаргалки — все мелкие события школьной жизни старательно заносила в свой дневник юношеская рука будущего обер-прокурора. Весьма возможно, что в свое время он с такой же тщательностью вел дневник проявлений русской вольности, с которыми боролся жестоко, хитро и изобретательно. Роль Победоносцева в деле отлучения Л. Н. Толстого от церкви общеизвестна. Покойный артист Московского Художественного театра Н. П. Хмелев сказал мне как-то, что перед тем, как приступить к исполнению роли Каренина в инсценировке «Анна Каренина» он изучал материалы биографии Победоносцева: взыскательный художник, он искал наибольшего правдоподобия образа бездушного сановника.

В своем школьном дневнике Победоносцев записывает, что на одном из экзаменов ему достался билет: «о высоких проявлениях свободной деятельности и чувствах сердца» и он получил за ответ высшую отметку — 12. Он не думал тогда, что когда-нибудь понятие «высшее проявление свободной деятельности» станет как раз тем понятием, какое исключает его личность.

Свою книжку Победоносцев выпустил, когда ему было 56 лет, юношеские восторги стали, по существу, стариковскими ламентациями, а минорное предисловие заключается словами: «...книга эта предназначается к обращению исключительно в тесном кругу товарищей, знавших друг друга в период 1842—1846 года». К книжке приложен алфавитный список воспитанников, о которых автор сообщает: «Многие из имен, которые встречаются в этих строках, принадлежат людям, коих нет уже на свете, коих мы схоронили — и оплакали!»

Не знаю, во скольких экземплярах был выпущен этот интимный дневник мракобеса, вспоминающего свежесть своей юности; в продажу он никогда не поступал, и только по мере того, как сходили под сень бывшие питомцы училища правоведения, из их сенаторских или министерских библиотек попадали в продажу единичные экземпляры. Попал и в мою библиотеку один такой экземпляр, и притом в столь роскошном оформлении, что лишь бывший однокашник Победоносцева мог переплести его так.

„ПОЭЗИЯ" ПУРИШКЕВИЧА



На одной из моих книжных полок чинно стоят большие, добротно переплетенные тома со строгой надписью на корешке: «Государственная Дума. Стенографические отчеты. 1906. Сессия первая».

Я люблю книги, хранящие запах истории. Даже один их внешний вид заставляет вспомнить многое, затерявшееся в быстро идущем или вернее быстро несущемся времени. Умеренные речи столпов конституционно-демократической партии — ка-де; речи откровенных монархистов, загримировавшихся под народных радетелей; наконец, речи пресловутого черносотенца Маркова 2-го и кликушеские вопли одного из самых шутейших — Пуришкевича. Этот бесноватый бессарабский помещик был твердо убежден в своей исторической миссии и прославился, в конце концов, тем, что собственноручно добил Григория Распутина, думая этим спасти самодержавие. Книжка «Убийство Распутина. Из дневника В. Пуришкевича» была издана в наше время в 1923 году.

Но Пуришкевич писал еще и стихи, он был еще и поэтом, правда, поэтом особого рода, и одно из его поэтических творений имеет и особую историю.

Поэтический псевдоним Пуришкевич выбрал себе — В. Кевлич. Под этим именем он издал одну апокрифическую книжонку, весьма мерзкую и зловонную, не постеснявшись воспользоваться любым способом, чтобы напакостить своим противникам. А противниками Пуришкевича даже в умеренной Государственной Думе было большинство, ему редко давали закончить речь, и ряд его выступлений завершался скандалами.

Книжку своих «эпиграмм», которые попросту являлись пасквилями, Пуришкевич загримировал двояким об-

разом: часть тиража была выпущена под видом заграничного революционного издания, каких было много в то время. Обложка этой части тиража такова: «В. Кевлич. Галерея современных деятелей. Editio ad usum Delphini». Штутгарт. Издание редакции «Освобождение». 1907». Другая часть тиража вышла с тем же титулом, но с подзаголовком: «Из альбома полусознательного товарища. Посмертное издание. Тифлис. Головинский проспект. Издание Ц. К. Партии Народной Свободы». 1907».

Как-то, встретившись с покойным ныне бывшим председателем второй Государственной Думы Федором Александровичем Головиным, и до старости не утратившим эллинского облика, я спросил его об этой книжке Пуришкевича. Головин был, в свою пору, одним из лидеров Партии Народной Свободы.

— Неужели у вас есть экземпляр этой подлейшей книжонки? — спросил меня обычно сдержанный и корректный Головин.— В свое время были ассигнованы специальные средства, чтобы скупить весь тираж и уничтожить этот гнуснейший из гнусных пасквилей.

Головин даже несколько порозовел от возмущения и явно недоумевал, зачем я засоряю свою библиотеку такими подлыми книжонками? Я не сказал Федору Александровичу, что нередко самая бросовая книжка является находкой для собирателя, или даже добычей: ведь и мерзкие книжки определяют иную эпоху.

Книжка Пуришкевича содержит 69 «эпиграмм» на членов Государственной Думы, эпиграмм нередко доносительских, а в ряде случаев непечатных, представляющих собой попросту заборную литературу. Впрочем, на самого себя Пуришкевич написал «эпиграмму» весьма возвышенную и проникновенную: «Поэт, писатель, не философ, ты, Пуришкевич, для вопросов глубокой мысли не рожден; идешь вперед к заветной цели... Иди под гром рукоплесканий, под вражий свист, без колебаний, судьба прядет веретено!» Вспомним, что книжонка выпущена под псевдонимом, и апология в адрес Пуришкевича выглядит как признание со стороны его прямоты и мужества.

— Сожгите вы эту книжонку,— брезгливо посоветовал мне Головин: даже тридцать лет спустя он содрогался, вспоминая о ней.

Я не внял совету Головина, книжонка эта для характера некоторых политических нравов в своем роде исто-

рическая: именно об истории нравов я и вспоминаю, а «поэт Пуришкевич» и способ печатания им своих пасквилей лишь иллюстрируют эту историю.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ОМЕЛА

Возвращаясь с юга, я купил в поезде у железнодорожного офени книжку воспоминаний художника М. Щеглова «Наброски по памяти», изданную в 1957 году в Симферополе. В книжке этой художник рассказывал о своей жизни, но впоследствии я вспомнил его имя совсем по другому поводу.

«Двенадцать» Александра Блока в свое время глубоко всколыхнуло читателей: одни явились страстными приверженцами поэмы Блока, другие — по ту сторону границы — ее ненавистниками. Поэма Блока стала его поэтической эпитафией, притом блистательной и, пожалуй, беспримерной.

Симферополь в 1923 году только оправлялся после интервенции, но у него уже были свои издательства, выпустившие не одну книгу. В числе книг, выпущенных Крымским кооперативным издательством «Пролетарское дело», была театральная инсценировка поэмы Блока. Имя художника М. Щеглова, написавшего свои воспоминания, всплыло для меня, когда инсценировка поэмы Блока, ныне несомненно весьма редкая, попала в мои руки: поэму иллюстрировал рисунками несколько плакатного характера именно М. Щеглов.

Дело, однако, не в иллюстрациях, а в том, по какому способу поэма Блока была инсценирована Вл. Бугайским, со специально написанными нотами Б. Б. и вступитель-

ной статье С. М-ского. Мне кажется, что и автор вступительной статьи, и композитор сознательно не захотели начертать свое полное имя: качество инсценировки, бесспорно, показалось им не первого сорта.

Текст блоковской поэмы разбит, так сказать, на монологи или диалоги персонажей. Так, вступление к поэме «Эх, ты, горе-горькое, сладкое житье» поет хор красноармейцев. Потом занавес медленно опускается и 1-й красноармеец произносит: «Черный вечер»... 2-й красноармеец: «Белый снег»... 3-й красноармеец: «Ветер, ветер!.. на ногах не стоит человек...» Случайный прохожий, поскользнувшись, изрекает: «Под снежком — ледок, скользко, тяжко, всякий ходок скользит — ах, бедняжка!» Проходящая с девочкой старушка сообщает: «От здания к зданию протянут канат», а девочка подхватывает: «На канате плакат» и далее читает по складам: «Вся власть учредительному собранию» и так далее, до самого конца поэмы, вплоть до заключительного диалога между бывшим чиновником и попом, причем бывший чиновник (по ремарке — злобно и радостно) возглашает: «Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! (насмехаясь) «Так идут «державным» шагом — позади голодный пес», на что поп (благоговейно — по ремарке): «И за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз — впереди — Исус Христос...»

Даже автор благосклонного предисловия к инсценировке счел нужным сказать, что «таким толкованием естественно упраздняется глубокий символический смысл появления Христа, в котором заключено блоковское понимание и оправдание Русской Революции».

Он не добавил, однако, что такие инсценировки являются своего рода омелой, для которой у ботаников есть точное определение: «паразитирующий на деревьях кустарник с белыми клейкими ягодами».

Можно было бы не вспоминать бездарной инсценировки поэмы Блока, к тому же вряд ли когда-либо увидевшей свет. Но у меня есть такого же рода инсценировка «Анны Карениной» Л. Н. Толстого. На отпечатанном на машинке и цензурованном экземпляре не только разрешающий к постановке штамп театрального цензора, но и печать театра К. Н. Незлобина, в котором инсценировка эта, видимо, шла, а также режиссерские купюры. Экземпляр этот подарила мне покойная Наталья Власьевна До-

рошевич, а роль Анны Карениной исполняла ее мать, артистка Кручинина. У Н. В. Дорошевич было много причин критически относиться к своей матери, о чем обстоятельно рассказано в ее воспоминаниях, к сожалению, лишь частично опубликованных. Даря мне этот экземпляр, Наталья Власьевна сказала с грустью:

— Сохраните его у себя, хотя, наверно, таких книг вы не собираете. Но все-таки любопытно иной раз взглянуть, что можно сделать с классиком, если он уже покойный... если он не может протестовать.

Конечно, при жизни Толстого такая инсценировка не могла бы появиться, не появилась бы при жизни автора и инсценировка «Двенадцати». Омела умеет выбирать деревья, на которых может паразитировать, а литературная омела представляет особый интерес: она лишний раз напоминает о могучем стволе того дерева, на котором с точным расчетом выбрала местожительство.

ИЗ ОБЛАСТИ ПАРАЗИТОЛОГИИ



Прославленный паразитолог академик Евгений Никанорович Павловский, с которым недавно мы со скорбью простились, выпустил в 1940 году на правах рукописи одну, ныне ненаходимую книжечку под названием «Паразитологические мотивы в художественной литературе и в народной мудрости». Книжечка эта формально была выпущена Ленинградским паразитологическим обществом, но издал ее сам автор, человек огромной любознательности и удивительного жизнелюбия.

Книжечку эту Евгений Никанорович подарил мне, снабдив ее пространными письменными комментариями, когда и при каких условиях она вышла. Я считаю эту

книжечку с авторскими пояснениями одной из примечательнейших в моей библиотеке. В книжечке есть разделы о блохах, мухах или вшах, но в ней ничего не сказано о книжных жучках, являющихся одним из истинных паразитических видов. Я имею в виду не тех жучков, которые нередко гнездятся в книжных переплетах, а тех, опасных для любого собирателя, жучков, которые, пользуясь его недосмотром или неосведомленностью, доставляют ему огорчения, понятные лишь книжникам. Рассказать о роде этой паразитической деятельности следует.

Книги в конце XVIII века или в начале XIX выпускались обычно небольшого формата, и издания такого рода, в том числе и романы, состояли обычно из нескольких частей, каждая в отдельном томике. Если жучку попадутся в руки разрозненные томики такого издания, то при помощи чернил, если нужно изменить порядковый номер томика, или при помощи ножичка, если нужно соскоблить лишнюю палочку, жучок создает такой вид книжек, что собиратель уверен, будто купил полное издание или что все издание состояло лишь из одного томика.

Дома, изучая покупку или обратившись к справочнику, собиратель обнаруживает, что купленные, например, три томика составляют лишь часть издания, так как оно было выпущено в шести томах; или он обнаруживает попросту грубую подчистку.

Существует, однако, надежный способ проверки: нужно посмотреть на свет титульную страничку книжки, на тряпичной бумаге прошлого века всегда останется след от подчистки, более светлое пятно; следует помнить также, что на последнем томе того или иного издания XVIII века всегда значится: «конец такого-то и последнего тома», то есть: «конец пятого и последнего тома» или «конец шестого и последнего тома». Если этой надписи нет, значит, томик не последний, и издание, которое купил собиратель, неполное.

Но, может быть, сто́ит покупать и неполное в расчете дополнить недостающие тома впоследствии? На мой взгляд, не сто́ит. Неполнота издания всегда неприятна, случай отыскать именно недостающий том весьма редок, а заполнять разрозненными томами книжные полки бесцельно, потому что это не собрание, а случайные книги.

К жучкам, подчищающим порядковую цифру или меняющим ее, или создающим такой вид издания, что оно

кажется полным, следует причислить и еще один вид жучков. Этот вид более искусен, потому что он делает на книгах авторские надписи, нередко с таким мастерством, что сумеет обмануть и испытанного собирателя. Мне привелось как-то, при обстоятельствах весьма таинственных, приобрести книги И. Крылова, Лермонтова и Гоголя с авторскими надписями. Почерки были столь похожи на подлинный почерк писателя, что я усомнился едва ли больше, чем на треть; особенно похож был трудный, малоразборчивый почерк Ивана Крылова.

Я купил книги, дал их на экспертизу и все надписи оказались поддельными. Если бы я не погорячился сразу, то обнаружил бы подделку уже по одному смыслу надписей и транскрипции отдельных букв: так, в одном случае опущен был твердый знак, чего не могло быть в начале XIX столетия, а надпись Гоголя «старику Сергею Тимофеевичу Аксакову», немыслимая по своей грубости и неуважительности, была несомненно сделана с точки зрения сегодняшнего понимания этого слова, обретшего чисто приятельский характер.

Я был очень рассержен, вернул дорого стоившие книги в букинистический магазин, в котором дельцы несомненно знали, что продают подделку, и по горячности не записал полного титула одной книги, о чем весьма сожалею. «Авторская» надпись М. Ю. Лермонтова была сделана на книжечке, носившей название «Герой нашего времени», только это было не лермонтовское произведние, а под таким названием в самом начале прошлого века была издана биография или описание жизни и деятельности какого-то военного, может быть, героя Отечественной войны 1812 года или времен покорения Кавказа, имени которого я так и не записал.

Таким образом, название для своего произведения Лермонтов несомненно заимствовал, скорее всего не сознательно: ведь и доныне случается, что чужое название запало в память, затерялось в ней и всплыло затем в виде собственной находки.

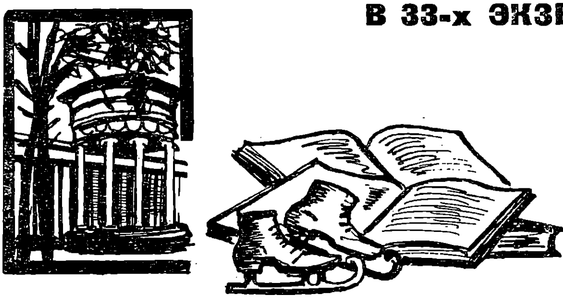
Я рассказал об этой книжке И. Л. Андроникову, который, как говорится, съел зубы на Лермонтове, но и он об этой книжечке ничего не знал и испытал беспокойство, услышав от меня о ней. Так жучок, сам того не ведая, парадоксально сыграл некоторую положительную роль,

задав исследователю творчества Лермонтова еще одну задачу.

Один из самых верных способов борьбы с жучком: не покупать книгу слету, не поддаваться страсти, столь свойственной книжнику, страсти благородной, но иногда опрометчивой; а поразнюхать книжку, поизучать ее, посмотреть на свет подозрительную страничку, и такой покупатель для жучка все равно что нафталин для моли.

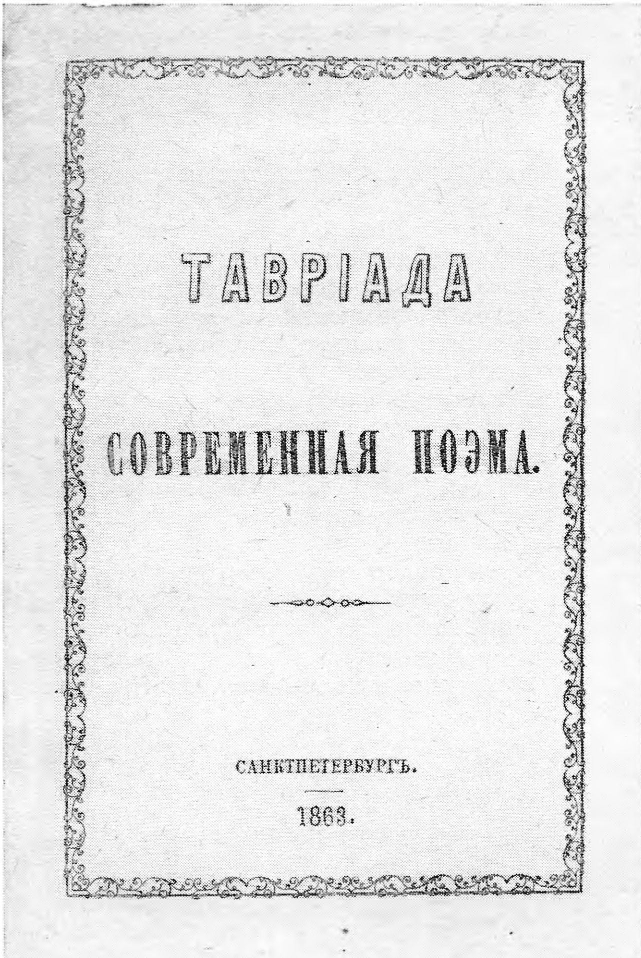
Для распознания подлинности старых автографов есть один весьма испытанный способ. В прошлом чернила приготовлялись из чернильного ореха, они были устойчиво коричневыми: лишь по мере развития химии чернила стали изготовляться разных цветов, но именно оттенка старинных чернил ныне не существует. Изготовители автографов стали прибегать к туши, имеющей тот же оттенок, что и старые чернила, но сто́ит приблизить надпись к глазам и посмотреть на нее сбоку, как увидишь жирный отблеск туши; чернила же впитывались в бумагу и отблеска не имели. Это простой способ распознать подделку и заставить книжных рецидивистов расстаться со своими отмычками.

В 33-х ЭКЗЕМПЛЯРАХ



«Непомерно дорогая цена сей поэмы, крайне несоразмерная с ея достоинством, сознается самим автором... Настоящая же цена потому высока, что 1) выручка имеет целью доброе дело, 2) издание редко по незначительному количеству экземпляров и 3) сюжет поэмы со всеми героями поднимает значительно ценность труда.

Издатель».



ТАВРІАДА

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭМА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1863.

Титульный лист книги В. Мещерского

Так сказано в предисловии к книжечке «Тавриада. Современная поэма», изданной в Санкт-Петербурге в 1863 году. Автор книжки — князь Владимир Мещерский; имя это впоследствии получило весьма печальную известность: Мещерский был издателем газеты «Гражданин», одного из самых реакционных изданий, и поэтические упражнения Мещерского в молодости давно были забыты им в поклепах и доносах на тех, кто не разделял интересов дворянства.

Поэма «Тавриада» посвящена открытию в 1861 году катков и санных катаний с гор в саду Таврического дворца в Петербурге. «Заметно стало во всем Петербургском обществе какое-то непреодолимое стремление предаваться этим упражнениям. Стариками, старухами, зрелыми и незрелыми овладела лихорадочная страсть покупать коньки, надевать их, скакать в Таврический сад, падать раз двадцать в минуту и т. п... В гостиных и на балах разговаривали только о катании на коньках и стали о ужас! танцуя выделывать «па» на подобие тех, которые выделываются при катании на коньках... Вот в это-то время среди толпы, посещавшей ежедневно Таврические горы, нашелся один из тех избранников судьбы, которым она предназначает воспеть минувшие дни и приберегать в звучных песнях следы данной эпохи в назидание грядущему потомству»,— пишет в введении автор. Поэма, однако, не столь безобидна: в ней довольно зло высмеиваются некоторые дипломаты:

Вот сам посол, седой вельможа,
Забыв Сен-Жемский кабинет,
Летит с горы на брюхе лежа,
Как будто лорду двадцать лет.

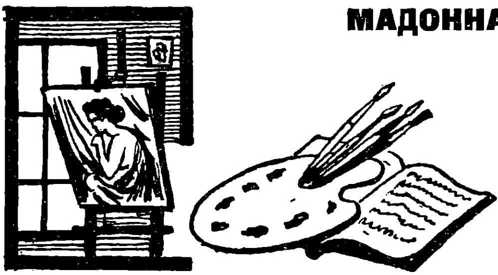
Или:

Вот дипломат австрийской школы,
Красавиц наших идеал:
Все льнут к нему как к меду пчелы,
И бал теперь у нас не бал,
Когда австрийских аполлонов
Не хочет с дура кто позвать.

С какой благотворительной целью эта редчайшая ныне книжечка была выпущена в количестве тридцати трех экземпляров по цене три рубля серебром за экземпляр,— неизвестно. Еще в меньшем количестве — двадцать пять экземпляров — было выпущено специально для император-

ской фамилии описание декабрьских событий 1825 года. В целях прославления действий Николая I, жесточайше подавившего Декабрьское восстание, статс-секретарь барон М. А. Корф составил эту фальсифицированную историю событий. Ее составитель не предполагал, конечно, что в России рано или поздно произойдет революция, и книга эта останется в виде эталона лживой версии о событиях в декабре 1825 года и об их участниках.

Кстати, тот же барон М. А. Корф, бывший впоследствии членом негласного комитета для надзора за книгопечатанием, а затем директором Публичной библиотеки, напечатал в количестве тридцати экземпляров произведение своей малолетней, вскоре затем скончавшейся дочери Елены Корф «История моего котенка». Любопытно отметить, что фальсифицированное «Четырнадцатое декабря 1825 года» и «История моего котенка» отпечатаны в одной и той же Типографии 11-го Отделения собственной е. и. в. Канцелярии; барон М. А. Корф был явно лишен способности понимать историю.



МАДОННА БОТТИЧЕЛЛИ

Года три назад в газете «Известия» напечатан был очерк о том, как в первые годы революции в Москве была обнаружена «Мадонна» работы Боттичелли и как В. И. Ленин подписал указ о национализации этой, принадлежавшей семье Мещерских, картины.

Я прочитал в свое время очерк, вспомнил о «Мадонне-Литта» Леонардо да Винчи, которую хожу смотреть каждый раз, когда приезжаю в Ленинград, решил посмотреть и «Мадонну» Боттичелли, но за недосугом все время откладывал посещение музея имени А. С. Пушкина.

Месяц или два спустя после появления очерка о «Мадонне» Боттичелли я получил письмо от Екатерины Александровны Мещерской, оказавшейся той самой Китти, о которой говорилось в очерке и которая по записке матери отдала явившимся представителям власти зашитую в гардину картину. В очерке, напечатанном в «Известиях», упоминалось о том, что владелица картины Мещерская ни за какие посулы не согласилась уступить картины германскому послу гр. Мирбаху, предлагавшему ей не только огромные деньги, но и обеспеченную жизнь в Германии.

В письме, которое я получил, было сказано, что его автор Е. А. Мещерская является не только той самой Китти, но и тетей писателя А. А. Игнатьева, автора известной книги «50 лет в строю», человека примечательного во всех отношениях и дарившего меня дружбой много лет.

Как-то в одном из книжных магазинов я нашел целое «гнездо» сочинений уже упомянутого писателя В. П. Мещерского. «Гнездом» на языке архивистов называется богатое и всестороннее собрание документов и материалов, а в данном случае «гнездом» явилось отлично переплетенное кем-то собрание весьма прошумевших в свою пору романов В. П. Мещерского: «Тайны современного Петербурга», «Реалисты большого света», «Хочу быть русскою», «Недоразумение»... Романов Мещерского в отдельности я никогда бы не купил, но «гнездо» своей полностью заинтересовало меня, и я поставил на полку эти книги, в которых Мещерский высмеивал современное ему высшее общество, иначе говоря — фрондировал, что создавало ему в определенных кругах репутацию человека острого и опасного; следует, однако, добавить, что, фрондируя, он оставался махровейшим монархистом, к тому же его газета субсидировалась правительством.

У меня не было никакой мысли связать имя этого позабытого, но не совсем бездарного, несмотря на его полный цинизм, писателя с именем Е. А. Мещерской, от которой я получил письмо. Я ответил Екатерине Александровне письмом, мы сговорились о встрече, и я побывал у нее. Беседуя о многом, главным образом — об Игнатьеве, я узнал, что Мещерская пишет воспоминания, поинтересовался ими, прочел их и убедился, что литературный талант в роду Мещерских явление распространенное; но,

конечно, дело было не в реакционном предке Мещерском, а совсем в других людях из рода Мещерских.

Из воспоминаний Екатерины Александровны я узнал, что в этом роду был замечательный механик Иван Всеволодович Мещерский, сделавший многое для решения проблем реактивной техники; из этого рода была мать писателя А. А. Игнатьева; писал стихи и отец Екатерины Александровны, человек необычной судьбы и с необычной биографией: он был уже стариком, а его жена совсем юной, когда у них родились сын, затем дочь — именно Екатерина Александровна, и этот неравный брак был, тем не менее, одним из самых счастливых. Обо всем этом мы поговорили с Мещерской, на стене висел брюлловский портрет ее отца, и я задумался над тем, сколько разнообразных событий выпадает иногда на долю одной семьи, а познакомившись затем с рукописью Мещерской, вспомнил семейные воспоминания Т. П. Пассек и Н. А. Тучковой-Огаревой, воспоминания, которые и до сих пор читаешь с живейшим интересом.

Много позднее нашей первой встречи с Мещерской, я нашел в Ленинграде книжку стихов Мещерского, изданную в 1890 году, и купил ее, чтобы приобщить к его романам из великосветской жизни. В воспоминаниях Екатерины Александровны встречается имя некоего герцога Сассо-Руффо, который в поисках приключений изображал в Венеции простого гондольера, увлекся ее сводной сестрой, приехавшей с матерью в Венецию, открыл свое инкогнито и стал ее мужем: история романтическая в духе новелл кватроченто.

Просматривая книжку стихов Мещерского, я натолкнулся на эту же фамилию Сассо-Руффо, но только герцогини, которой посвящено одно из стихотворений «Портрету»: «Смотрю на милый твой портрет, который ты мне подарила, на твой девичий туалет, что ты в последний раз носила...» Герцогиня Сассо-Руффо и оказалась той русской девушкой, которой увлекся переодетый гондольером искатель приключений и которая являлась дочерью А. В. Мещерского от первого брака. И лишь тогда, взглянув на инициалы автора, я понял, что книжка стихов принадлежала не перу пресловутого издателя «Гражданина», а именно отцу Екатерины Александровны, о котором она пишет в своих воспоминаниях.

Так, совсем неожиданно и совсем странно, разрослось это «гнездо», включило в себя имена и поэта А. В. Мещерского, и замечательного механика И. В. Мещерского, и Элима Мещерского, друга Глинки и музыкального критика, и генерала Советской Армии А. А. Игнатьева, и историю с «Мадонной» Боттичелли, и еще многое, что приносят с собой книги, если не только ставить их на полку или даже заносить в картотеку, а глубоко заинтересоваться их историей.



ПО СТРАНИЦАМ МЕСЯЦЕСЛОВА

Месяцесловов выходило множество. Были они всех размеров, до столь миниатюрных, что покойный книжник П. П. Шибанов, показывая мне месяцеслов за 1774 год, причислял его к неменьшей редкости, чем выпущенные в 256 долю листа «Басни» Крылова...

В месяцесловах, помимо святцев Греко-Российской церкви и особого раздела «Роспись городским праздникам и статским торжественным дням», было еще много других сведений: «о четырех временах года, явлениях планет, расписание городам и другим знатнейшим местам Российской империи, сведения о числе родившихся, умерших и сочетавшихся браком, также и хронологическое показание достопримечательнейших событий» за соответствующие годы.

Месяцеслов был, таким образом, источником различных сведений и спутником, наподобие дневника, чистые страницы которого предназначались для интимных записей. Записи эти, даже если они и не содержат в себе исторических сведений, дают много исследователю для познания быта и тех мелких обстоятельств жизни, которые характерны для той или иной эпохи.

В поисках этих сведений стоит заглядывать в месяцесловы, заглянул и я в один из них за 1832 год, поинтересовавшись, однако, лишь теми страницами, на которых были записи некоего неизвестного Василия Алексеева. Кто он был, этот Василий Алексеев, живший в пору, когда здравствовали Грибоедов и Пушкин, чем он жил и в какой входил круг?

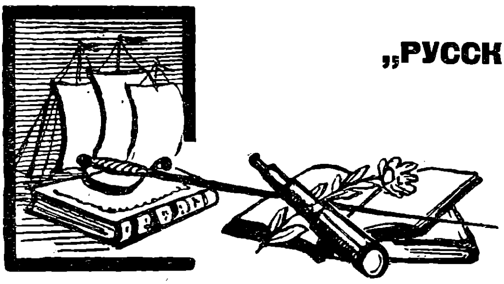
«Желающие нанимать компаньонок, смотрительниц, нянюшек, могут обращаться на Сретенке в Даев переулок в доме Виноградова, к иностранке Амалии Федоровне Радоу»,— записано на одной из страниц, и я сразу представил себе и эту иностранку Амалию Федоровну, и весь ритуал поставки крепостных нянюшек или компаньонок из приехавших искать в России счастья и богатых покровителей...

«20-го числа Барон отворял кровь из руки левой»,— записывает далее владелец месяцеслова «19 числа сего сентября отворял в Успенье кровь» следует новая запись. «Метали жеребий на имение в Боголюбском 17 октября 1832 года». «Федор Осипович Соваж живет против Спасских казарм в доме Кузина», а «Настасия Николаевна Хитрово в Москве на Пречистенке у Троицы в Зубове в собственном доме». «Пильнярская горькая вода. Для барыни покупается по 1 р. 50 к. бутылка коя продается в заведении искусственных минеральных вод».

А если к этому добавить сведения из раздела «Некрология достопримечательнейших особ», мы узнаем, что с 1-го июля 1830 года до 1-го июля 1831 года умерли писатели и поэты Мерзляков, Василий Львович Пушкин, баснописец Измайлов, Дельвиг, прославленные флотоводцы Сенявин и Головнин, а в других странах — писатель Бенжамен Констан, роман которого «Адольф» перевел П. А. Вяземский, писательница сентиментального направления Жанлис, скрипач Родольф Крейцер, которому Бетховен посвятил сонату («Крейцерова соната»). Так месяцеслов с записями, где и кому отворяли кровь и где искать компаньонок и нянюшек, и где покупалась для барыни горькая вода, становится своего рода записью и целой эпохи, и представишь себе и Москву той поры, ее видишь такой, какой запечатлел художник Федотов времена николаевской России, с полосатыми будками дремлющих будочников, пустынностью заснеженных улиц и печальным

похоронным звоном колоколов, возвещающих уход того или другого писателя...

Нужно только иметь немного воображения, читая или просматривая старые книги, тогда они разрастаются в своих масштабах, и скромный месяцеслов может рассказать не меньше, чем самая достоверная повесть. «Адрес в Вятскую деревню» заключает этот месяцеслов одна из последних в нем записей: «В Яранск Вятской губернии ундер офицеру Никите Васильевичу Зайцеву», а в «росписании городам» сказано, что от Москвы до Яранска 780 верст... Через сколько же дней дойдет на почтовых письмо ундер офицеру Зайцеву?



КРЕЙСЕР „РУССКАЯ НАДЕЖДА"

Гравюра на серой обложке книги под названием «Крейсер «Русская Надежда» изображает море, крейсер в плавании, летящих над ним чаек и скрещенный с якорем морской андреевский флаг. Книга выпущена в 1887 году в С.-Петербурге, имя автора скрыто под инициалами «А. К.» Имя это, однако, расшифровано переплетчиком в надписи золотом на корешке: А. Конкевич.

Я равнодушно взял как-то в руки эту книжку с прилавка букинистического магазина. Ее специальное морское содержание не заинтересовало меня: фамилии Конкевич я не знал. Впоследствии я прочел о нем в «Воспоминаниях» С. Ю. Витте: «По наружности Конкевич представляет собой тип «морского волка», настоящего моряка. Он очень много и хорошо пишет в газетах... Конкевич — прекрасный, умный, замечательно прямой и честный человек; естественно, что благодаря таким своим качествам он, как подчиненный, не мог быть в особо хороших отноше-

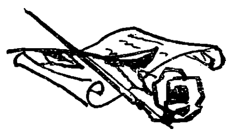
ниях со своим начальством великим князем Александром Михайловичем».

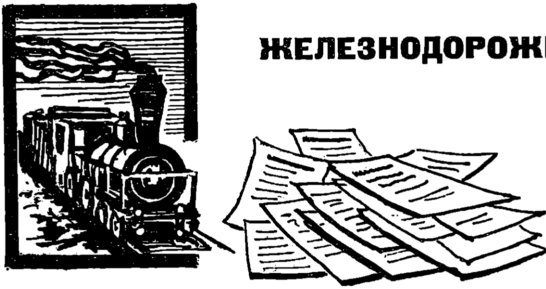
На титуле книжки была авторская надпись: «Глубоко уважаемому... (неразборчиво) от автора, с просьбой прочесть загнутые стр. 186—197. 18 Февраля, 904.С.-Петербург».

Надпись тоже не заинтересовала меня, но я полюбопытствовал все же, почему автор просит прочесть именно указанные им страницы. Я открыл книгу на 186-й странице и почти с первых же строк прочел следующее: «Лейтенант Василий Михайлович Лидин, живший три года в Лондоне и отлично владевший английским языком, был назначен капитаном «Коллингвуда»...»

События, описанные в книге, относятся к военному конфликту между Англией и Россией, когда англичане без объявления войны захватили в Александрии и Суакиме несколько судов «Русского общества», и о крейсерских действиях «Русской Надежды» в Тихом океане. «Коллингвуд» был английским судном, захваченным с грузом нефти русским военным кораблем. Капитаном этого судна и был назначен именно Лидин, на характер и действия которого автор, судя по его надписи, просил обратить особое внимание.

Мало ли бывает на свете случаев совпадения имен; но когда свыше семидесяти лет после своего выхода книга попадает в руки собирателя, и тот, следуя указанию автора, открывает ее на указанной им странице и встречает свое имя, он не может не подивиться этому. Но в жизни книголюба все его находки в конечном итоге закономерны: на то он и искатель, чтобы находить.





КАРТИНКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЖИЗНИ

Михаил Константинович Лемке был известным русским историком. Он написал ряд книг по истории русской журналистики и русской цензуры, а в годы, когда молодая Советская власть лишь обратилась к культурному наследию прошлого, было выпущено с его комментариями полное двадцатидвухтомное собрание сочинений А. И. Герцена.

Мы помним эту первую дань Советского государства великому русскому писателю, и хотя плохая была печать и плохая бумага, но и поныне пухлые тома этого издания Литературно-издательского отдела Наркомпроса напоминают о той поре, когда возникала советская культура; вспоминаешь всегда, глядя на первое полное собрание сочинений Герцена, и огромный труд М. Лемке.

В молодые годы Лемке жил в старинном городе Орле, писал статьи под псевдонимом Lemus и нередко поощрял молодых авторов. В 1900 году в Орле вышла книжка неизвестного литератора С. А. Шмидта под названием «Картинки железнодорожной жизни». Вступительную статью к книжке в виде биографии автора написал Лемке. В этой статье Лемке сообщает, что автор книги был в 1878 году арестован по политическому делу, сослан в Архангельск и после ряда бедствий и мытарств поступил слесарем на существовавшую тогда Орловско-Витебскую железную дорогу; умер же он от туберкулеза в 1899 году, оставив ряд рассказов, посвященных главным образом жизни железнодорожников. «Вся неправда, несправедливость, насилие, виденные им по отношению к другим, давали обширный материал для литературных трудов,— писал М. Лемке.— Горячий защитник меньшой братии — вот лучшее опреде-

ление всей восьмилетней деятельности покойного... Не раз Степану Андреевичу приходилось принимать депутации от мелких, разумеется, железнодорожных служащих, пришедших поблагодарить его от всей души за только что напечатанный рассказ». Свою статью Лемке заключает тем, что собрание сочинений было мечтой вечно перебивавшегося Степана Андреевича и до последних его дней не осуществленной.

Книжка С. А. Шмидта была напечатана в типографии газеты «Орловский вестник», в которой печатал свои первые рассказы Леонид Андреев; газета эта помещала и рассказы Шмидта. Но дело не в этих литературных подробностях: тема о железной дороге столь же властно, как в наше время тема об авиации, а ныне и о космонавтике, прочно в конце прошлого века входила в русскую литературу. Железная дорога явилась своего рода преображением жизни, она не только изменила неторопливую поступь впечатлений путника, но и пополнила рабочий класс железнодорожниками, людьми по роду своей профессии высоко квалифицированными и притом политически зрелыми: революция 1905 года показала, что именно железнодорожники явились одним из самых передовых ее отрядов, и имя машиниста Ухтомского встало рядом с именем Баумана.

В рассказах «Юбилей», «Макары» железнодорожной службы», «Мамаево становище» Шмидт разоблачал нравы того начальства, от которого зависела судьба «макара» железнодорожной службы — слесаря, стрелочника или путевого обходчика, людей униженных и угнетенных, несущих ответственность за любое происшествие на железной дороге, и «стрелочник виноват» стало своего рода крылатым словом в обиходе прошлого: да и ныне нередко разоблаченный мздоимец, правда, безуспешно взваливает все на «стрелочника».

Рассказы С. Шмидта появились примерно в ту же пору, когда А. П. Чехов опубликовал свой изумительный рассказ «Холодная кровь», оставив картину не только железнодорожных нравов, но и обобщенную картину непорядков в русской жизни того времени. В письме к брату Александру Чехов писал: «Описанные в рассказе безобразия так же близки к истине, как Соболев пер. к Головину пер.» (Как известно, эти московские переулки соседствуют).

По существу, и книжка Шмидта тоже являлась своего рода разоблачением тех безобразий, какие чинились в отношении железнодорожников, разумеется, «меньшой братии», и не только железнодорожников, но и великого множества рабочих. О Шмидте найдешь мало сведений, книжка его забыта; только в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова указан псевдоним Шмидта — «Гаммер», упомянуто и то, что некролог о нем был напечатан в журнале «Исторический вестник» за 1899 год.

Прочитав, однако, заглавие «Картинки железнодорожной жизни», я невольно потянулся к этой книжке, затерявшейся среди других старых книг на прилавке букинистического магазина. Ее заглавие заставило меня предположить, что книга эта хранит отсвет эпохи и заключает в себе именно то, за что мы любим книги Николая или Глеба Успенского, или Левитова с их горькой правдой и верой в изменение русской жизни, когда насилие, угнетение и «нравы Растеряевой улицы» навсегда уйдут в прошлое.

Прочитав затем книжку Шмидта, я убедился, что не ошибся и нашел в ней именно то, что сразу расположило меня к ней. У книг своя судьба: одни не стареют и не уходят, другие — бесследно ушли, но какую-то роль они все-таки сыграли, и когда собираешь книги, неизменно испытываешь признательность и к тем писателям из «меньшой братии», которые в меру своих сил сделали что-то для общества. Пусть они и не водили поездов, но они чинили пути и меняли шпалы, сливая тем самым свой труд с общими усилиями. Мы вспоминаем и тех, кто писал в начальную пору о «чугунке», а некрасовский образ белоруса — строителя железной дороги и поныне жив в нашей литературе.



ИСКАТЬ И БЕРЕЧЬ



Писатель Влас Дорошевич долгие годы собирал редчайшую коллекцию — листки, летучие издания, газеты и журналы времен Великой французской революции. В его собрании был полный комплект газеты «Друг народа», издававшейся Маратом.

Со времени Великой французской революции прошло свыше полутораста лет; со времени Великой Октябрьской революции — меньше полувека. Но время стремительно и безжалостно. Оно уносит многое, что человек не успел закрепить в документе, оно уносит и документ, если его не сумели сберечь.

Издания первых лет нашей революции именно такого рода документ; издания эти уносились по дорогам гражданской войны, раскуривались на цигарки, ими топили «буржуйки», когда нечем было топить: они всё испытали, свидетели первых суровых лет революции. Н. П. Смирнов-Сокольский, доблестный болельщик книжного дела, писал не раз об этих развеявшихся по ветру изданиях. Но и он не сберег многого, потому что не собирал в ту пору; не сберег и я — и по нерадению, и по неопытности, и по тому, что те годы меньше всего располагали к собирательству.

Однако у меня есть несколько книжечек той поры, книжечек зябких, бледно отпечатанных на ломкой, недолговечной бумаге, похожих на сохранившиеся календарные листки того времени. В 1921 году в Поволжье, выжженном засухой и суховеями, был голод. Голод бывал в России не раз. Сейчас, при гигантских масштабах землепользования, освоенных целинных землях, механизации сельского хо-

зяйства, искусственном орошении, картины голода кажутся далеким прошлым. Но в 1921 году голод зашел не в один дом на широких пространствах Поволжья.

Именно в эту пору Самарская губернская комиссия помощи голодающим выпустила книгу под таким названием:

«Книга о голоде. Экономический, бытовой, литературно-художественный сборник. Весь чистый доход поступит в пользу голодающих».

Книге предпослана статья Антонова-Овсеенко «К твоей совести, читатель», заключающаяся словами: «Не может быть и речи о каком-либо успехе нашем, если не спасем Поволжье от гибели. Помните, труженики Советской России, не только судьба миллионов людей, ваших братьев, решается на Волге,— на ней решается и ваша собственная судьба. Торопитесь на помощь Поволжью!» Сборник снабжен трагическими фотографиями, вплоть до документов людоедства.

В помощь же Поволжью вышел во Владимире в 1921 году сборник «Пролетарская помощь». «Спасая Поволжье, спасаем себя»,— напечатано на обороте книжки, изданной «трудами Владимирского губполитпросвета, Госиздата и полиграфотдела». На задней обложке книжки напечатано: «Цена 3.000 р. Купишь книгу — дашь кусок хлеба голодному. Весь сбор поступит в пользу голодающих Поволжья».

Многих из таких книжек нет даже в основных наших книгохранилищах: они погибали, не добравшись до библиотек.

В минувшую войну мне привелось побывать на Украине в городе Смела на другой день после изгнания немцев. Печатался первый по освобождении номер районной газеты; бумаги не было; его отпечатали на синей оберточной бумаге для сахара, уцелевшей на одном из местных сахарных заводов.

Я сохранил этот первый номер и не уверен, уцелел ли еще один экземпляр; конечно, я передам его в музей. В 1940 году в Каунасе, в дни, когда Литва готовилась присоединиться к Советскому Союзу, выходила на русском языке газета «Труженик»; вряд ли много ее номеров сохранилось в те быстротекшие дни, но я сберег номера за все время, что находился в Каунасе, и теперь это библиографическая редкость.

Разбираясь как-то в старых бумагах, я нашел среди них приглашения на встречи с Анри Барбюсом, Бернардом Шоу, Карин Михаэлис, Кларой Цеткин, пропуск на встречу с М. Горьким на Белорусском вокзале в первый его приезд в Москву; я храню как реликвию и пропуск к гробу В. И. Ленина. История дышит в этих документах; в них запечатлена и жизнь каждого из нас; по приглашениям этим или пропускам будущий литературовед или историк сможет установить точные даты, которые иногда отсутствуют даже в официальных документах. Так, сохранившееся у меня приглашение на чтение Алексеем Толстым своего рассказа «День Петра» в литературном кружке «Среда» помогло биографу Толстого установить точную дату написания этого рассказа.

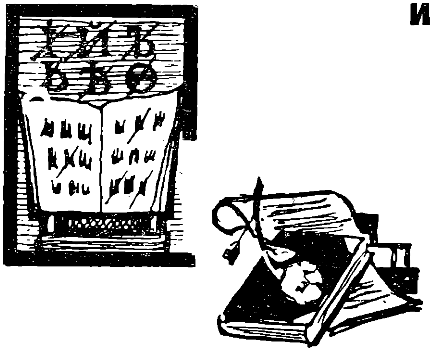
В первые годы революции я нашел в книжном магазине «Задруга» целую пачку книги «Тихие песни», автором которых был обозначен Ник. Т-о, то есть *никто* — псевдоним поэта Иннокентия Анненского. Анненский был недоволен своей первой книгой, выискивал ее и уничтожал, книга эта считалась редкостью уже в то время. Я купил всю эту пачку и раздарил книги любителям поэзии, немало порадовав их, а один экземпляр хранится у меня и поныне.

Такими бывают иногда пути книг, и если любишь книгу, то никогда не дашь ей погибнуть: у каждой книги есть своя судьба, особенно у книг, выпущенных в исторические годины. По книгам, вышедшим в первые годы революции или в дни Великой Отечественной войны, будут учиться будущие поколения.

Истинное собирательство книг заключается не в одной только страсти — сделать полнее, богаче свое собрание, ослепляющей иногда книголюба. Оно заключается прежде всего в осмыслении своего собирательства, в понимании его назначения хотя бы в пределах личного развития, а не для того, чтобы любоваться своими редкостями.

Французский египтолог Гастон Масперо приводит сохранившийся еще в записи на папирусе поучительный завет египетского писца Кхроди своему сыну Пепи: «Положи твое сердце у чтения». Советский ученый И. Кацнельсон вносит, однако, поправку в отношении имени оставившего завет: «Поучение Хати, сына Дуафа, сыну своему Пепи» (2050—1750 гг. до нашей эры).

ИЗ МИСТИФИКАЦИЙ



Поэты эпохи символизма были склонны ко всякого рода литературным мистификациям. Известна, например, мифическая поэтесса Черубина де Габриак, придуманная поэтом Максимилианом Волошиным; о ней серьезно трактовалось в печати чуть ли не как о представительнице итальянской поэзии, хотя настоящее имя поэтессы было Елизавета Ивановна Дмитриева. Склонен был к мистификациям и поэт Валерий Брюсов в пору своей молодости.

В одну из первых книжек его стихов — «Me eum esse»,— вышедшей в 1897 году, я вклеил листок, скопированный мной с оригинала; оригинал находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства и представляет собой апокрифическое предисловие, написанное Брюсовым к его книге:

«Me eum esse» — последняя книга Валерия Брюсова, который скончался... (число) 1896 года в Пятигорске. Незадолго перед смертью автор сам составил рукопись этой книги, хотя далеко не считал ее законченной.

Издатели надеются в непродолжительном времени собрать в отдельном сборнике также все появившиеся в печати переводы Валерия Брюсова. А. Л. Миропольский. Москва. 1896».

Мистификация эта осуществлена не была, книжка вышла без предисловия. Может быть, молодой поэт хотел проверить, как критика отнесется к книге умершего автора, тем самым заслуживающего снисхождения, а может быть, это был и своего рода вызов критике. Экземпляр, в который я вклеил копию предисловия, написанного Брюсовым, имеет еще одну особенность — незаконченную

авторскую надпись поэту-символисту А. Добролюбову: «Александру Добролюбову, поэту, которого я неизменно люблю и...» Возможно, Брюсов не успел дописать или забыл дописать посвящение, а может быть, это тоже относится к числу тех загадок, которыми изобиловали всякого рода литературные мистификации.

К такого рода мистификации относится и одна весьма редкая книжечка, вышедшая в 1838 году,— «Рукопись покойного Клементия Акимовича Хабарова, содержащая рассуждение о русской азбуке...» Приложена к ней и «Усовершенствованная русская азбука или средства облегчить изучение оной и способ сократить число русских букв, поясненные примерами. Сочинение К. А. Хабарова отставного корректора. Бутырки. 1800 года Генваря 5 дня».

Книжка представляет собой псевдонаучный трактат об изменении и совершенствовании русского языка, в частности, о том, что из русской азбуки следует изъять восемь бесполезных букв. В качестве примера облегченного правописания приводится стихотворение Г. Державина из Московского журнала 1792 года, изданного Карамзиным.

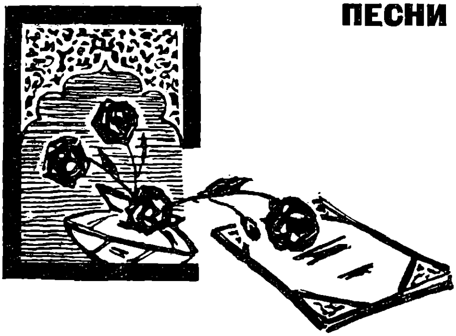
Видение мурзы

На темноголубом ефире
Златая плавала луна;
В серебрянŏ свŏ порфире
Блистаючи, с̆ высот она
Сквоз̆ окна дом м̆о освесчала...

Значки должны были заменять упраздненные буквы: й, ъ, ь.

Истории этой мистификации был посвящен в 1928 году специальный доклад в Ленинградском обществе библиофилов.

Автором книжки был брат лицейского товарища Пушкина литератор П. Л. Яковлев, придумавший себе псевдонимы: «покойный Клементий Акимович Хабаров» и «отставной корректор». Зерно истины было, однако, в этом пародировавшем ученый труд сочинении: буквы ять, фита, а также і действительно выпали из алфавита при реформе правописания в наше время; в этом отношении автор трактата оказался провидцем. Но — грешный человек — при обсуждении проекта новой реформы правописания я невольно вспомнил о Хабарове: мыш и заец были из его ассортимента.



ПЕСНИ МИРЗЫ-ШАФФИ

Среди литературных мистификаций весьма известна проделка жившего в России в сороковые годы прошлого века немецкого поэта Фридриха Боденштедта. Познакомившись в Тифлисе в 1844 году с младшим преподавателем тифлисского уездного училища азербайджанским поэтом Мирзой-Шаффи Вазехом, Боденштедт увез с собой в Германию тетрадь его стихов, перевел стихи на немецкий язык и издал книжку под названием «Песни Мирзы-Шаффи». А двадцать лет спустя, выпустив еще одну книжку стихов Мирзы-Шаффи, Боденштедт выступил в печати с заявлением, что авторство Мирзы-Шаффи мистификация и что автором стихов является он сам, Боденштедт.

Обо всем этом было подробно рассказано в одной из заметок, помещенной в «Литературной газете» в номере от 31 января 1963 года; в заметке этой сообщалось также, что найдены подлинники стихов Мирзы-Шаффи на азербайджанском языке и фарси, и, таким образом, Боденштедт, присвоивший себе авторство стихов, разоблачался.

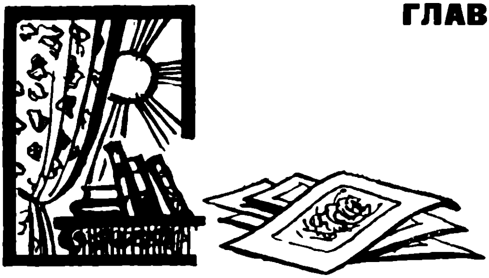
Однако история с переводами Боденштедта изложена была не совсем точно. У меня хранится маленькая, довольно изящно отпечатанная книжечка с таким титулом: «Песни Мирзы-Шаффи с прологом Фридриха Боденштедта и в переводе Н. И. Эйферта». Книжечка эта вышла в 1880 году в Москве: следовательно, если Боденштедт в семидесятых годах выступил с заявлением, что он является автором стихов, то как же в 1880 году могла появиться книжка стихов Мирзы-Шаффи в переводе Н. Эйферта с предисловием «От переводчика»? В предисловии сказано:

«Никогда бы я, может быть, не решился отдать на суд публики своего труда, конечно, несовершенного, если бы сам г. Боденштедт не одобрил его в лестных для меня выражениях.

Песни Мирзы-Шаффи, испытавшие уже до 60 изданий, одно из любимейших в Германии произведений современной поэзии. Они писаны преимущественно арабскими газелями, (ghazila) двустишиями, часто незаметными при чтении и представляющими переводчику почти непреодолимые трудности. Насколько я их поборол, судить не мне...»

Следовательно, Н. Эйферт переводил именно с азербайджанского языка или фарси. Но как же Ф. Боденштедт, сообщивший, что автором является он, мог одобрить чужой перевод, да еще предпослать ему поэтический пролог, возможно, переведенный Н. Эйфертом с немецкого? Пролог Боденштедта, датированный 1851 годом, именуется «Эдлитам», но если прочесть непонятное слово справа налево, то получится «Матильде», с «э» вместо «е» несомненно в целях благозвучия. Пролог по своему смыслу весьма туманный: неизвестно, приветствует ли Боденштедт другого поэта или имеет в виду самого себя: «Цветы роскошные в садах, весны приволье и расцвет, Куры в горах лежащий град и величавый Арарат, все в песнях воскресит поэт».

Если ныне, как сообщалось в газетной заметке, найдены подлинные рукописи замечательного азербайджанского поэта Мирзы-Шаффи Вазеха, то стоит задуматься и над переводом его песен Н. Эйфертом, вдобавок одобренным Боденштедтом. История появления песен Мирзы-Шаффи все же не совсем разгадана, но в этой истории важно одно: что восторжествовало в конечном итоге имя забытого азербайджанского поэта, неудачника из неудачников, судьба которого напоминает судьбу другого неудачника из неудачников — художника Нико Пиросманишвили, жившего примерно полвека спустя в том же Тифлисе, столь же позабытого в свое время и ныне на вечные времена извлеченного во славу искусства; кто знает, может быть, такая же посмертная судьба суждена и позабытому поэту, учителю уездного училища, вдобавок безжалостно ограбленному, Мирзе-Шаффи Вазеху.



ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Как-то в давние времена мне привелось увидеть в одном из букинистических магазинов трехтомное собрание сочинений Глеба Успенского в издании Ф. Павленкова. На первом томе была дружественная надпись Успенского писателю А. И. Эртелю. К авторским надписям я был в ту пору равнодушен и теперь сожалею об этом; сожалею я и о книге с надписью Успенского еще и потому, что несколько лет назад в мои руки попало первое издание книги А. И. Эртеля «Записки степняка» (1883) с сердечной авторской надписью Успенскому:

«Глебу Ивановичу Успенскому — любимому писателю и милому, дорогому человеку. Одному из первых, внесших свет в мою душу. А. Эртель. 14 Ноября 1883 г. Спб.».

Надпись эта, в сущности, могла бы послужить для главы об истории писательских отношений и о воздействии Глеба Успенского на творчество Эртеля.

Такой же главой из истории литературы может служить надпись Вл. И. Немировича-Данченко на экземпляре его пьесы «В мечтах». Пьеса эта, как известно, была поставлена на сцене Московского Художественного театра, шла с успехом, и автор мог бы быть довольным, но у него было свое мнение о пьесе и глубокая неудовлетворенность ею.

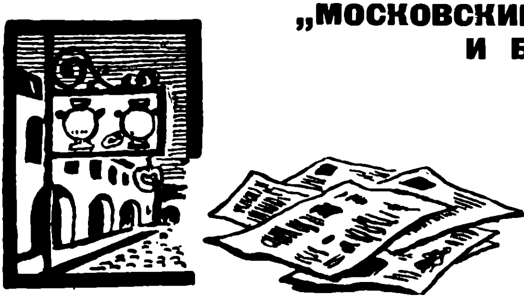
«В эту пьесу я отдал много-много своих лучших чувств,— написал он на экземпляре книги Е. Ф. Цертелевой.— А пьеса не задалась! Не знаю, что случилось. Я думаю, что театр вырвал ее у меня, когда мне надо было еще переписать ее поперек. А может быть, надо было бы после первых трех действий написать еще два?..

Чехов говорил мне, что в пьесе мало «житейской пошлости». А я этого и хотел. Т. е. пошлости оч. много, но вся она не на вульгарном языке пошлости, а на языке «мечтаний»... ВНД».

Конечно, эти мужественные строки Немировича-Данченко помогут будущему историку театра, обратившемуся к постановке «В мечтах» на сцене Художественного театра, положить в основу именно эту самооценку автора, более достоверную, чем любые толкования со стороны.

Я перепечатал эту надпись и отдал ее в Музей Художественного театра, где она сможет занять место рядом с другими документами по его истории.

„МОСКОВСКИЕ СКАНДАЛЫ И БЕЗОБРАЗИЯ"



Книг о Москве написано множество. Представители каждого поколения оставляли воспоминания о годах своей юности, прошедшей в Москве, о московской общественной, литературной или театральной жизни. Так, «Записки современника» С. П. Жихарева помогают нам познать литературно-театральную жизнь Москвы первой четверти девятнадцатого века, их высоко ценили и И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой. А без «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева или «Воспоминаний» А. Я. Панаевой нельзя было бы представить себе литературную жизнь Петербурга времен «Современника», да во многом и жизнь его редактора — Н. А. Некрасова.

Книги такого рода занимают почетное место в истории литературы, по ним изучают эпоху, на них ссылаются в исторических и литературоведческих работах. Но есть и

другие книги, связанные с бытом того или другого города, с его жизнью в ту или иную эпоху; книги эти написаны неведомыми людьми; в истории литературы авторы этих книг не значатся, и если о книгах этих вспоминают, то лишь как о библиографической редкости или курьезе. Книги эти, однако, приоткрывают забытые страницы, связанные не с историческими или социальными событиями, а с тем, чтó составляло предмет забот, развлечений, малых утех множества простых людей, а иногда, не преследуя обличительных целей, книжки эти дают представление о разгуле и бесчинствах купеческих сынков или о нравах городского мещанства.

В 1836 году в Москве вышла маленькая, давно затерявшаяся во времени книжка под странным названием: «Взгляд на московские вывески». Автор ее — Федор Дистрибуенди — никому не известен; имени его не найдешь в словарях. Книжка посвящена описанию, притом весьма образному, московских вывесок сороковых годов прошлого века.

Очень подробно и достоверно Дистрибуенди сообщает, как выглядели вывески табачных лавок, портных, сапожников, трактиров и ресторацций, булочников, повивальных бабок, часовщиков, питейных домов, аптек. «Два золотых самовара, стоящих по краям вывески и посреди их стол, покрытый белою скатертью с чайниками и чашками, расположенными в разных группах; а над столом надпись золотыми буквами: р е с т о р а ц ы я, означают вам однообразие трактирных вывесок».

Или: «...На продолговатом четвероугольном листе посредине красуется большой вызолоченный крендель, лежащий вдоль вывески; на нижних углах листа по хрустальной вазе, которыя наполнены разными принадлежностями булочного мастерства: сухарями, крендельками, бисквитами, а под кренделем между вазами имя и фамилия булочника».

Если обратиться к первой части «Мертвых душ» Гоголя, к прогулке Чичикова по улицам губернского города, то описание вывесок весьма походит на некоторые описания Дистрибуенди. Гоголь всегда подбирал не только народные словечки и песни, но и приметы быта; по своей манере и изображению автор «Взгляда на московские вывески», возможно, и расположил к себе Гоголя точностью: Гоголь любил в описаниях точность. Кстати, о книжечке

Дистрибуенди поминает в этом смысле и один из биографов Гоголя.

Весьма возможно, что это действительно так и Дистрибуенди сослужил службу великому писателю, оставив тем самым и свой след в литературе, хотя бы косвенный и неприметный. Но и помимо этого книжечка Дистрибуенди воскрешает вид московских улиц в ту далекую пору, когда по ним ходили Пушкин и Гоголь, и если бы для какой-нибудь театральной постановки нужно было воскресить внешний вид Москвы тридцатых и сороковых годов прошлого века, то и в этом случае книжка «Взгляд на московские вывески» сослужила бы службу.

К физиологии города относится его торговая жизнь, нравы и обычаи. Н. Некрасов выпустил в свое время уже упомянутый сборник «Физиология Петербурга» (1844). О Москве того времени такого сборника нет. Но в 1870 году была выпущена несомненно ради сенсации книга под названием «Московские скандалы и безобразия», в которой описываются «замечательные уголовные процессы в окружном суде и у мировых судей», а попросту всевозможные скандалы и именно безобразия гуляющих мещан и купчиков. Не исключено, что составитель, как это было свойственно желтой прессе того времени, пощадил кое-кого из откупившихся. Но упомянутые в книжке предстали в самом низком виде.

Впрочем, возможно, что составитель руководствовался и обличительными тенденциями, и тогда незачем обижать его запоздалыми подозрениями.

Перечисление описываемых в книге дел дает полное представление о их характере и некоторых нравах: «Дело о купце Э. В. Трузе, обвинявшемся в учинении драки в пьяном виде в трактире «Эрмитаж», «Дело об окрашении прусского подданного Гельдмахера фуксином», «Дело об адъютанте Московского генерал-губернатора, гвардии штабс-ротмистре, князе Э. М. Урусове, обвинявшемся в оскорблении действием студента Павла Кистера и в угрозе отрубить ему голову», «Дело об оскорблении действием чиновником канцелярии гражданского губернатора Н. М. Щепотьевым сотрудника журнала «Развлечение» коллежского секретаря Акилова и о произведении им же, Щепотьевым, беспорядка в коридоре московского Большого театра»...

По существу, все эти московские процессы изобличают самодуров, негодяев, мздоимцев, представленных целой галереей истцов и ответчиков, но процессы попутно изобличают и правосудие того времени, весьма щадившее людей торговых и имущих и попиравшее право бедных и обездоленных.

В воспоминаниях Н. Д. Телешова «Записки писателя» упоминается весьма редкая книжка стихов издателя бульварной газеты «Московский листок» Н. И. Пастухова. Перед тем как стать издателем, Пастухов служил в питейном доме в качестве подавальщика. Хорошо зная быт и нравы учреждений такого рода, он в 1862 году выпустил книжку «Стихотворения (из питейного быта) и комедия «Питейная контора». Противники Пастухова едко пользовались постоянным напоминанием об этой стороне деятельности Пастухова, находя, что именно в ней, а не в издательском деле он нашел свое истинное призвание:

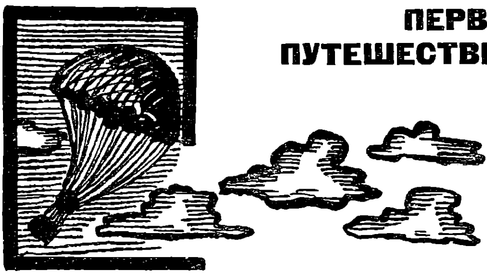
То ли дело в Петербурге,
Там тузы-откупщики
Дают жалованья вдвое,
Да и взяточки бери...

Такие строки давали богатый материал для противников. Но сколько автор ни скупал и ни уничтожал свою книжку, экземпляры ее все же уцелели, и один из них стоит у меня на полке рядом с другой книжкой, связанной с историей старой Москвы,— «О петушиных боях в Москве».

Автор книжки В. Соболев — дед известного театроведа и литературного критика Юрия Соболева; в книжке обстоятельно рассказывается об одном из жесточайших развлечений московского купечества и мещанства — петушиных боях, с описанием приготовления петухов к боям и особенностей их сноровок: петухи имели в бою каждый свою сноровку или, выражаясь по-охотничьи, ход. Ходы эти делились на прямой, кружастый, посылистый и вороватый, причем вороватый петух считался самым интересным: петух этот в бою начинает лезть под противника, «прячась от его ударов и подставляя под них один свой хвост, и в то же время старается схватить противника за перо (обыкновенно в ползоба) и нанести ему удар... Последствием этих уловок обыкновенно бывает то, что противник вороватого петуха измучается, не нанеся ему ни-

какого вреда, а сам остается искалеченным и побежденным». Делились петухи на: хлопуна, который сильно хлопает крыльями, но не попадает шпорами в противника: верного, который бьет противника в голову, глаза и в горло; неверного, который бьет в хвост, крыло и спину, то есть в места, не опасные для противника. Приложены к книжке и правила боя, состоящие из двадцати семи параграфов.

Я подбираю и храню книги, в которых описание быта и нравов прошлого помогают лучше понять и литературу того времени, вроде «Очерков из фабричной жизни» А. Голицынского или «В будни и в праздник (Московские нравы)» Глеба Успенского. А такие книги, как «Очерки Москвы» Н. Скавронского или «Из жизни торговой Москвы» И. А. Слонова, представляют собой целую энциклопедию торговой и общественной жизни, хотя авторы прочно забыты ныне. Но хочешь видеть будущее и понимать настоящее — знай и прошлое: без этого не поймешь масштабов великих изменений нашей жизни.



ПЕРВОЕ ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ

24 мая 1847 года из Дворцового сада в Москве в половине девятого вечера поднялся аэростат, управляемый воздухоплавателем Вильгельмом Бергом. Это первое «воздушное путешествие» было отмечено двумя памятками: «Заметки об аэростате и воздухоплавании с описанием первого воздушного путешествия воздухоплавателя Вильгельма Берга в Москве 24-го Мая 1847 года. Программа для развлечения высокопочтенной публики во время наполнения шара» и книжечкой «Подробное описание воздушных путешествий Берга и Леде, совершенных ими из Москвы в 1847 году».



ЗАМѢТКИ

объ

АЕРОСТАТѢ И ВОЗДУХОПЛАВАНІИ

съ описаніемъ

ПЕРВАГО ВОЗДУШНАГО ПУТЕШЕСТВІЯ

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЯ

ВИЛЬГЕЛЬМА БЕРГА

въ Москвѣ 24-го Мая 1847 года

ПРОГРАММА ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ

высокопочтенной публики во время наполненія шара.

Титульный лист программы первого воздушного путешествия

«Погода была чудная: на небе ни облачка, а легкий ветерок едва струил воздух... Вид на Москву был очарователен... Москва представилась горстью бисера, кинутого на роскошный ковер зелени...»

Первое путешествие длилось недолго: шар упал в тридцати верстах от Москвы, в лесу, около дороги, ведущей в Сергиевскую лавру. Второе путешествие было осуществлено 29 июня; на этот раз шар благополучно спустился в двенадцати километрах по Владимирской дороге.

«Но знаете ли, как исторически примечателен этот сад, из которого поднялись наши путешественники? Он произведение великого Петра; многие деревья посажены его державными руками; тут есть место, где он отдыхал после трудов; он любил этот сад и вспомнил о нем незадолго до своей кончины — он говорил, что водные сообщения доведены им до того, что можно сесть в лодку на Неве, а выдти

с Яузы в Головин сад. Несмотря на это, несмотря и на то, что этот сад есть лучший в Москве — он совершенно публикою забыт»,— горестно заключает составитель книжечки о первом воздушном путешествии из Москвы.

В «Программе для развлечения высокопочтенной публики» описывается народный праздник коронования в Москве 8 сентября 1856 года. На этот раз вместо гондолы Бергу служил распростерший крылья орел, на котором воздухоплаватель стоял в древней одежде и с короной на голове. К программе приложены гравюры, изображающие его шар во время других полетов: воздухоплаватель то в корзине под раскрывшимся зонтом, то стоит на деревянной лошади с флагом в руке. Кстати, в программе сказано, что у Берга было четыре ученика: Август Леде, балетный артист, француз; Джузеппе Тардини, бывший вольтижер, итальянец; Антонио Регенти, бывший архитектор, австриец, и Александр Дикарев, молодой русский. Все четверо в разное время погибли.

Я закономерно присоединил к этой программе первого воздушного путешествия из Москвы и программу первого синематографа, открытого в 1903 году в пассаже Солодовникова под названием: «Тауматограф. Гигантская не мелькающая фотография». В программе, состоящей из четырех отделений, две комедии: «Испорченный костюм» и «Неожиданный душ», катастрофа с воздушным шаром, большой морской бой, относящийся к русско-японской войне, и три хирургические операции профессора Дуаэна. В антрактах музыкальное исполнение на пневматическом пианисте-виртуозе «Ангелюс-оркестраль».

Так, забытые и давно затерянные программы или приглашения на то или иное празднество помогают восстановить быт и то, что составляло предмет познаний или развлечений минувших поколений. Мне кажется, что это неоценимый материал. А разве первое воздушное путешествие из Москвы не может войти в историю воздухоплавания или, проще говоря, в историю героических дел человека?

„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ“



«Всякий экземпляр должен быть подписан мною для избежания контрфакций» — и подпись автора: Хризостом Бургардт. Книжка с такой последней страницей носит название «Литературные заметки. Сочинения Хризостома Бургардта. Москва. 1858. Типография Штаба Резервов Армейской Пехоты».

На моем экземпляре есть надпись: «Редкость. В справочных изданиях не значится. Этого автора у Венгерова не указано».

Действительно, имени Хризостома Бургардта нигде не встретишь, а между тем он является одним из страстных апологетов славянофильства. Питомец Московского университета, ученик Т. Н. Грановского, Бургардт неистово нападает на увлечение французской или английской литературой, доказывая все преимущества славянских авторов. Перечисляя бывших питомцев Московского университета — Фонвизина, Богдановича, Новикова, Кострова, Карамзина, Жуковского, Гнедича, Грибоедова, Тургенева,— автор восклицает: «Мне нужды нет до Байронов, Шиллеров, Гёте, Флорианов, Беранже, когда у нас есть Мицкевич, Пушкин, Поль, Красинский, Мальчевский, Жуковский, Лермонтов и множество других. Нисколько не позавидуем иностранцам — Теккереям, Дюмасам, Сандам, Сю и проч., когда у нас есть свои Гоголи, Тургеневы, Аксаковы, Крашевские, Корженевские, Малэцкие, Вильковские и т. п.... В нас есть все дарования, все способности... Если бы мы любили свое, родное, если бы мы были сыновья своей страны, если бы мы живо представляли колыбель нашу... то не ездили бы так жадно за границу, не обогащали Французов, Немцев, Итальянцев, Англичан, а себя и своих, не бросались бы на Французские, Английские, а

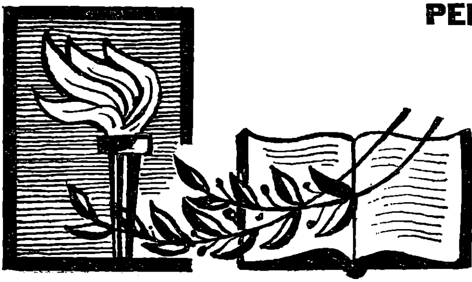
читали Польские, Русские, Чешские и тому подобные произведения. Нет! у нас литературный патриотизм, Славянофильство на словах».

Кто был по национальности этот Хризостом Бургардт, еще более радикальный, чем самые правоверные славянофилы, неизвестно, как неизвестно, почему он боялся, что кто-нибудь может воспользоваться текстом его книжки, и снабдил каждую собственноручной подписью.

Примером другой весьма редкой книжки такого же рода может служить вышедшая в 1839 году в Москве «История одной книги» Н. Мельгунова. Суть книжки заключается в том, что некий литературовед Кениг выпустил в Германии книгу под названием «Литературные картины России» («Literarische Bilder aus Russland»), в которой весьма изрядно досталось издателю «Северной пчелы» Булгарину. «Северная пчела» первая восстала против меня и против книги г. Кенига,— пишет автор.— Выходка меня удивить не могла. Не мог удивить и ее тон: это был обыкновенный тон газеты, от которого ей не отвыкать же на старости лет... Не повторяю здесь обвинений газеты... приведу лишь одно наивное замечание противника, которое достаточно обозначит дух его критик. «Нас удивляет еще и то,— говорит он,— какой это сердитый г. Мельгунов; и за что это он сердится особенно на Булгарина».

Мельгунов в своей брошюре доказывает, что не является соавтором Кенига, он только помогал ему разобраться в явлениях русской литературы. Один из сторонников Булгарина — некий критик Менцель,— разбирая книгу Кенига, писал: «В книге Кенига сказано, что Булгарин подражатель Лесажа и Жуи и что его знаменитый, столько раз изданный и переведенный роман «Иван Выжигин» есть его худшее произведение. Такое страстное порицание может быть объяснено разве тем только, что роман Булгарина изображает темную сторону русской жизни... Иначе показалось бы непонятным, каким образом в ряду русских поэтов именно т о т и заслужил порицания, кто всех верней и живее изобразил русские нравы и обстоятельства и поэтому-то сделался вне России самым народным изо всех русских писателей. Творения, подобные превосходному Ивану Выжигину, вообще не могут быть оцеияемы с одной литературной или эстетической точки зрения».

Если бы не подпись Менцеля, можно было бы предположить, что это Булгарин писал сам о себе; впрочем, возможно, он приписал Менцелю от имени третьего лица такую свою характеристику: это вполне в нравах Булгарина, и редкая книжка Н. Мельгунова, подобно книжке Хризостома Бургардта, приоткрывает страничку из литературного прошлого.



РЕВНИТЕЛИ СВЕТА

Книги о книжниках, о их делах и трудах если и выходили, то для узкого круга собирателей, едва ли не только для друзей. Книга в конце прошлого или в начале нашего века была привилегией так называемых «просвещенных» кругов, причем существование миллионов неграмотных считалось естественным. Именно поэтому те, кто книгу любил и понимал ее значение, особенно ценили просветительную деятельность всяческих книгопродавцев и букинистов, прославлявших книгу в силу своей страсти к ней, хотя многие из них были людьми необразованными.

В «Адресной книге русских библиофилов», составленной известным антикваром М. Я. Параделовым и вышедшей в начале нашего века, указано несколько сот имен собирателей: по роду своей деятельности это были профессора, предводители дворянства, владельцы беговых лошадей, директора народных училищ, да еще высокопоставленные лица; ни одного имени рабочего, а тем более крестьянина в этом списке, разумеется, не найдешь. Собирательство книг требовало и материальных возможностей: откуда у рабочего, даже при всей его любознательности, могли быть лишние деньги?

Однако потребность народа в книге хорошо понимали те просвещенные издатели, которые немало сделали для русской образованности. Среди этих имен достойнейшее место занимает имя сибирского издателя П. И. Макушина, одного из создателей «Народного университета» в Томске. В память об этом деятеле была выпущена в Томске, в 1916 году книга Гр. Крекнина «Ревнитель света — П. И. Макушин. 50 лет просветительной деятельности в Сибири». Примечательно, что издателями книги были рабочие и служащие Макушина, а весь валовой сбор от ее продажи предназначался для устройства в одном из сел Томской губернии бесплатной читальни имени «служащих и рабочих П. И. Макушина в Томске», с девизом: «Хорошие книги — пусть будут доступны всем».

Памятки такого рода особенно дороги мне: в большинстве случаев, забыты имена тех, кто прокладывал русло для книги и кому многим обязано было в те времена народное образование. В моем экземпляре на одной из страниц есть памятная запись чернилами о суммах, какие П. И. Макушин пожертвовал: «В 1919 году на постройку в г. Томске проектированного им «Дома искусств», а также в основание «Сибирского Литературного фонда» и на премии за книги для народа о Сибири».

Памятка о Макушине давно стала библиографической редкостью, да и напечатана она была тиражом всего в одну тысячу экземпляров. Такого же рода памятка под названием «Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет (1782—1882)» была выпущена в 1903 году, но в отличие от скромной томской книжки — богато, со многими иллюстрациями и снимками писем Глазуновых. Книгопродавцы Глазуновы на протяжении столетия выпускали не только отдельные книги, притом отлично изданные, но классическими стали и выпущенные ими собрания сочинений Гончарова, Жуковского, Кантемира, Лермонтова, Рылеева, Тургенева, Фонвизина...

История русской книжной торговли — по существу, история российского просвещения — занимала не одного исследователя. А. В. Арсеньев, автор «Словаря писателей древнего периода русской литературы IX—XVII веков», и «Словаря писателей среднего и нового периодов русской литературы XVII—XIX веков», которые до сих пор служат неоценимым пособием, выпустил в восьмидесятых го-

дах прошлого века полубеллетристическую книжечку «Первая книжная лавочка в Петербурге». Рассказ этот о «грыдорованных дел мастерах» Петре Пикарде, книжнике Аввакуме и людях древнего благочестия» получил в свое время премию на конкурсе, объявленном журналом «Нева». Судья конкурса поэт Я. П. Полонский чрезвычайно одобрил это историческое повествование о зарождении русского книготоргового дела.

Впоследствии известный исследователь и библиограф П. К. Симони выпустил книгу «Материалы к истории русской книготорговли в XVIII—XIX столетиях». Ленинградское общество библиофилов повторило в 1927 году это издание, но как и в первом, так и во втором издании в книге говорится лишь о деятельности Н. И. Новикова и книгопродавцев Кольчугиных.

Удивительно, как истинные книжники чтут имена тех, кто — нередко ценой многих лишений — посвятили всю свою жизнь книге. Старейший русский книжник Федор Григорьевич Шилов в своем самом заветном шкафу, уже в глубокой старости, полуслепой, расставшийся со всем своим книжным собранием, хранил, однако, книги о книжниках. Это был для него своего рода талисман, своего рода завещание тех, кто любил и понимал книгу, своим преемникам. Я рад, что приобрел у вдовы Федора Григорьевича несколько этих заветных книг старого букиниста; книги эти, в частности, помогли мне написать главу о них.

В сущности, издания такого рода, рассчитанные на малый круг собирателей, являлись лишь благодарной данью тому или другому книжному деятелю: вряд ли книжечка «Дмитрий Васильевич Ульянинский», посвященная замечательному собирателю книг и выпущенная в 1927 году П. Витязевым в количестве 325 нумерованных экземпляров, позволила издателю оправдать расходы на нее; по существу, это была просто лавровая ветка к подножию замечательного любителя книг, о жизни и трудах которого написана целая литература, а библиографическое описание библиотеки Ульянинского заняло три больших тома.

В количестве всего 99 экземпляров выпустил страстный почитатель книги, литературовед и своеобразный издатель Л. Э. Бухгейм книгу-памятку в честь старейшего и популярного московского книгопродавца А. А. Астапова. На последней странице этой книги, где указан ее тираж в 99 экземпляров, напечатано: «Не для продажи». Книга эта

предназначалась лишь для раздачи друзьям-книголюбам, а в качестве девиза в ней приведено любимое изречение Астапова: «Для меня книжечка — отрада, для меня больше ничего не надо!»

Я храню эти воспоминания старого букиниста наряду с другими книгами о книжниках, ощущая эти книги как своего рода маяки в необъятном книжном море, в котором нередко и имя писателя, написавшего книгу, а не только имя того, кто продавал и распространял ее, исчезло во времени; однако люди эти зажигали огонь в душе того или другого собирателя и тем самым сберегали книгу.

Выходят и в наше время, правда редко, памятки такого рода. Так, в 1926 году «Русское общество друзей книги» выпустило памятку «Издательству М. и С. Сабашниковых. К тридцатилетию издательской деятельности» со статьями Г. Поршнева, С. Шервинского и А. Эфроса, посвященными неутомимой работе Михаила Васильевича Сабашникова и с его гравированным П. Я. Павлиновым портретом. Кстати, книжечке этой была придана внешность прославленных сабашниковских книг из серии «Памятники мировой литературы»: в таком же виде выходили и Овидий, и Лукреций, и Саллюстий...

А в 1934 и 1957 годах вышли две памятки «Книжная лавка писателей»: одна к пятилетию лавки и к Первому съезду советских писателей и вторая — к 25-летию лавки, давно ставшие библиографической редкостью.

Книгам о книжниках должно принадлежать почетное место в библиотеке: не раз, беря в руки тот или другой томик, стоящий у меня на книжной полке, я вспоминаю тех, кто помогал мне в собирательстве: старых букинистов Константина Захаровича Никитина или полуслепого Александра Михайловича Михайлова, почти наощупь поднимавшегося ко мне по лестнице с редкой книжечкой; страдавшего тяжелой эмфиземой легких Павла Петровича Шибанова, для которого на закате его дней не было большей радости, чем провести вечер в беседе о книгах, особенно о книгах редких, исчезнувших; Матвея Шишкова, пришедшего ко мне в последний раз посмотреть на книги, многие из которых я приобрел в свое время его стараниями, и еще ряд тех, кого давно уже нет на свете, они не оставили и материального следа своей деятельности; но память книголюба хранит их имена, на то она и память книголюба, а уж ревнителей света она никогда не забывает.



БИБЛИОФИЛЬСКИЙ ДИФИРАМБ

Содружество книголюбов менее всего походит на содружество людей, одержимых какой-либо одной страстью. Оно гораздо шире по интересам и по общественным целям.

Мне не привелось бывать на заседаниях Русского общества друзей книги: в ту пору я еще не дорос до вершин книголюбия. Но у меня есть ряд книжечек и памяток, выпущенных Обществом, причем эти скромные издания всегда отмечены были высоким вкусом. Устав Русского общества друзей книги был утвержден в 1924 году и среди его членов-учредителей значились и известный собиратель, основатель Театрального музея А. А. Бахрушин, и народный артист Л. М. Леонидов, и Игорь Грабарь, и В. Я. Адарюков, автор многих исследований, вроде «Словаря гравированных портретов», и другие искусствоведы и знатоки книги.

Книжечки, которые Общество это выпускало, выходили столь малым тиражом, что едва ли уцелело от каждого издания несколько десятков экземпляров. Впрочем, на одной из таких книжечек прямо указано, что она напечатана в 66 экземплярах. Книжечка эта посвящена 5-летию существования Общества и представляет собой шуточное послание ныне здравствующего, великолепного книговеда, Алексея Алексеевича Сидорова. Я полагаю, что Алексей Алексеевич не посетует на меня за то, что я вспомнил одну его литературную шутку, именно «Новый отрывок из Дома сумасшедших А. Ф. Воейкова», в котором назван ряд имен, с той разницей, что Воейков злобно высмеивал,

а Сидоров расположенно приветствовал своих современников. «Ах, пьянительнее водки пятилетний книжный ром! — Процветай навеки, РОДКи славный сумасшедший дом!» — заключает свой шуточный дифирамб автор.

На мой взгляд книжное «сумасшествие» — заболевание весьма благородное, а некая маниакальность собирателя именно и определяет его преданность книге и всему тому, что с нею связано.

К числу дифирамбов в адрес книголюбов следует присоединить одну из книжек изобретательнейшего и неутомимого в свою пору ленинградского искусствоведа Э. Голлербаха, которого добрым словом помянет не один истинный книжник. Я не знал Голлербаха и весьма сожалею об этом: но ряд его любопытных книг есть у меня, и если отбросить некоторый эстетизм, то книжки эти своего рода трогательные и увлекательные по своему содержанию памятки: таков его «Город муз», истинная поэма в прозе о Детском Селе, этом с пушкинских времен пристанище поэтов, писателей и художников, ныне носящем название город Пушкин.

С такой любовью к стогнам этого поэтического города написана книжка, что, приезжая иногда в Пушкин, я вспоминаю о Голлербахе, сумевшем населить свою книжку живыми тенями — от Пушкина и Кюхельбекера до Иннокентия Анненского и Анны Ахматовой...

Но Голлербаху принадлежит еще одна книжечка, уже целиком посвященная книголюбам, «Диоскуры и книга» с подзаголовком «библиофильский дифирамб». В духе шуточного дифирамба Сидорова написана и поэма Голлербаха, украшенная к тому же рисунками Д. Митрохина, Н. Радлова, К. Сомова и Л. Хижинского и вышедшая в Ленинграде в 1930 году на правах рукописи в количестве 100 нумерованных экземпляров. В поэме Голлербаха воспеты ленинградские книжники: «Как мне без росчерков и петель воспеть святую добродетель — согласный трепет двух сердец — библиофилии венец?» Есть и «научные комментарии» к поэме.

Конечно, забавы ради выпущены и книжечка А. Сидорова, и книжечка Э. Голлербаха, но если представить себе собрание истинных книжников, то их интересы, которые могут показаться частными, в конечном итоге являются интересами общественными, ибо цели книголюбов направлены к прославлению книги, к тому, чтобы заинтересовать

ею молодых собирателей, посеять доброе зерно, всегда дающее хорошие всходы...

У меня нет ощущения, что я храню эти книжные дифирамбы, как следы своего рода чудачества, или ради коллекционерства. Любовь Алексея Алексеевича Сидорова к книге общеизвестна; сделал немало для прославления книги и Э. Голлербах, и нельзя не порадоваться, что в несколько иной форме возродилось сообщество книголюбов под названием «Клуб друзей книги», которому Центральный дом работников искусств гостеприимно предоставил помещение, и неутомимый председатель — искусствовед Виктор Михайлович Лобанов — уже не один год трудолюбиво собирает книголюбов... а когда-нибудь одни только пригласительные билеты на эти собрания представят собой не только библиофильскую памятку, но и страничку о любви и преданности книге, неписанный дифирамб в ее славу.

КНИГА БЕССМЕРТНА



Немцы были изгнаны из Умани, и на улицах города вплотную, без разрыва, стояли брошенные ими в бегстве автомашины, бронетранспортеры и танки. В городе еще пахло гарью, тем звериным душным запахом, какой оставляют после себя бегущие массы людей, и вонью гниющих продуктов: в грузовиках стояли бочки с огурцами и капустой и лежало несколько зарезанных, в спешке даже не освежеванных коров.

На одной из улиц сквозь разбитое окно нижнего этажа я увидел груды сваленных на полу книг. Вид книг всегда волнует меня, и я зашел в помещение, в котором сразу по стеллажам определил библиотеку. Никого в помещении, казалось, не было, только вглядевшись, я увидел скорбные

фигуры двух немолодых женщин, разбиравших в соседней комнате книги. Часть книг уже стояла на полках. Я подошел к женщинам, и мы познакомились: одна оказалась учительницей русского языка Зинаидой Ивановной Валянской, другая — библиотекаршей районной библиотеки Юлией Александровной Панасевич, а книги, лежавшие на полу, они перетаскали из подполья, где книги пролежали всю оккупацию. Я взял в руки одну из книг — это оказался учебник экономической географии, но, перелистав несколько страниц, я с недоумением обратился к титулу книги: содержанию он никак не соответствовал.

— Работа нам предстоит немалая,— сказала одна из женщин.— Дело в том, что по приказу гебитскомиссара Оппа мы должны были уничтожить все книги по прилагаемому списку,— и она достала из ящика целую пачку листков с тесными строками машинописи: это был список подлежавших уничтожению книг.— Мы переклеивали со старых учебников и разных других книг заглавные страницы, и нам удалось спасти почти все, что подлежало уничтожению,— добавила женщина с удовлетворением.— Так что не удивляйтесь, если том сочинений Ленина, например, назывался руководством по вышиванию.

Это было действительно так: две мужественные женщины спасли целую районную библиотеку, вклеивая в подлежавшие уничтожению книги другие названия или вкладывая их в другие переплеты. Теперь они разбирались в своих богатствах, ставили книги на полки и восстанавливали то, что по распоряжению назначенного директором библиотеки Крамма они должны были разорвать на клочки.

В Умани, в помещении районной библиотеки, я убедился в бессмертии книги.

Это ли не лучший рассказ о руках, которые умеют не только листать страницы книг и заносить в картотеку названия, но и сделать книгу символом бессмертия. Библиотекари в Умани спасали не одни лишь книги, они спасали, может быть, сами даже не сознавая этого, идею человеческой свободы, выраженную в Слове.



НА РОДИНЕ ВОЛЬТА

Итальянский городок Комо был некогда римской крепостью. В наше время в нем производят бархат и шелк, а также машины и резиновые изделия. Городок этот — тихий, на берегу поэтического озера Комо — является родиной римского писателя Плиния Младшего и одного из основателей учения об электрическом токе — Алессандро Вольта. Но однажды его дремлющую историю нарушила современность, и вот как это произошло.

В Комо в 1927 году, по случаю столетия со дня смерти Вольта, была устроена небольшая международная выставка, вблизи которой по вечерам зажигался гигантский ликторский пучок — эмблема фашизма, утверждавшего в те годы, что фашизм является символом цивилизованного мира, а в Советской стране попрана всякая культура и в ней царит средневековое варварство.

На выставке в Комо был, однако, и русский отдел, в котором представлены были изделия наших кустарей, палехские шкатулки, фарфор и, между прочим, книги. Фашистская печать утверждала, что книгопечатание в России стоит на самом низком месте и в ней издают лишь пропагандистскую литературу.

Я пришел на выставку с двумя итальянскими журналистами, которые предполагали посетить Советский Союз и очень заинтересовались одним из его граждан, к тому же писателем: писатель в их понимании не имел ничего общего с тем, чем заставляют заниматься литератора в Советской стране.

— Скажите,— спросил меня один из них,— это правда, что писатели в Советской России пишут только на те

темы, которые им раздаются правительством? Это правда, что писатели состоят на жалованье, и сколько вам платят в месяц? На какие специально пропагандистские темы вы пишете ваши книги?

— Знаете,— сказал я,— здесь на выставке есть русский книжный отдел. Там вы можете посмотреть наши книги и, кстати, наглядно убедиться в том, что мы действительно состоим на жалованье и пишем на заданные нам темы. Ведь гораздо лучше посмотреть все это, чем я буду вам об этом рассказывать.

Журналисты согласились, и мы, миновав залы с электрооборудованием, прошли в книжный отдел. Книги были выставлены на стеллажах, и любую из них можно было взять в руки и перелистать.

— Вот, не хотите ли взглянуть,— предложил я,— мы совсем недавно, в 1924 году, выпустили в двух томах «Орлеанскую девственницу» Вольтера в переводах и под редакцией замечательного поэта Михаила Лозинского.

Я достал со стеллажа два монументальных, отпечатанных на слоновой бумаге, с двумя десятками фототипий, тома.

— Вольтера? — спросил один из журналистов.— Но почему именно у вас выпустили Вольтера?

— Да так, захотелось, видите ли... неплохой писатель, между прочим.

Журналист недоверчиво взял один из томов и прежде всего посмотрел на год выпуска.

— Вероятно, это издание было начато еще до революции,— сказал он с сомнением.— Нам хорошо известно, что у вас нет бумаги и все ваши типографии находятся в ужасном состоянии. Впрочем, для выставок обычно не жалеют затрат,— добавил он, как бы намекая на то, что мы пускаем пыль в глаза.

— Может быть, вам понравятся эти фототипии, их, кажется, около ста в книге «Алмазный фонд СССР»,— предложил я.— Она выпущена тоже в 1924 году. Или, может быть, вас заинтересует «Версаль» Александра Бенуа с иллюстрациями автора?

Потом я предложил журналистам перелистать нечто более близкое им, именно перевод книги Бернсона «Флорентийские живописцы Возрождения», вышедшей в 1923 году, «Историю фаянса» Кубе, выпущенную в том же году, «Искусство негров» В. Маркова, напечатанную в немыслимом

для их понимания 1919 году, и, наконец, гравюры на линолеуме «Италия» В. Фалилеева.

— Видите, ваши сведения в некоторой степени правильны... все это заказывает государство. Кстати, у нас есть издательство «Всемирная литература», основанное М. Горьким, там представлены литературы всех народов, в том числе большое место отведено и Италии.

Потом мы обошли другие отделы, где были выставлены книги не только по искусству, и так как Государственное издательство дало мне с собой несколько книг для подарков, я подарил моим спутникам два волюма — сейчас не помню, что это было,— отпечатанных на такой отличной бумаге и с такими цветными репродукциями, что журналисты даже не нашлись что сказать.

— Ваши современные издания можно уподобить пушке «Берта»,— сказал мне один из них с откровенностью,— вы бьете издалека и такими снарядами, что придется пересмотреть многое в нашем представлении о современной России.

Он не мог найти что-либо более образное, чем пушка «Берта», бившая в первую мировую войну по Парижу с расстояния в несколько десятков километров: в ту пору еще не было ракет.

Я нередко вспоминаю эту маленькую книжную выставку в Комо. Советская книга выходила на мировой простор. Она утверждала славу нашей культуры и нашего книгопечатания, одной из важнейших составных частей культуры. Она била в цель, наша книга, и снаряды ложились точно, как точно ложатся ныне наши ракеты. Только для нашей книги не приходилось выбирать географические квадраты. Милан, Лейпциг, Париж — она повсюду появлялась на международных выставках, наша книга, пробивая иногда такие бетонированные сознания, которые, казалось, ни один снаряд не пробьет.

— А чему вы удивляетесь? — спросил старейший московский книжник Иван Иванович Сытин, сын известного издателя И. Д. Сытина, когда я рассказал ему об этой встрече с советской книгой в Комо.— Книгой можно мир взорвать, а не то что кого-нибудь распропагандировать, вроде ваших итальянцев.

Его лицо стало вдруг хитрым, он нагнулся и достал с нижней полки в закутке товароведки какую-то большую, тщательно завернутую книгу. Потом он развернул ее, и я

увидел, что это первое издание сожженной книги Джордано Бруно «Del infinito, universo e mondi» — «О бесконечности, вселенной и мирах» — книга, которая действительно взорвала мир в свою пору. Экземпляр этот находится ныне в одном из наших книжных хранилищ.

— Это вам не Комо,— добавил Иван Иванович наставительно, поглаживая книгу примерно тем же движением, каким оглаживают надежное оружие: недаром Иван Иванович Сытин слыл испытанным охотником.



В СТРОЮ

История переплетного дела, как бы ни были искусны во множестве случаев переплетчики, включает в себя и печальную повесть о том, как именно переплетчики в такой степени искажали в прошлом первоначальный вид книги, что и не представишь себе, какой она была по выходе из типографии. Книги, выходившие в восемнадцатом столетии и почти во всей первой половине девятнадцатого, почти целиком оседали в дворянских и помещичьих библиотеках. Нередко у помещиков были свои переплетчики из крепостных, мастера и большие искусники.

Мы любуемся и поныне переплетами восемнадцатого и девятнадцатого веков, переплетами, в которые книга была как бы вмурована и которые поистине с византийской роскошью украшали книжные шкафы из красного дерева. Но искусным переплетчикам никто не преподавал законов сбережения книги: они меняли формат книг, обрезая их с трех сторон примерно на палец от текста, срывали обложки — нередко с гравированными рисунками, и почти не осталось книг, изданных в прошлых столетиях, в их

первоначальном виде в отношении формата, и особенно с печатными обложками.

Истинные любители книг особенно дорожат сохраненной обложкой: печатные обложки первых изданий книг Пушкина не только отличны одна от другой, но и оттеняют прелесть наборных типографских рамок, скажем, «Полтавы» или «Евгения Онегина». Не знаю, существуют ли какие-нибудь сведения, каков был истинный формат «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева после выхода из типографии; сохранившиеся экземпляры известны только в обрезанном виде. Размер книги определялся в ту пору тем, как сложится лист, и большие поля переплетчики непременно срезали. У меня есть, например, для сравнения два экземпляра «Новых повестей Н. Ф. Павлова», вышедших в 1839 году: один — в том виде, в каком он вышел из типографии, другой — в переплете; если поставить их рядом, то они разнятся по размеру, как, скажем, автомашины «Волга» и «Москвич».

Искусные переплетчики во Франции, переплетая для любителей книги, не обрезают их и сохраняют не только переднюю и заднюю обложки, но вплетают и срезанный бумажный корешок, чтобы сохранить все особенности книги. У меня, увы, немало книг, пострадавших от руки переплетчика: с полуотрезанными авторскими автографами и даже с пострадавшим текстом. Я вспоминаю, как даже опытный и предупрежденный мной переплетчик отмахнул наполовину автограф на одной из первых книжек Я. П. Полонского «Несколько стихотворений», вышедшей в 1851 году в Тифлисе: он оправдывался тем, что книжка показалась ему непомерно длинной.

Обрезальный нож в руках переплетчика — опаснейшая гильотина для книги. Многие редкие книги столь изуродованы переплетчиком, что просто потеряли для собирателя ценность. Нож переплетчика должен в лучшем случае лишь подчистить срез, но не искажать произвольно формат книги. Обложки при переплетании нужно непременно сохранять как переднюю, так и заднюю: на передней обычно кроме надписи бывает еще и рисунок, да и надпись нередко сделана рукой художника-графика, на задней же проставлена цена, которая существенна для книговедческих целей. Все это главным образом относится к старой книге. Современная книга выходит из типографии обычно уже обрезанной и в переплете, но массовые издания вы-

пускаются в бумажной обложке, и обложки эти нужно непременно сохранять при переплетании книги.

Книга А. Чехонте (А. П. Чехова) вышла в 1886 году в издании журнала «Осколки» с иллюстрированной обложкой работы Ф. Шехтеля, а «Невинные речи» в издании журнала «Сверчок» (1887) с обложкой работы Н. П. Чехова. В обеих обложках есть своеобразие эпохи, а обложка к «Невинным речам» интересна еще и тем, что она сделана братом Чехова — художником. У меня есть эти книги, но без обложек, и я всегда жалею об этом. Только самая первая книжка А. Чехонте — «Сказки Мельпомены»,— вышедшая в 1884 году и подаренная мне литературоведом Н. А. Роскиной, у меня с обложкой — бледно-зеленой с типографской рамочкой; сохранена и задняя обложка с обозначенной посреди округлой виньетки ценой в 60 копеек, и когда берешь в руки эту книжку, то всегда думаешь, что она побывала, может быть, в руках и у самого Чехова.

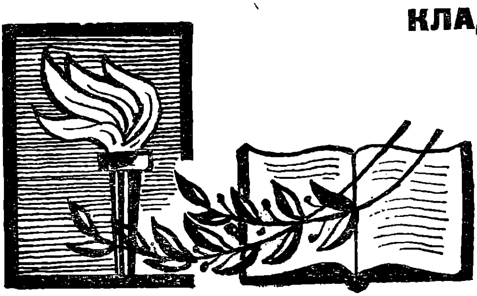
Искусству переплетать книгу сопутствует и искусство ее беречь. Как-то на нескольких своих книгах я обнаружил свежий след работы книжного червячка. Это было бедствие, которое могло погубить ряд других книг. Сейчас существуют способы химической обработки книг, применяемые в больших библиотеках. Способы эти, конечно, самые надежные, но если червячок заведется в одной или даже нескольких книгах, есть и домашний способ, как с ним бороться. Я делаю так: расковыряв кончиком иголки ход, можно подцепить на острие личинку вредителя, если она близко; если это не удастся, нужно втереть во все дырочки ходов порошок «дуст», плотно завернуть книгу в бумагу и оставить ее так на неделю. Потом, сдув порошок, следует каждую дырочку обвести карандашом для проверки, не появится ли новая дырочка; если останутся лишь обведенные карандашом дырочки, значит, действие червячка прекратилось.

Я пишу об этом обстоятельно, как даются хорошие домашние советы; а в остальном, чтобы сберечь книгу, нужно охранять ее от солнца, на лето закрывать книги на полках бумагой, и за все эти малые заботы о них книги отплатят вам своим долголетием: они долго будут радовать ваш взгляд и служить вам, не утомляясь от времени. Кожаные корешки и углы нужно хотя бы раз в год слегка промазать белой мазью для обуви и протереть мягкой

тряпкой: кожа ссыхается, и ей нужно питание. Это тоже один из заветов сбережения книги. Молодым книголюбам эти советы пригодятся. Даже такой испытанный книголюб и собиратель, как Иван Никанорович Розанов, обладатель бесценной библиотеки по поэзии, поинтересовался раз, как сберегать книги, и удивился примитивной простоте ответа, продиктованного личным опытом.

Я полагал, что уместно было дать эти малые практические советы в книге, озаглавленной «Друзья мои — книги»; о друзьях ведь всегда следует особенно заботиться.

КЛАДОВАЯ РАЗУМА



Словацкий писатель Петер Илемницкий, автор многих социальных романов, был большим другом нашей страны. Его книги «Поле невозделанное» или «Хроника», посвященная героическому восстанию словаков против оккупантов в 1944 году, были переведены у нас. Илемницкий был нежным, глубоким человеком и трогательно любил книгу.

Однажды в Москве, уже после войны, когда Илемницкий работал во Всеславянском комитете, он сказал мне:

— Я знаю, что вы дружите с книгой. Не поведете ли вы меня в какую-нибудь из кладовых разума, где можно найти что-либо из старинки.

Мне понравилось определение магазина старой книги как кладовой разума, и я повел Илемницкого, помнится, и в Книжную лавку писателей, и в букинистические магазины, где работали старейшие и уважаемые книжники Алексей Григорьевич Миронов, Александр Сергеевич Бурдейнюк и Лев Абрамович Глезер, съевшие на своем веку, по образному выражению, добрый десяток пудов книжной соли. Какую-то книжку в этот наш совместный

поход купил я, а одну книгу в букинистическом магазине иностранной книги под «Метрополем» буквально с жадностью ухватил Илемницкий.

Мы завершили нашу книжную вылазку за столиком в одном из кафе.

— Я расскажу вам, какую роль сыграла книга в моей жизни,— сказал Илемницкий,— и почему книжка, которую я сегодня купил, так взволновала меня. Когда-то я редактировал коммунистическую газету «Правда бедноты» в Банска-Бистрице и Остраве. Однажды в редакцию пришел какой-то простой человек, оказавшийся рабочим спичечной фабрики, и вручил мне одну старую книжку, оставшуюся после его отца. Это была поэма нашего словацкого писателя Андрея Сладковича «Детван». Я поблагодарил рабочего за его подарок, поэму эту я давно любил, в ней Сладкович хорошо передал обычаи и чувства простых людей Словакии. Во время войны, когда гитлеровцы засадили меня в концентрационный лагерь, у одного из заключенных нашлась эта поэма Сладковича, мы читали ее совместно, и она очень помогала нам. А теперь в Москве, столице страны, которая освободила Чехословакию, я встретился в третий раз с этим томиком Сладковича. Как же не восхищаться книгой, которая связана со столькими воспоминаниями!

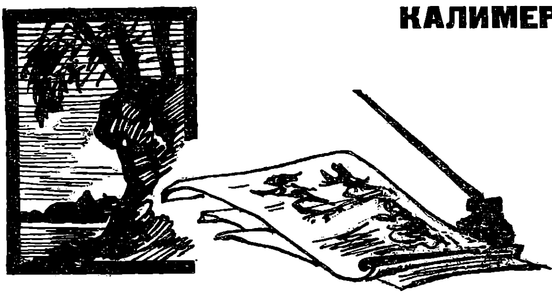
Книга, которую купил Илемницкий, оказалась именно поэмой Андрея Сладковича «Детван», изданной в 1853 году, кажется, в Братиславе, где ныне на кладбище Славин, высоко над городом, неподалеку от могил советских воинов, павших в борьбе за освобождение Словакии, находится урна с прахом умершего 19 мая 1949 года в Москве Петера Илемницкого. Мне привелось побывать на этом кладбище и поклониться могиле моего словацкого друга.

— Запасы знаний в таком количестве заключены в книгах,— сказал Илемницкий в тот день, когда мы вместе ходили по московским книжным магазинам,— что эта кладовая разума никогда не может быть исчерпана, для этого не хватит не только одной человеческой жизни, но и жизни многих поколений, как мы это видим на примере судеб ряда книг. Вы так любите книги, что, наверно, когда-нибудь будете писать об этом чуде... помяните тогда мою находку, помяните о том, как мы вместе с вами побывали в кладовой разума. А знаете, между прочим, нам прихо-

дилось в лагере прятать «Детван», чтобы тюремщики не отобрали у нас книжку, и с этим тоже связана целая история. Вообще о «Детване», может быть, и я когда-нибудь напишу. Сладковичу, конечно, и не грезилось, какую роль может сыграть когда-нибудь его поэма. Да и ни один писатель не может представить себе судьбы своей книги, это навсегда останется «Pole neorané», сколько бы его ни вспахивали критики и знатоки литературы.

Больше Петера Илемницкого я не встречал. Он умер, прах его перевезли в Словакию, у меня осталась лишь книга Илемницкого, именно «Pole neorané» с его надписью мелким женственным почерком; но недавно, будучи в Праге, я нашел книгу Андрея Сладковича «Детван» и купил ее. Словацкого языка я не знаю, но дело не в этом. Я поставил эту книгу рядом с книгой Илемницкого, они соседствуют ныне: книга старого поэта была другом Илемницкого в самые трудные для него годы, и пусть они будут рядом, пусть кладовая разума обогатит читателей еще одной находкой, хотя и скромной, но глубокой по своему духовному и сердечному смыслу.

КАЛИМЕРА, ЗИСИМО!



Нередко книги, которые держишь в руках, подобны сколку чьей-то судьбы. Невесел и неблагополучен был путь их автора. Не узнал он при жизни ни лавров, ни признания, книг выпустил мало, иногда лишь одну или две, и книги эти исчезли, словно никогда и не выходили. Такова, например, судьба единственной книги скончавшегося недавно писателя Александра Александровича Тришатова «Молодое, только молодое». Тришатов был одаренным писателем, для своего времени новатором, его

повесть «Неделя о богатом юноше», помещенную в 12-й книге альманаха «Сполохи», читаешь и до сих пор, как образец своеобразной, особенной прозы. Но что помешало Тришатову выйти на большую дорогу литературы: все данные у него для этого были? У него не было лишь одного: уверенности в себе и воли к преодолению трудностей, без которой писателю никогда не найти своего пути.

Я вспомнил о Тришатове и о его судьбе по поводу совсем другой книги: она выпущена Донецким книжным издательством в 1963 году, прислал мне ее художник из Мариуполя, а называется книга «Калимера, зисимо!», что в переводе с греческого означает: «Здравствуй, жизнь!»

Почему же эта книга советского автора называется так странно и почему он писал по-гречески? Из биографии Георгия Антоновича Костоправа, приложенной к книге, узнаешь, что он родился в 1903 году в семье писаря в одном из приазовских греческих сел. «Греки в Донбассе... Когда-то, спасая православных единоверцев-христиан от преследований крымских ханов, великий русский полководец А. В. Суворов предоставил им убежище в Приазовье. Здесь они обосновали свои поселения и живут уже около двухсот лет». Так сказано в предисловии к книге.

Жизнь Георгия Костоправа была короткой, судьба его оказалась трагической.

В предисловии к книге сказано, что «на пути к творческой зрелости оборвалась жизнь талантливого поэта, ставшего жертвой культа личности»... М. Горький в свою пору приветил поэта, который кстати перевел его «Песнь о соколе», но переводил Костоправ стихи и Тараса Шевченко, и Пушкина, и ряд наших современников, а одна из его поэм была причислена критикой к лучшим лирическим произведениям новогреческой поэзии.

Листая книгу Костоправа, нельзя забыть о его судьбе. Я всегда с особым чувством держу в руках книги писателей, которые могли бы написать еще многое, может быть, самое лучшее, если бы иной была их судьба. Испытал такое же чувство я и в отношении книги Георгия Костоправа, писавшего по-гречески и оставившего много меньше того, что мог бы по своим способностям оставить.

У больших и шумных рек литературы есть свои малые притоки, без которых, однако, не может быть полноводной река. Поставить на свою полку книгу со скромной судьбой — это нередко обогатить свою библиотеку: ведь судьба

книги в ряде случаев была скромной не потому, что автор не обладал талантом, а потому, что просто не повезло ему в жизни, не удалось ему сделать многое, и руке собирателя дано исправить несправедливость и отвести автору заслуженное место на книжной полке. Я поставил книгу Георгия Костоправа среди книг других поэтов, не только современников, но и поэтов прошлого, и они приняли его в свой круг: так, по крайней мере, кажется мне.

«Капризных строчек сочетанья покорны прихотям моим. Пишу. Бегут воспоминанья. Одно сменяется другим. Но вот я строю их рядами и в стих уверенно веду...» Так писал Георгий Костоправ, но построить рядами свои лучшие стихи поэту так и не привелось, и книга, в силу его судьбы, обретает еще одно дополнительное качество.

А единственной книги А. Тришатова «Молодое, только молодое» у меня нет и она никогда не встречалась мне, сколько я не искал ее.



ТО, ЧТО БЛИЗКО

Любить книгу — значит неизменно общаться с ней. Мы прочитываем за нашу жизнь, в разные годы каждый раз по-новому, «Войну и мир» Льва Толстого или рассказы Чехова. Мы расстаемся с ними на время, но они возвращаются к нам, когда у нас возникает потребность общения с ними, и сколько бы ни было таких встреч, они всегда глубоки и значительны.

Есть собиратели, которые подбирают только редкие книги или книги лишь по одному вопросу, и хорошо, что такие собиратели существуют. Наши основные библиотеки именно им во многом обязаны своим богатством: собрание Черткова по «россике» или собрание книг историка



А. В. Симаков

И. Е. Забелина составляют один из фондов Государственной исторической библиотеки, а сотрудники в библиотеке имени В. И. Ленина в Москве, или в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, или в библиотеках Пушкинского дома и Литературного музея с признательностью назовут имена десятков собирателей, обогативших своими уникальными собраниями эти книжные хранилища. Так, совсем недавно музей А. С. Пушкина в Москве обогатился собранием книг И. Н. Розанова — тем самым собранием, о котором я пишу в главе «Собиратель Розанов».

Но если говорить о собирательстве в широком смысле, то собирать, конечно, книги надо не по признаку их редкости, а по тому, что́ близко и нужно, что́ хочешь всегда

иметь рядом с собой. Собирательство без разбора означает простое коллекционерство, с единственным желанием побольше и понаряднее набить книг на полки.

Я никогда не гнался за количеством книг. Я даже разочаровывал некоторых, полагавших, что у меня большая библиотека. У меня небольшая библиотека, но она состоит из книг, которые по той или иной причине мне близки или нужны для работы; в частности, именно благодаря некоторым из них я написал эту книгу.

Ни разу, кстати, не помышлял я писать о книгах. Меня не побуждали к этому и чужие примеры; я просто радовался им, но все же, поразмыслив как-то, решил, что если знаешь кое-что о книгах, почему бы не рассказать об этом? Почему бы не обратить, так сказать, в книжную веру еще десяток-другой молодых книголюбов, заразить их примером собирательства, вдохновить на трудное, но несомненно увлекательное дело?

Мне всегда грустно видеть старых знатоков книги, которые никому не передали своего опыта. «Вот стал я стар, стал плохим работником... и как обидно, что ни одного ученика не оставил, не на кого порадоваться»,— сказал мне как-то знакомый старый книжник. Я помню, как печалился П. П. Шибанов, что один из бывших его учеников так и не стал хорошим знатоком книги по недостатку необходимых для этого качеств.

— Деревяшка,— определил Шибанов скучающе,— ничего не впитывал.

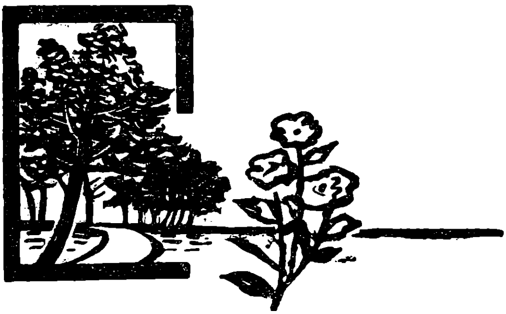
Он зато глубоко ценил и любил другого своего ученика — Рафа Карповича Карахана, работавшего вместе с ним в «Международной книге», а затем в книжном отделе московского Дома ученых. Карахан не только знал книгу: он учился у Шибанова и науке о книге, составляя любовные и почти вдохновенные описания для каталогов. Карахан принадлежал к числу бескорыстно преданных книге людей, и не один московский ученый, без сомнения, помянет добрым словом этого вечного хлопотуна по книжным делам и приятнейшего, образованного человека.

Обращая взгляд в сторону своих книжных полок, мысленно продолжаю я историю книг, связанную с судьбами писателей; не всегда эти судьбы благополучны, имена некоторых писателей иногда забыты, и всегда радостно извлечь из забвения эти имена, напомнить, что и самые

скромные литераторы прошлого были деятелями литературы.

Глядя на свои книги, вспоминаю я и старых букинистов, помогавших мне советом и опытом, в их числе Алексея Васильевича Симакова, унаследовавшего от своего отца, славного собирателя народных песен В. Симакова, глубокую преданность книге. Портрет А. В. Симакова висит в Книжной лавке писателей рядом с портретами писателей, и, думая о Симакове, нельзя не вспомнить традиции близости книгопродавцев к литераторам, идущие еще с пушкинских времен.

Окружающие тебя книги всегда должны быть такими, чтобы, обратившись к книжным полкам, иметь все основания сказать: «Друзья мои — книги» и услышать от них *воображаемое ответное признание*: ведь биография книг есть в то же время и биография того, кто собирает их.



ЛЮБИМОЕ

У меня, как и у многих читателей, есть свои любимые книги. Они не в футлярах и не в дорогих переплетах, они не значатся в справочниках как «редкость» или «редчайшая». Они просто близки мне, сердечны по своей чистоте и необходимы по внутренней значимости.

Много лет встречался я мимоходом с одним тихим, молчаливым человеком, мы раскланивались с ним и расходились в разные стороны. Я его близко не знал; знал, что это писатель, некоторые его рассказы читал, они мне нравились. А потом этот писатель умер; умер как-то незаметно, в 1951 году, и вот вышел том его избранных рассказов, и Андрей Платонов глубоко проник мне в душу каким-то своим сердечным, необычайно нежным и мудрым

отношением к людям, которые стали героями его рассказов. С опозданием, как это нередко случается, я с горечью подумал, что недостаточно знал этого отличного писателя. Но у писателя остаются книги, и им нередко дано стать друзьями читателя уже на вечные времена. Не помню от кого я слыхал, что Эрнест Хемингуэй назвал имя Платонова среди имен тех писателей, у которых он учился писать, и порадовался признанию Платонова, ставшего близким не мне одному... Почти то же самое мог бы сказать я и о рассказах молодой, рано умершей английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, рассказах трогательных и глубоких, написанных под влиянием Чехова.

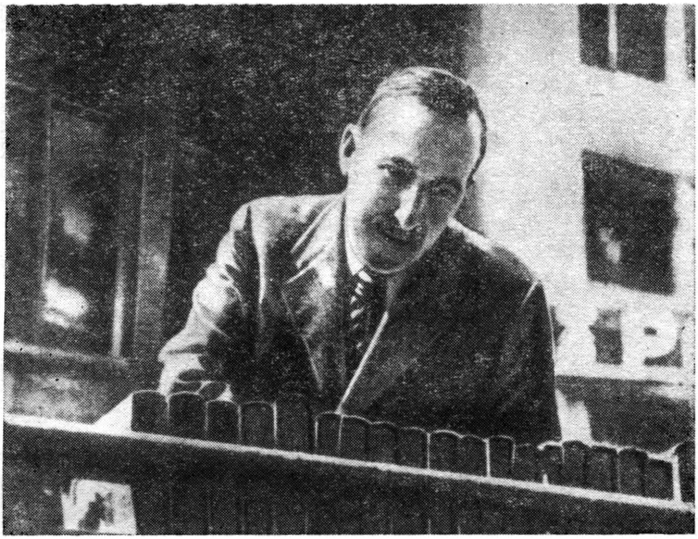
С книгой М. Горького «Рассказы 1922—1924 гг.» для меня связано воспоминание о ветреном вечере в Сорренто, о большой тревожной душе старого писателя, подарившего мне эту книгу в своем пустынном большом кабинете, за окнами которого уже несколько дней подряд сирокко ожесточенно раскачивал ветки деревьев... Книга, однако, близка мне не только благодаря этому воспоминанию и не только потому, что на ней есть надпись Горького: в ней помещен один из его лучших рассказов — «Отшельник», который я впервые прочел именно в Сорренто, радуясь силе и богатству русского языка.

«Стефан Цвейг, находящийся в настоящее время в путешествии, просит извинить его, что в этот раз он не может послать свою книгу лично».

Так звучит по-русски текст, напечатанный на карточке, вложенной в одну из книг Цвейга и присланной из Вены издательством, выпустившим эту книгу.

Я берегу эту книгу не меньше, чем другие книги Цвейга, присланные им лично. Книга эта вышла в ту пору, когда в Австрии уже слышался стук сапог гитлеровских солдат, когда Цвейг в последний раз прошел по дорожкам своего сада на горе Капуцинов в Зальцбурге и простился с ним навсегда, отправившись в последнее странствие, завершившееся трагическим финалом его жизни... Книги иногда раскрывают большее, чем в них написано: они хранят в себе смятение чувств и жгучую тайну самого автора; перифраз названий книг Цвейга в данном случае не только уместен, но и напрашивается сам собой.

Мне дороги и другие книги Цвейга не только потому, что они связаны с личностью этого большого писателя и



Стефан Цвейг на книжном развале в Лондоне

глубоко сердечного и нежного человека, которого я знал. Они дороги мне тем, что дарили меня читательскими радостями: я не преувеличу, сказав, что, например, рассказ Цвейга «Лепорелла» стоит в одном ряду с «Простым сердцем» Флобера.

Неизменно ощущаю я, как взволнованных собеседников, книги Александра Малышкина «Севастополь» и «Люди из захолустья». Тот, кто захочет прочесть одни из самых правдивых страниц о первых днях революции, о становлении нового мира, пусть обратится к книгам Малышкина: их искренний голос встревожит не одно молодое воображение, и книги Малышкина станут надежными спутниками многих читателей.

Есть книга, похожая на сгусток человеческих страданий и вместе с тем на сгусток воли и мужества: «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Эта книга — страдалица, но она и победительница. Она продолжает историю книг, замученных и загубленных, просиявших, однако, из стен заточения, презревших насилие и указывающих человеку его путь.

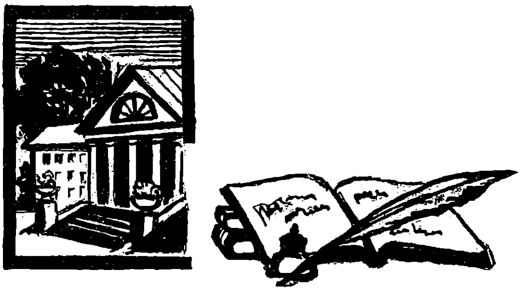
Так к вечным спутникам — книгам классиков — присоединяются и книги современников, и чем шире по внутреннему ощущению этот круг, тем богаче и библиотека собирателя. Именно любимые книги определяют путь собирательства, и они и составляют его ценность.

После смерти Белинского И. С. Тургенев приобрел его библиотеку не только с целью помочь вдове Белинского, но и потому, что хотел сберечь круг самых заветных друзей Белинского — его книги. В тишине тургеневского музея в Орле, где ныне находится библиотека Белинского, читаешь не только повесть о дружбе Тургенева и Белинского, запечатленную в книгах с золотыми буквами «В. Б.» на корешке, но и повесть о сохраненном в материальном выражении духовном мире великого критика...

Чехов год за годом посылал книги в городскую библиотеку Таганрога, уверенный, что дружба с книгой является основой внутреннего роста человека. Книголюб А. М. Горький всего за несколько дней до смерти прислал в Книжную лавку писателей список нужных ему книг, в их числе были «Вогульские сказки» и «Наполеон» Е. Тарле. В Самаре, в Публичной библиотеке Петербурга, в библиотеке Румянцевского музея в Москве, в Берлинской императорской библиотеке, в библиотеке Вольно-экономического общества, в книжном хранилище Юдина в Красноярске, в библиотеке Британского музея в Лондоне, в библиотеке имени Куклина в Женеве, в Национальной библиотеке в Париже, в библиотеках Кракова, Берна, Цюриха — всюду побывал неутомимый читатель В. И. Ленин.

Даже из ссылки в Шушенском Ленин пишет в 1897 году сестре Анне Ильиничне Елизаровой:

«Если поедешь за границу, то сообщи, и я тебе подробно напишу насчет книг оттуда. Посылай мне побольше всяких каталогов от букинистов и т. п. (библиотек, книжных магазинов)». В воспоминаниях Н. К. Крупской проникновенно рассказано о пристрастии к книге В. И. Ленина, учившего любить, ценить и уважать книгу как непременного спутника каждого просвещенного человека.



АНДЖЕЛО

В Архангельском было пустынно и тихо, только в кустах, уже тронутых осенью, копошились подросшие птенцы синичек. Был сентябрь, самое его начало, сентябрь еще теплый, и даже летали бабочки.

Директор музея «Архангельское» Найдышев, человек немолодой и с больным сердцем, осторожно взял меня рукой под локоть.

— Наши дела очень плохи,— сказал он трагически, округляя глаза.— В Архангельском собираются построить санаторий, не знаю, что станет с нашим замечательным ансамблем; однако, это еще полбеды, найдутся, наверно, понимающие архитекторы. А вот над крепостным нашим театром, этим единственным в своем роде чудом, нависла прямая беда: его собираются перестроить под общежитие.

В ту пору решения принимались нередко по расположению или нерасположению одного человека, и кто, действительно, мог поручиться, что в какое-нибудь прекрасное утро не подъедут к крепостному театру в Архангельском грузовики, и из них выберутся плотники со своими инструментами, а то и каменщики, чтобы на месте снесенного деревянного здания построить кирпичный дом.

Я любил Архангельское и нередко приезжал сюда. Я любил перспективы его аллей со статуями, белеющими в нежных, почти сиреневых далях, цветущие коридоры его аркад и легкую полосу тумана над Москвой-рекой.

Мы прошли с директором в здание театра, я сел в одну из лож, в которых сидели в свое время вельможи, а директор исчез, затем сцена осветилась, занавес рывками пошел кверху, и я увидел волшебную декорацию:

итальянскую таверну, маленькую придорожную остерию с небом Италии и воздухом Италии. На сцене, покрасневший от усилий, с какими поднимал занавес, и с всклокоченными седыми волосами, появился директор.

— Гонзаго,— сказал он торжествуя,— величайший мастер сцены. Показать вам еще одну его декорацию?

— Хватит и этой,— ответил я.— Несколько лет назад я побывал в Италии и теперь словно снова в ней.

В театре, казалось, сохранились голоса крепостных актрис и звуки домашнего оркестра, но в одной из боковых комнат, мимо которых мы проходили, направляясь к выходу, я действительно услышал голоса, и мне показалось, что читают стихи.

— Это наш самодеятельный драматический кружок колхозной молодежи,— пояснил директор.— Готовят очередной спектакль.

Мы открыли дверь в комнату, чтение стихов сейчас же прекратилось, несколько деревенских парней и девушек разучивали роли, и я узнал от них, что они готовят пушкинский спектакль «Анджело». Не нужно быть писателем, чтобы представить себе, как из дремлющих аллей старинного парка, запоздалого тепла бабьего лета с паутиной, носящейся в воздухе, колхозной молодежи, готовящей спектакль «Анджело»,— как из всего этого можно сложить тему для повести.

Я вернулся в Москву и, размышляя как быстрее помочь Архангельскому, решил написать для газеты «Известия», в которой тогда часто печатался, нечто непохожее ни на очерк, ни на рассказ по своему целевому назначению.

В сущности, я написал лишь об аллеях прекрасного парка с его беседочками и монплезирами, статуями и женскими торсами, о позднем осеннем тепле, о колхозной молодежи, которая ставит в бывшем крепостном театре пушкинский спектакль, да еще о декорациях Гонзаго, ни словом, однако, не упомянув об Архангельском: в ту пору это могло вызвать обратное действие.

«Анджело» был напечатан в ноябре 1934 года в «Известиях», а некоторое время спустя я получил за подписями директора музея и сотрудников целое послание: крепостной театр не только сохранялся, но будет и реставрирован, а построенное впоследствии здание санатория гармонически вошло в ансамбль.

История эта далеко в прошлом, умер милейший ревнитель Архангельского, его директор Найдышев, но недавно мне привелось вспомнить все заново: я получил письмо от незнакомого человека, оказавшегося в то же время и давним знакомым.

«...давно это было, лет тридцать назад. Группа колхозной молодежи и ребят-строителей, в старинном театре в «Архангельском», где когда-то игрались пышные спектакли для знати, задалась целью довести классическую литературу до широких колхозных и рабочих масс... В обрамлении уникальных декораций Гонзаго, на подмостках юсуповской сцены, эта группа простых курносых ребят и девчат готовила (упорно готовила!), а затем показывала не одной тысяче зрителей — Пушкина («Анджело», «Скупой рыцарь», «Каменный гость»), Шиллера («Вильгельм Тель»), Гольдони («Слуга двух господ»), И. А. Крылова («Трумф») и др. Это было горячее, интересное и увлекательное дело, которое отечески опекал директор музея «Архангельское», коммунист Найдышев.

...Давно это было. Лет тридцать назад. И вот теперь, почти случайно, собралась частичка этой группы курносых энтузиастов. Собрались не все: часть погибла на фронте, не все пережили войну. Да и годы идут, идут... Вспомнили мы наши театральные муки, когда не каждый мог выговорить «синьора» и лишь после упорной тренировки отвыкал от более привычного сочетания «свиньора»... вспомнили подлинное счастье, которое мы испытывали, когда постановка удавалась.

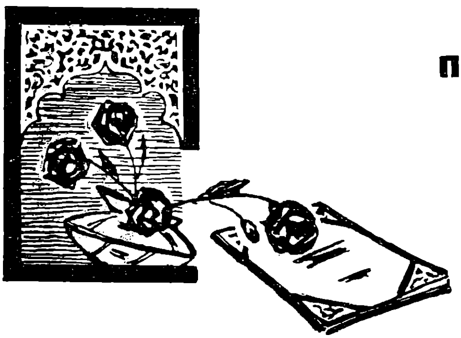
Вспомнили мы и вашего «Анджело». И пожалели, что годы и война разметали нас, что утратился известинский подвал, который мы зачитывали до дырок. И решили обратиться к вам с нескромной просьбой: если у вас где-нибудь сохранился ваш «Анджело», дайте нам возможность переписать, перепечатать его. Мы снова соберемся и снова, как когда-то, перечитаем его радостно и волнуясь. Правда, волнение будет теперь другим: не от радости действа, а от того, что оно б ы л о. Но именно это нам теперь дорого».

Так писал мне Борис Александрович Лямин из Подольского района Московской области.

Вернул он и меня к прошлому, напомнив о том, как действенно и ответственно слово писателя, как оно не уходит навсегда в глубину времени, а иногда и возвра-

щается, обогащенное именно временем и чувствами других людей, для которых писал когда-то, даже не подозревая, что они существуют... но они существуют, они создают в своем читательском мире нетленные библиотеки, они создавали славу Пушкина и оплакивали Пушкина, и поколение за поколением вновь и вновь возвещают о его гении.

Как тридцать лет назад, в тишине и сумраке некогда крепостного театра, слышу я мужской голос: «Оставь меня, прошу» и следом жаркий, нарастающий в силе голос: «Помилуй... подумай, если тот, чья праведная сила прощает и целит, судил бы грешных нас без милосердия, скажи: что было б с нами?Подумай — и любви услышишь в сердце глас, и милость нежная твоими дхнет устами, и новый человек ты будешь»... как тридцать лет назад, слышу я эти голоса «курносых», которым пришлось узнать затем войну со всей ее скорбью и уничтожением, но ничего не утративших от силы своего духа.



ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПОСТСКРИПТУМЫ

Некоторые читатели сами дописали постскриптумы к тем или иным главам этой книги; они дополнили для автора многое, о чем он не знал.

В главе «Книга донского казака» я писал об Евлампии Котельникове. В газете «Вечерний Ростов», как я уже говорил, была напечатана статья заместителя директора краеведческого музея С. Маркова под названием «Еще одна книга Евлампия Котельникова».

Книга посвящена истории происхождения донских казаков, в ней много говорится об их быте и обрядах, есть

в ней и биографические сведения об авторе: Евлампий Котельников родился в 1774 году в станице Верхне-Курмоярской в семье станичного писаря. В Отечественную войну 1812 года Котельников состоял при донском атамане Платове в качестве дежурного штаб-офицера и письмоводителя. Интересы Котельникова хорошо определяются тем, что по возвращении из похода в Париж он привез много иностранных книг.

Однако история о Котельникове имеет еще некоторое продолжение. Как-то я получил письмо из города Бронницы от читательницы Л. В. Сульдиной. «В детстве моя прабабушка говорила»,— пишет Сульдина,— «что ее дед был кучером, (может быть, денщиком) легендарного казака Платова и прошел всю войну вместе с ним. Еще она говорила, что у них долго хранился подарок Платова. Не написано ли что-нибудь в этой книге о кучере (не знаю, какая фамилия у него была), но моя бабушка, которая живет в г. Лениногорске, знает, наверно, его фамилию...»

Так разросся рассказ о донском казаке и об его книге, и всегда невольно думаешь, что книга, подобно растению, укоренившись, пускает мочки и ответвления корней.

Забытые имена людей, которые писали книги, или сочиняли песни, или музыку к этим песням, всегда тревожат тех, кто ищет историческую правду и не может примириться с забвением того или другого имени.

В главе «Песня о комаринском мужике» я упоминаю имя забытого поэта И. Макарова, написавшего песню «Однозвучно гремит колокольчик», положенную на музыку композитором А. Гурилевым.

Один из таких искателей исторической правды, Лев Николаевич Топоров, пишет мне из Подольска, что с год назад он купил книгу Б. Вольмана «Гитара в России», изданную в 1961 году Музгизом, и нашел в этой книге запись Н. А. Энгельгардта, внука известного гитариста Н. П. Макарова. В записи говорится об одном романсе, именно «Однозвучно гремит колокольчик», которым Макаров обычно начинал свою игру на гитаре; внук сообщает, что романс этот был сочинен его дедом и положен на музыку Гурилевым. Следовательно, заключает Л. Н. Топоров, автором песни является не И. Макаров, как это указано во многих справочниках, а именно Николай Петрович Макаров. «Я тоже интересу-

юсь судьбами полузабытых и забытых поэтов и писателей», — пишет он. «И из уважения к одному из них необходимо исправить многолетнюю ошибку».

Но, может быть, ошибку допустил именно внук прославленного гитариста, приписав своему деду авторство известной песни? Может быть, дед просто любил эту песню и с нее начинал игру?

Так или иначе, восстановление несправедливо забытых имен благородно по своей сути и, возможно, кто-нибудь все же установит истину.

Года три назад у меня побывала Б. С. Фридман, племянница давно умершего антиквара. В одной из моих книг была напечатана встревожившая ее памятью о детстве история домика Нащокина; об этом домике, в частности, пишу я и в главе «Фигурка из домика Нащокина».

Племянница антиквара, в дополнение к тому, что написал я о домике, рассказала мне, что домик этот в конце девяностых годов купил ее дядя, известный в ту пору антиквар Г. Э. Коган, и в начале девятисотых годов выставил домик для обозрения в Киеве в павильоне сада Шато де Флёр. Затем владелец перевез его в свой антикварный магазин под названием «Брик а брак», помещавшийся в доме Осиповского на Воздвиженке (ныне дом № 18 по проспекту Калинина). Там маленькая племянница-сирота, воспитывавшаяся у дяди, занималась расстановкой мебели в домике и его убранством.

«Что за люстры были, канделябры какой чеканки, позолоты, а стоячие часы и прочая мебель, посуда с меткой завода Попова, столовое серебро в ящиках-футлярах, и стекло. Буфет раздвижной, обеденный стол на роликах... а биллиард с киями и шарами, коллекция тросточек. Фигурки, которые вселили в этот домик, были заказаны дядей скульптору (фамилию не помню). Был выполнен Пушкин, стоящий у письменного стола в кабинете, а в кресло посадили Гоголя, внимательно слушающего Пушкина. В биллиардной поставили Лермонтова, играющего с партнером. В зале за рояль усадили цыганку, а стоя ее слушал Нащокин с сигарой в руке. За ломберным столом сидели за крохотными шахматами двое, как бы гоголевские персонажи... ну разве можно все перечислить, и как забыть этот нащокинский домик с его шедеврами?..»

Так написала мне в письме племянница антиквара, которой исполнилось уже 73 года, а потом она и сама пришла ко мне, и живой рассказ дополнил то, о чем написано было в ее письме, заключавшемся словами: «С этим домиком была связана и моя жизнь».

Я подумал тогда о том, как хорошо было бы, если бы в свою пору Яков Александрович Галяшкин, восстановивший нащокинский домик, встретился бы с племянницей московского антиквара, живым летописцем домика Нащокина. Я смог лишь подарить Б. С. Фридман несколько фотографий интерьера домика, фотографии же эти в свою очередь подарил мне Я. А. Галяшкин.

Напомнила многое из детства и прошлого и глава «Вместо вступления» доктору исторических наук С. А. Фейгиной: ее отец Арон Львович Фейгин был владельцем книжного магазина «Образование», о котором я писал, как о своего рода первом моем «университете». Дочь Фейгина сообщила мне о том, что ее отец около двадцати лет работал в «Международной книге» и умер в 1949 году, а магазин «Образование» собирал в своих стенах многих представителей московской интеллигенции: писателей, профессоров, художников и студентов, приходивших не только купить книгу, но и побеседовать. Что же касается Александра Александровича Шухгальтера, который стоял у купели моего, тогда еще отроческого книголюбия, то Шухгальтер был участником декабрьского восстания в Москве, жил и работал нелегально, да и в магазине он служил нелегально. Вспоминает С. А. Фейгина и недавно умершего превосходного книжника Алексея Григорьевича Миронова, который пришел к ее отцу мальчиком, очень много читал, был одарен врожденным художественным вкусом и стал серьезным знатоком книги.

Получив письмо от дочери бывшего владельца книжного магазина «Образование», я позвонил в свою пору Алексею Григорьевичу Миронову, обрадовал его тем, что существует еще живая связь с его юностью, и вероятно, он встретил ту, которая помнила его еще мальчиком, и они вместе перелистали не одну страницу прошлого.

В связи с главой «Сапоги Карла Маркса», помещенной в этой книге, старый революционер Александр Николаевич Гладышев прислал мне один документ, кото-

рый лучше всего напечатать без всяких комментариев (он сам по себе является комментариями): следует только сказать, что Александр Николаевич Гладышев, ныне пенсионер, был товарищем по «Сибирскому подполью» тех, кто упоминается в этом документе.

Из воспоминаний Г. И. Крамольникова (Пригорного). Омск. 1903 год. (Семейный архив).

«...Жалею, что не сохранились у меня карточки Тереховой и Тыжновой, которых я прозвал «сапоги К. Маркса». При аресте у меня нашли записку, где было написано: «Надо сходить к сапогам Маркса». Ротмистр Бородаевский допытывался: «Что это за сапоги?», но тщетно. А дело было так. В 90-х годах появилась брошюрка с изображением самых примитивных сражений первых марксистов с народниками. Брошюру написал некий ТРНК (ни одной гласной буквы). Я дал брошюру прочесть Тереховой и Тыжновой. Они хохотали над эмансипированной курсисткой, которая спрашивает студента Ив. Ив.: «Что скрывается за вашей внешностью?» Он отвечает: «мои внутренности». Оказывается, каким-то образом удалось через границу переправить подлинные сапоги Маркса. И вот Ив. Ив. фигурирует в качестве эксперта, так как он двенадцать раз прочел «Капитал». Не знали, куда спрятать эту «нелегальщину». И вот одному рабочему пришла блестящая идея — надеть их на ноги и спокойно прошмыгнуть мимо шпиков.

Так как вся эта история очень понравилась этим двум девушкам, я и предложил им кличку «Сапоги Маркса».

Александр Николаевич Гладышев сделал примечания к воспоминаниям Г. И. Крамольникова:

«История «Сапоги Маркса» имела продолжение. А. К. Заложина послала в Омск заключенному Дербышеву открытку, в которой между прочим сообщала: «Сапоги Маркса» высланы в Самарку Тобольской губернии». Открытка попала в руки жандармов и они вновь начали розыски лиц, носящих эту кличку. Опрошенная жандармами автор письма А. К. Золожина заявила: «на вопросы отвечать не буду». Допрошеннный по этому же делу Дербышев, находившийся уже в Тобольской губернии в ссылке, заявил: «Личность Сапоги Маркса решительно не знаю». Тобольские жандармы известили Омск:

«В селении Самарка среди политических ссыльных лица, известного под кличкой «Сапоги Маркса», не обнаружено». (Государственный архив Омской области, фонд 270, ед. хран. 84).

Так, затерянная брошюрка затерянного автора получила своего рода революционное действие.

В главе «Вместо введения» я упоминаю имя Г. Гершуни, автора брошюры «Разрушенный мол». Племянник Г. Гершуни — Евгений Павлович Гершуни — в связи с упоминанием имени его дяди, известного революционера, предположил, что меня несомненно заинтересует судьба одной книги, хранящейся в его библиотеке, как семейная реликвия. Гершуни, как известно, был осужден на вечную каторгу. Группа народовольцев, выпущенных в 1905 году из Шлиссельбургской крепости, подарила остававшемуся в заключении Гершуни том стихотворений Некрасова, памятуя что любимым произведением было для Гершуни «Кому на Руси жить хорошо». Том этот бывшие узники снабдили своими автографами: есть на этой книге автографы Н. А. Морозова, Петра Антонова, Германа Лопатина, М. Новорусского, М. Фроленко, И. Лукашевича...

Из Шлиссельбургской крепости Г. Гершуни был перевезен в Москву в Бутырки, а затем отправлен в Акатуевскую каторжную тюрьму, штемпель которой есть на книге. Г. А. Гершуни умер в 1908 году в Швейцарии, куда ему удалось бежать, добрые люди передали, как сообщает Е. П. Гершуни, книгу Некрасова его отцу, и таким образом книга совершила путешествие из Шлиссельбурга в Москву, потом в Акатуевскую каторжную тюрьму, затем в Швейцарию и вернулась в конечном итоге в Петербург.

Я в свое время ответил Е. П. Гершуни, поблагодарил его и решил при случае рассказать об этой книге и об ее трогательной и удивительной судьбе.

Так постскриптумы читателей расширили для меня тему о книгах, еще более утвердив в мысли о том, что книги являются истинными друзьями человека, что судьбы их беспредельны и разнообразны, и рассказать об этих судьбах, в пределах своих знаний и своего умения, должно.



МОЛОДЫМ СОБИРАТЕЛЯМ

Что же,— скажет молодой собиратель,— так ведь можно без конца рассказывать, от одного приключившегося случая к другому.

— Разумеется, я бы мог, наверно, еще рассказать и о других случаях,— ответит автор этой книжки.— Встречи с книгами всегда бывают так или иначе случайны, в таком сложном, тонком и увлекательном деле систематика нередко подвержена колебаниям, и если я заканчиваю эту книгу, то не потому, что мне нечего больше сказать, а потому, что я уже достаточно сказал. Я не собирался писать занимательные истории для легкого чтения,— для этого у меня нет ни времени, ни желания. Я хотел пробудить интерес к книге, к ее увлекательной, иногда и поныне неразгаданной истории. Я хотел побудить любить книгу, ценить, уважать и собирать ее.

Собирать книги не означает собирать непременно редкие, особенные книги. Ведь можно составить отличное собрание книг наиболее полюбившихся советских писателей, или собрание путешествий, или собрание «Жизни замечательных людей, и тогда развернется целая галерея страстных, благородных судеб — от Коперника, Леонардо да Винчи, Ломоносова до Юлиуса Фучика, Мусы Джалиля и Патриса Лумумбы, о котором, конечно, в свое время будет иаписана книга. Можно собирать книги о научных открытиях, и тогда ряд великих первооткрывателей завершат имена Сеченова, Павлова, Мичурина, Циолковского до наших современников — Иоффе, Курчатова, Чаплыгина, Прянишникова, Павловского. Необъятен мир собирательства книг, необъятна их тематика и необъятны открытия, которые предстоит сделать молодым книголюбам на пути их странствий по книжному

морю, полному неведомых островов, неразведанных глубин, необследованных земель... Ведь даже в обследованном, кажется, до конца географическом мире и поныне происходят удивительные открытия наших полярных исследователей в Антарктиде, или на дрейфующих льдинах вблизи Северного полюса, или на острове Пасхи, о котором так увлекательно рассказал Тур Хейердал в своих книгах «Путешествие на Кон-Тики» и «Аку-Аку».

В тридцатых годах на далеком берегу Амура, в нанайском стойбище, учитель Андрей Иванович Актанка подарил мне нанайский букварь «Новый путь». Он подарил мне эту книгу в ту пору, когда в нанайских стойбищах только строили первые школы и когда судьба маленького, трагически вымиравшего в царской России народа разительно менялась на глазах.

— Пусть этот букварь останется у вас как книга о жизни нашего народа,— сказал мне тогда учитель.

Я увез с собой букварь просто как памятку о Дальнем Востоке. Но, встречая затем те или иные сведения о нанайском народе, я стал вклеивать в букварь газетные вырезки то о героических делах нанайцев-снайперов во время минувшей войны, то об организации нанайского театра, то о первых нанайских поэтах, и букварь, действительно, разросся постепенно до целой книги о жизни маленького народа, как это и предвидел учитель, подаривший мне букварь.

Обогащая так книгу, обогащаешь неоценимыми сведениями и самого себя. Среди моих книг есть, в частности, поистине уникальные экземпляры, обогащенные собирателем Л. Э. Бухгеймом, вклеившим в них не только газетные вырезки, но и редкие фотографии, и сделавшим тем самым, например, совсем не примечательную в библиографическом отношении книгу «Герцен» Ч. Ветринского подлинной редкостью.

Все труды и дела человека, все его открытия, всю его пытливую мысль и искания отражает прежде всего книга, и это побудило меня написать о книгах, о малых открытиях собирателя, его встречах с книгой и его находках.

От первых дней книгопечатания книга волнует человека. Ее судьбы богаты, величественны, иногда трагичны и горестны, но на всех своих путях и при всех обстоятельствах книга служила и служит человеку — от

восковых дощечек, папирусов и древних свитков на пергаменте...

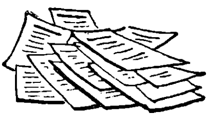
— «Прощайте, друзья! — сказал он, глядя на библиотеку»,— так записал доктор Шольц слова умирающего Пушкина. Книги для Пушкина были одушевленными существами: он и прощался с ними, как с живыми спутниками своей жизни, дарившими ему наибольшие радости.

Вспомним обращенные к книге и слова М. Горького:

«Когда у меня в руках новая книга, предмет, изготовленный в типографии руками наборщика, этого своего рода героя, с помощью машины, изобретенной каким-то другим героем, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное...»

«Книга дороже мне престола»,— лаконически возвестил великий Шекспир. Он был прав: престолы рухнули и ушли в небытие вместе с теми, кто восседал на них, книги Шекспира остались. Хорошие книги никогда не стареют, им даны вечная молодость и обновление во времени, они — живой организм, воздух, без которого не может жить и развиваться человек.

Так ответил бы я молодому читателю, спросившему у меня, для чего я написал эту книгу.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Владимир Германович Лидин

ДРУЗЬЯ МОИ — КНИГИ

* * *

Редактор Г. И. Куйбышева
Художеств. редактор Н. Д. Карандашов
Технич. редактор С. М. Кошелева
Корректоры М. А. Мамаева, Н. Л. Фридман

*

Сдано в набор 28/V-65 г. Подписано в печать 19/X-65 г.
А-12429, Формат 84×108/32. Печ. листов 11 (усл. 18,48).
Учетно-издат. листов 17,34. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2629.
Цена 84 коп.
Св. пл. общ. полит. лит-ры 1965 г. № 2213.
Издательство «Книга»
Москва, К-9, ул. Неждановой, д. 8/10

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.